

# СОЧИНЕНИЯ

**В. Д. КУДРЯВЦЕВА-ПЛАТОНОВА.**

---

**ТОМЪ ПЕРВЫЙ.**

ИЗСЛѢДОВАНІЯ И СТАТЬИ ПО ВВЕДЕНИЮ ВЪ ФИЛОСОФІЮ И ПО ГНОСЕОЛОГІЇ.

---

**ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.**

---

Издание Братства Преподобного Сергія.

---

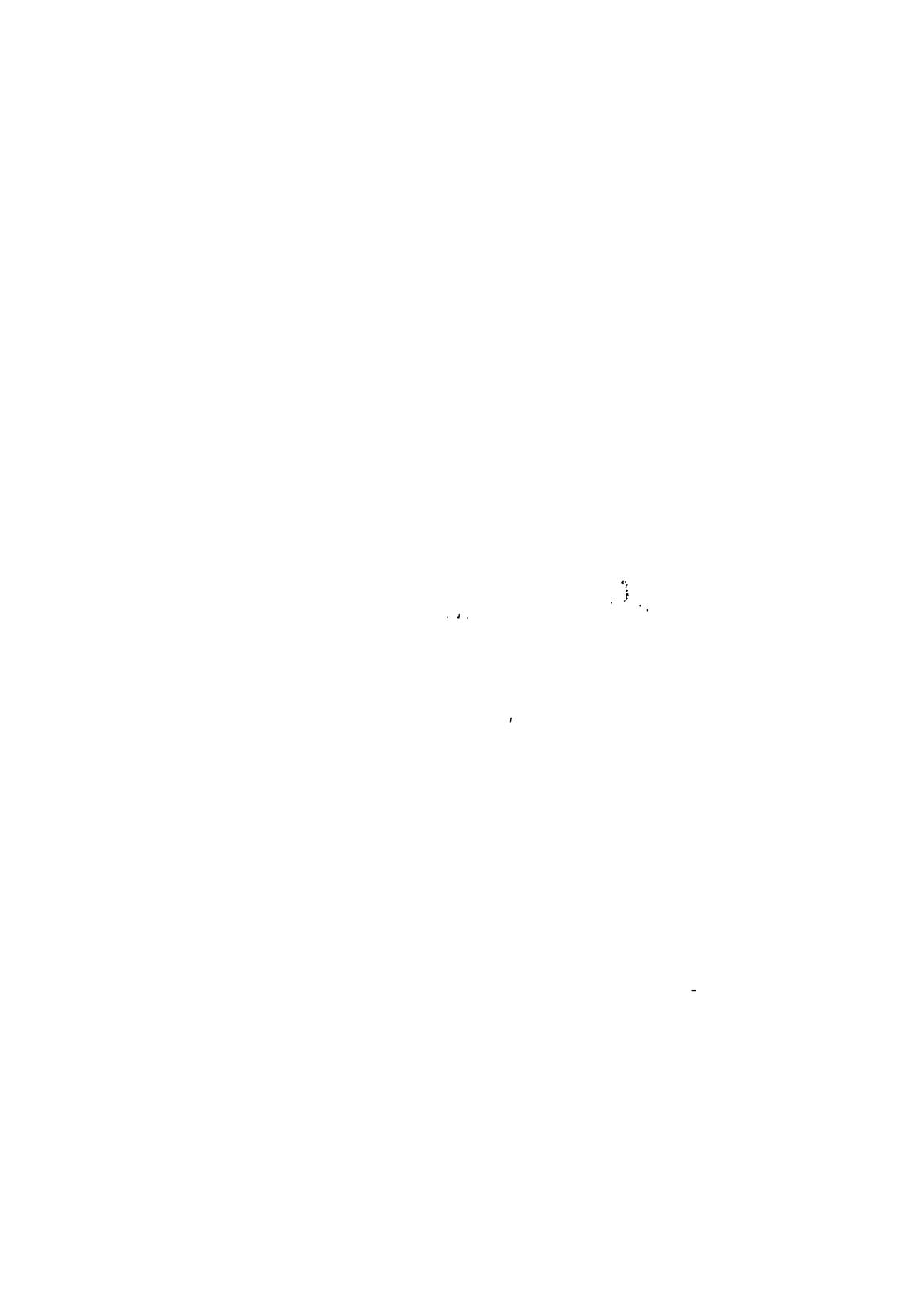
2-я типографія

А. А. Смирновой въ Сергиевомъ Посадѣ Московск. губ.

1893.

$$B_{\mu\nu} = \partial^\alpha \partial_\mu A_{\nu\alpha} - \partial^\alpha \partial_\nu A_{\mu\alpha} + \partial_\mu \partial_\nu A_{\alpha\alpha}$$

СОЧИНЕНИЯ В. Д. КУДРЯВЦЕВА-ПЛАТОНОВА.



# СОЧИНЕНИЯ

**В. Д. КУДРЯВЦЕВА-ПЛАТОНОВА.**

ДОКТОРА БОГОСЛОВІЯ,

ПРОФЕССОРА ФІЛОСОФІЇ ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІЇ

---

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

---

ИЗСЛѢДОВАНІЯ И СТАТЬІ ПО ВВЕДЕНІЮ ВЪ ФІЛОСОФІЮ И ПО  
ГНОСЕОЛОГІІ.

---

Издание Братства Преподобного Сергія.

---



*Сергіевъ Посадъ.*

1893.

Типография А. И. Снегиревой  
въ Москве и Сергиевомъ Посадѣ.

Печатьъ позволяетъ. Сентября 27 днѧ, 1893 г.

Ректоръ Академіи Архимандритъ Антоній.

## СОДЕРЖАНИЕ.

Стран.

1. Объ основныхъ началахъ философскаго познанія.	. 1—66
2. Метафизический анализъ эмпирическаго познанія. .	67—209
3. Пространство и время. . . . .	210—310

---



# ОБЪ ОСНОВНЫХЪ НАЧАЛАХЪ ФИЛОСОФСКАГО ПОЗНАНИЯ.

---

Характеристическая особенность, отличающая каждое научное знаніе отъ знанія непосредственного или основанного на довѣріи къ авторитету, состоить въ томъ, что всѣ входящія въ составъ данной науки положенія должны быть рационально обоснованы или доказаны. Правда, истинное положеніе, истинная мысль всегда остается истинною и, какъ таковая, можетъ быть усвоена нами и безъ доказательствъ; но знаніе научное не удовлетворяется такимъ усвоенiemъ истины на вѣру; оно требуетъ указанія рациональной необходимости признанія ея за истину, требуетъ доказательства. Для мышленія научнаго, каждое недоказанное положеніе или сужденіе, хотя-бы оно было и истинно, остается не достовѣрнымъ до тѣхъ поръ, пока оно не доказано; только при помощи доказательствъ, вѣра въ извѣстную истину переходитъ въ достовѣрность и самая истина становится достовѣрною истиной.

Но въ дѣйствительномъ ходѣ нашей познавательной дѣятельности, строгое и точное выполненіе этого идеального требованія представляется неосуществимымъ. Такъ наприм., доказывая извѣстное положеніе извѣстною мыслю, мы для самой достовѣрности нашего доказательства должны-бы сказать и ту мысль, которою подтверждаемъ данное положеніе; доказательство этой мысли, въ свою очередь, потребовало-бы новаго доказательства того положенія, на которомъ мы ее основываемъ, и такъ далѣе до безконечности. Очевидно, по-

этому, что въ цѣпи нашихъ доказательствъ мы должны на чемъ-нибудь остановиться, чтобы не идти въ бесконечность, доказывая одно положеніе другимъ, должны предположить что-нибудь несомнѣнное и не нуждающееся въ дальнѣйшемъ доказываніи. Эти несомнѣнныя и недоказуемыя положенія, составляющія твердую почву, на которой держится состоятельность всѣхъ прочихъ доказательствъ, и составляютъ *основныя начала* (принципы) достовѣрности каждого даннаго рода познанія.

Если-же теперъ всякое научное, какъ основанное на рациональныхъ доказательствахъ, знаніе въ концѣ концовъ должно опираться на основные, самодостовѣрные принципы или начала, то истина и достовѣрность каждого знанія окончательно будетъ зависѣть отъ истины и достовѣрности этихъ принциповъ, что само собою предполагаетъ для каждого, имѣющаго притязаніе на научное значеніе, знанія необходимость выяснить и отчетливо установить ихъ.

Какія-же теперъ истины или положенія въ области знанія мы должны признать недоказуемыми, основными и непосредственно достовѣрными? Если за отвѣтомъ на этотъ вопросъ обратимся къ существующимъ въ наличности познаніямъ, то получимъ очень разнообразные отвѣты, соотвѣтственно различнымъ степенамъ приближенія этихъ познаній къ нормѣ или къ идеалу истинно научного знанія. Въ этомъ отношеніи болѣе характеристическими признаками выдѣляются три степени познанія: а) знаніе не строго научное; б) знаніе научное и в) знаніе философское.

а) Для знанія не строго научного, точно также какъ для мышленія непосредственнаго и не научнаго, положеніями самодостовѣрными и ненуждающимися въ доказательствѣ признаются обыкновенно всѣ тѣ положенія и истины, въ которыхъ согласно убѣждены или всѣ люди или даже известный кругъ людей даннаго мѣста, времени, общества и въ вѣрности которыхъ непосредственно убѣждены и самъ познающій. Таковы, прежде всего, основанные на непосредственной очевидности вѣнчшаго или внутренняго опыта, факты; никто наприм. не потребуетъ ни отъ себя, ни отъ другихъ рациональнаго доказательства того, что сегодня свѣтитъ солнце, что видимый мною домъ есть дѣйствительно домъ, а не что иное, что я

чувствую голодъ, усталость, радость и т. п. Далѣе, не требуютъ для обыденнаго знанія доказательства положенія, такъ называемаго, здраваго смысла, въ истинѣ которыхъ убѣждены всѣ, напр. что нужно быть добрымъ, что такой-то порокъ заслуживаетъ презрѣнія или наказанія и пр. Этого рода истины, которые называются иногда азбучными истинами, согласно признаются всѣми и доказывать ихъ для общаго сознанія было-бы напрасною тратою времени. Наконецъ, какъ мы сказали, содержаніе недоказываемыхъ истинъ можетъ быть чисто условнымъ, зависѣть отъ согласія въ чемъ-либо извѣстнаго круга лицъ, извѣстнаго времени, общества и пр. Напр. для лицъ, исповѣдующихъ христіанскую религію, истина и богооткровенность этой религіи не подлежитъ сомнѣнію; отсюда, при разсужденіи объ извѣстномъ догматѣ или при спорѣ относительно его между лицами различныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, нѣтъ никакой нужды доказывать истину христіанской религіи вообще, потому что эта истина разсуждающими или спорящими предполагается уже извѣстною и доказанною. Вообще можно сказать, что въ обыкновенномъ мышленіи непосредственно достовѣрнымъ и не нуждающимся въ доказательствѣ признается каждое положеніе, въ истинѣ которого убѣждены всѣ или извѣстный кругъ людей, независимо отъ того, основано-ли это предварительное убѣжденіе на рациональныхъ доказательствахъ или нѣтъ.

б) Выше обыденнаго мышленія и знанія стоитъ обыкновенное научное знаніе. Кругъ положеній, нуждающихся въ доказательствѣ, здѣсь расширяется; каждое научное положеніе, что-бы стать научнымъ, требуетъ доказательствъ своей истины, которая могутъ быть или эмпириическими или рациональными, судя по характеру науки. Но такъ какъ, что мы и замѣтили, цѣль другъ друга обосновывающихъ и доказывающихъ положеній могла-бы тянуться въ безконечность, если-бы мы не остановились на чемъ-нибудь первоначальномъ и не имѣющемъ уже нужды въ доказываніи, то каждая наука имѣеть такія недоказываемыя истины или положенія, которые стоятъ во главѣ ея и служатъ основаніемъ возможности всѣхъ другихъ ея доказательствъ. Эти, непосредственно принимаемыя различными науками, недоказываемыя и не могутъ быть доказанными въ границахъ самой науки, истины, состав-

ляющія основоположенія или принципы наукъ, обыкновенно называются *аксіомами*. Таковы напр. въ математикѣ положенія, что цѣлое равно своимъ частямъ вмѣстѣ взятымъ, что двѣ величины, равныя третьей, равны между собою и друг.; таково напр. въ химії предположеніе матеріи, какъ субстрата физическихъ явлений, даже частнѣе,—атомовъ, какъ извѣстной формы существованія матеріи. Количество и содержаніе этихъ аксіомъ или основоположеній наукъ опредѣляется специальнымъ содержаніемъ каждой изъ нихъ. Единственное, формальное требование научаго знанія здѣсь состоитъ въ томъ, чтобы количество этихъ основныхъ положеній науки (аксіомъ) было ограничено возможно меньшимъ числомъ, чтобы разнообразіе ихъ было сводимо къ необходимому числу дѣйствительно основныхъ и не производныхъ истинъ.

в) Но нашъ разумъ, въ своемъ высшемъ и глубочайшемъ стремлениі къ вполнѣ достовѣрному знанію, не удовлетворяется однако-же непосредственною и на вѣру принимаемою самодостовѣрностю тѣхъ основныхъ истинъ и положеній, которые принимаются за несомнѣнныя какъ въ знаніи обыденномъ, такъ и научномъ. Онъ подвергаетъ критическому анализу эти положенія съ цѣлью опредѣлить, дѣйствительно-ли они такъ достовѣрны и несомнѣнны, какъ предполагается то общее и научное сознаніе. Онъ пытается дать себѣ отчетъ въ самыхъ очевидныхъ, повидимому, положеніяхъ общаго смысла и науки, старается по возможности раціонально обосновать ихъ, чтобы все наше знаніе въ совокупности могло называться вполнѣ научнымъ знаніемъ, т. е. основаннымъ не на предположеніяхъ, но на раціонально провѣренныхъ и доказанныхъ началахъ. Эту задачу и беретъ на себя философія; тѣ начала и основные принципы, которые общимъ сознаніемъ и науками признаются какъ непосредственно достовѣрные, она вновь дѣлаетъ предметомъ изслѣдованія, не смотря на кажущуюся и всѣми принимаемую ихъ очевидность. Таково напр. убѣжденіе общаго сознанія въ объективной истинѣ нашихъ чувственныхъ впечатлѣній, въ существованіи реальнаго, окружающаго насъ, мира и др.; таково напр. предположеніе существованія матеріи, атомовъ въ естествознаніи, пространства въ математикѣ; убѣжденіе въ бытіи Бога, загробной жизни въ религії, — въ существованіи свободы и

вследствие этого вмѣняемости въ области нравственности и права и т. п. \*). Въ этомъ стремлении изслѣдовать непосредственно очевидныя начала и основанія другихъ наукъ и общаго сознанія—и состоитъ существенная задача философіи и вмѣстѣ отличіе ея отъ другихъ наукъ и знаній. Кто говоритъ въ наукѣ о какомъ-либо положеніи: „это само собою очевидно“,—тотъ еще не философъ, потому что основываетъ свое знаніе на непосредственной увѣренности, не провѣренной и не обоснованной рационально.

Однако-же и философія, подвергая критическому анализу принципы другихъ наукъ и очевидныя положенія общаго сознанія и стараясь рационально обосновать ихъ, должна-же и сама въ свою очередь какъ въ своемъ сужденіи о нихъ, такъ и въ обоснованіи ихъ исходить изъ какого-либо несомнѣннаго принципа или начала. И философія, чтобы не затеряться въ цѣпи другъ друга доказывающихъ положеній, какъ и другія науки, должна *предварительно* признать что-либо первоначально несомнѣннымъ и достовѣрнымъ, чтобы имѣть твердую опору или критерій для обсужденія всѣхъ другихъ научныхъ и ненаучныхъ началъ и для вывода какого-либо всеобще-достовѣрного принципа. Отсюда вытекаетъ необходиимость, такъ называемыхъ, философскихъ *основоположеній* или *принциповъ*, т. е. такихъ необходимыхъ и неоспоримыхъ истинъ, которыя служили-бы окончательнымъ основаніемъ всѣхъ другихъ началъ и истинъ, отрицаніе которыхъ было-бы невозможно безъ отрицанія самаго знанія. Но необходиимость установленія основныхъ принциповъ въ философіи вытекаетъ не изъ одной только общей ей съ другими науками потребности имѣть какое-либо твердое основаніе и опору для своихъ изслѣдованій и доказательствъ. По своему методу и своей задачѣ, она есть не только наука о принципахъ другихъ наукъ, но и наука изъ принциповъ, т.-с. высшая ея задача состоить въ томъ, чтобы вывести и построить цѣльное міросозерцаніе, исходя изъ какихъ-либо твердыхъ и несомнѣнныхъ началъ. Установленіе этихъ началъ—дѣло тѣмъ болѣе важное, что отъ характера и степени ихъ состоятель-

---

\* ) О значеніи философіи какъ науки, изслѣдующей принципы другихъ наукъ см. статью „Нужна-ли философія?“ (Сочиненія В. Д. Кудрявцева-Платонова, т. 1. вып. 1. стр. 86 и слѣд.).

ности будетъ зависѣть все дальнѣйшее построеніе философскихъ системъ и достоинство философскаго міросозерцанія.

Самый фактъ разнообразія, даже противоположности философскихъ направлений показываетъ, что философы далеко не были согласны въ опредѣленіи основныхъ началъ своей науки. Это разногласіе выразилось прежде всего въ томъ, что не только подвергалась сомнѣнію, но и прямо отрицалась самая необходимость и возможность установленія философіею своихъ принциповъ путемъ рациональнаго изслѣдованія. Такое отрицаніе, само будучи возведено въ принципъ философіи, нашло свое выраженіе въ двухъ противоположныхъ философскихъ направлениихъ, изъ которыхъ одно началомъ философскаго познанія признаетъ непосредственную увѣренность въ основныхъ истинахъ знанія, другое совершенно отрицаетъ самую возможность какихъ-либо несомнѣнныхъ и достовѣрныхъ началъ познанія. Поэтому, прежде чѣмъ перейти къ положительному решенію вопроса, какія истины въ философіи мы должны считать основными и принципіальными, мы должны остановить наше вниманіе на этихъ двухъ направленияхъ. Критическое разсмотрѣніе ихъ должно окончательно выяснить для насъ возможность и необходимость установленія точныхъ принциповъ философіи и указать самый путь, какимъ мы должны идти въ дѣлѣ этого установленія.

1. Въ виду крайняго разногласія философскихъ системъ и видимой безнадежности примиренія ихъ въ области самой же философіи, во всѣ времена были мыслители, которые сомнѣвались найти надежную точку опоры для философіи въ ней самой, въ рациональномъ обоснованіи ея собственныхъ началъ. Имъ казались вовсе ненужными, странными, даже смѣшными усиія философовъ рационально доказать такія напр. основная и непосредственно очевидная истины, какъ существованіе вицѣпнаго міра, Божества, достовѣрность мышленія, обязательность тѣхъ или иныхъ предписаній нравственного закона и т. п. Имъ казалось, что если и нужно для насъ какое-либо завѣреніе этихъ и подобныхъ истинъ, то его должно искать не въ какихъ-либо утонченыхъ метафизическихъ изслѣдованияхъ, но или а) въ простомъ *свидѣтельствѣ* здраваго или *общаго смысла*, или б) въ непосредственной, не подлежащей вѣдѣнію разуму, на чувствѣ основанной, *внѣрѣ* въ эти истины.

а) Философія *общаго* или здраваго *смысла* не есть, какъ можно-бы предположить, первоначальное обнаружение философствующей мысли, когда еще не представлялось необходимости слишкомъ углубляться въ изслѣдованіе объ основныхъ началахъ знанія и когда умъ человѣка могъ довольствоваться, не подвергавшимися еще сомнѣнію, общими и всѣми признаемыми за истину, убѣжденіями. Напротивъ, она появляется въ философіи въ различныя эпохи, какъ результатъ крушения различныхъ философскихъ принциповъ вслѣдствіе ихъ взаимнаго антагонизма и явившагося отсюда недовѣрія къ силѣ философской мысли. При разногласіи философскихъ системъ, при неустойчивости ихъ основоположеній, нѣкоторымъ казалось всего безопаснѣе остановиться на всѣми признаваемыхъ и устойчивыхъ, при всѣхъ превратностяхъ борьбы философскихъ теорій, началахъ обыкновенного, здраваго смысла, не давая себѣ безплоднаго труда научно доказывать или оправдывать эти начала. Такъ первое обнаружение направлениія, нами рассматриваемаго, мы находимъ у Сократа, который въ виду взаимнаго антагонизма предшествующихъ философскихъ школъ и разрушенія ихъ софистикою, остановился на непосредственному свидѣтельствѣ всеобщаго нравственнаго сознанія, считая бесполезными утонченныя, теоретическія изслѣдованія о природѣ вещей. Тоже самое стремленіе поставить общій смыслъ критеріемъ истины, среди разногласія философскихъ системъ, находимъ у Цицерона. Послѣднее основаніе и ручательство истины чего-либо, по его мнѣнію, заключается въ естественномъ, прирожденномъ всѣмъ намъ чувствѣ истины. Для нашего сознанія непосредственно очевидны, убѣдительны и какъ-бы врождены основныя истины знанія и жизни. Такъ природа прежде всего даровала намъ основныя нравственные понятія, раньше всякаго наученія, какъ-бы нѣкоторое приданое. Сущность нравственности поэтому гораздо безопаснѣе можно узнать изъ общаго сознанія, чѣмъ изъ ученія замѣчательныхъ мужей и опредѣленія понятій. Точно также самою природою насыждены въ насть понятія о правѣ, и только впослѣдствіи образующаяся наклонность ко злу помрачаетъ ихъ. Необходимѣйшая для насть истины религіи равнымъ образомъ составляютъ природное наше достояніе. Внѣшнимъ-же признакомъ и несомнѣннымъ доказа-

тельствомъ врожденности и непосредственной достовѣрности какого-либо мнѣнія служить согласное признаніе его за истину всѣми людьми; согласіе въ чемъ-либо всѣхъ людей, по ученію Цицерона, должно быть почитаемо голосомъ природы. Въ новой философіи принципъ общаго смысла поставленъ во главу этой науки, такъ называемою, шотландскою школою, главные представители которой: Ридъ, Беатти, Освальдъ и Дюгальдъ-Стюартъ. На здравый смыслъ, какъ на послѣднее завѣреніе истины въ борьбѣ своей съ традиціонными религіозными и политическими установленіями, ссылались обыкновенно французскіе философы XVIII вѣка: Вольтеръ, Руссо, Дидро и др. Тоже начало служило принципомъ философіи нѣмецкихъ, такъ называемыхъ, философовъ просвѣщенного взгляда на вещи (*Aufklrung's Philosophen*) прошлаго столѣтія, каковы: Мендельсонъ, Гарье, Реймарусъ, Базедовъ и др. Противопоставленіе здраваго смысла философскимъ утонченностямъ и попыткамъ доказать основныя истины сознанія,— явленіе обыкновенное и въ наше время.

Главное основаніе своего довѣрія къ принципу общаго смысла, кромѣ указаній на кажущуюся недостовѣрность и бесполезность теоретическихъ изслѣдований обѣ основныхъ началахъ знанія, защитники его находятъ въ томъ предположеніи, что всѣмъ людямъ прирождено чувство истины, которое съ непреодолимою силою убѣдительности утверждаетъ коренные истины знанія и нравственности. Сомнѣніе въ этихъ истинахъ, отрицаніе ихъ есть дѣло случайное, которое можетъ происходить или отъ нравственного искаженія разумной природы человѣка,—каково напр. отрицаніе началь нравственныхъ, или отъ теоретического искаженія ума софистическими утонченностями и абстрактнымъ умствованіемъ; таково отрицаніе основныхъ истинъ знанія, напр. отрицаніе достовѣрности бытія чувственного міра у философовъ-идеалистовъ. Но это, какъ мы сказали, дѣло отдѣльныхъ личностей; за ними не слѣдуетъ общее сознаніе человѣчества, голосъ котораго и служить критеріемъ истины: можетъ заблуждаться разумъ частный, разумъ всеобщій непогрѣшимъ.

На первый взглядъ начало общаго смысла, какъ критерій истины, можетъ показаться очень простымъ, яснымъ и опредѣленнымъ: „признавай за истину все то, что согласно съ

здравымъ смысломъ и въ чёмъ поэтому согласны всѣ люди, въ чёмъ выражается голосъ ихъ разумной природы; отвергай прямо какъ ложное, каждое мнѣніе, которое ведетъ къ отрицанію истинъ, составляющихъ общее убѣжденіе человѣчества". Но эта кажущаяся ясность и опредѣленность скоро исчезаетъ при болѣе внимательномъ взглядѣ на дѣло, а вмѣстѣ съ тѣмъ и практическое примѣненіе принципа общаго смысла въ философіи оказывается крайне затруднительнымъ.

Уже одно сопоставленіе именъ философовъ, исходившихъ изъ рассматриваемаго нами принципа, одна возможность на той-же почвѣ здраваго смысла возникнуть столь противоположнымъ направленіямъ, каковы напр. Сократа и Вольтера,— противоположного разрушительной софистикѣ консерватизма въ религіозной и общественной жизни и все разрушающаго радикализма, заставляетъ сильно сомнѣваться, такъ-ли тверда и надежна для философіи эта почва, какъ кажется. Самое коренное различіе философскихъ возврѣній, однако-же ссылавшихся въ оправданіе своихъ мнѣній на здравый смыслъ, заставляетъ предполагать, что понятія ихъ о „здравомъ смыслѣ“ далеко не одинаковы. Поэтому, не смотря на увѣреніе нѣкоторыхъ защитниковъ рассматриваемаго нами направленія, что понятіе здраваго смысла есть до такой степени очевидное и ясное понятіе, что оно не требуетъ никакого опредѣленія \*), мы вправѣ спросить: что такое здравый смыслъ, какія истины согласны съ нимъ и какія нѣтъ?

Конечно, въ опредѣленіи здраваго смысла и истинъ, имъ утверждаемыхъ, какъ философскаго самодостовѣрнаго принципа, мы не имѣемъ права ссыльаться на личный здравый смыслъ

---

\*) Такъ, одинъ изъ философовъ шотландской школы (Освальдъ) прямо говоритъ, что онъ не желаетъ и давать опредѣленія здраваго человѣческаго разума, потому что это само собою ясное понятіе и отъ не желаетъ писать для тѣхъ, которые этого не понимаютъ. Однако-же въ философіи нельзя ссыльаться на начало, котораго не хотятъ и не могутъ опредѣлить. А что оно не такъ ясно, какъ кажется, и для самихъ философовъ шотландской школы, видно изъ того, что они съ однимъ и тѣмъ-же выражениемъ „здравый смыслъ“ соединяютъ очень различные понятія и вмѣсто него часто ссылаются на вѣру, на инстинктъ нашей натуры, на непосредственное убѣжденіе, на чувство. Но эти понятія, съ одной стороны, столько-же неопределены у нихъ, какъ и понятіе общаго смысла; съ другой, далеко не тождественны съ нимъ. Reichlin-Meldegg, Einl. in die Philosophie. 1870. p. 187.

каждаго. Въ этомъ согласны съ нами защитники рассматриваемаго нами направлениі философіи. Разумъ частный, говорить, слабъ и способенъ заблуждаться. И дѣйствительно, допустивъ личный, индивидуальный разумъ каждого, какъ критерій истины, мы приDEMЪ къ крайнему субъективизму, къ положенію софистовъ, уничтожающему всякое научное знаніе: „что кому кажется истиннымъ, то и истинно“.

Итакъ, существенный и необходимый признакъ здраваго смысла есть его всеобщность; здравый и общій смыслъ – понятія тожественные, что согласно и съ обычнымъ слово-употребленіемъ. Вообще, согласіе людей въ чемъ-либо есть несомнѣнная гарантія истины; разумъ всеобщій, говорить, непогрѣшимъ.

Не говоримъ о томъ, что самая эта гарантія, основывающаяся на всеобщности, очень сомнительна. Въ самомъ дѣлѣ, на чёмъ она основана? Если мы отказываемъ въ непогрѣшности разуму индивидуальному, то нѣтъ основанія приписывать ее и разуму всеобщему. Если каждый частный разумъ слабъ и способенъ заблуждаться, то какимъ образомъ сочетаніе множества погрѣшающихъ разумовъ можетъ образовать разумъ непогрѣшимый? Какимъ образомъ, совокупляя недостовѣрности частныхъ умовъ, получимъ въ итогѣ всеобщую достовѣрность? Итакъ, самое убѣжденіе въ абсолютной достовѣрности всеобщаго разума представляется намъ недоказаннымъ.

Но этого мало; предположимъ эту достовѣрность. Можемъ ли мы найти абсолютно достовѣрныя истины разума, т. е. истины, въ которыхъ согласны всѣ люди и дѣйствительно-ли эти истины носятъ на себѣ требуемый признакъ достовѣрности, т. е. всеобщность?

Среди безчисленнаго разнообразія людскихъ мнѣній мы, конечно, можемъ найти нѣкоторыя истины, въ которыхъ убѣждены всѣ люди, напримѣръ: что дважды два четыре, что предметы, которые мы видимъ, суть дѣйствительно тѣ предметы, какіе мы видимъ; что противорѣчить самому себѣ, говорить объ одномъ и томъ же и да и нѣтъ, значитъ противорѣчить коренному требованію нашего мышленія и т. п. Но очевидно, что всѣ эти и подобныя истины, дѣйствительно признаваемыя всѣми, не лишенными здраваго смысла людьми, далеко не суть тѣ положенія, около которыхъ врашаются самые живые интересы философскаго знанія. Какъ скоро дѣло доходитъ до та-

кихъ положеній, относительно которыхъ желательно было бы дѣйствительно слышать голосъ, такъ называемаго, всеобщаго разума, тотчасъ возникаютъ недоумѣнія касательно ихъ всеобщности; таковы, напримѣръ, убѣжденія въ истинахъ бытія Божія, духовности души, въ существованіи свободы и др. Тотчасъ возникаютъ разногласія даже между защитниками философіи общаго смысла, сколько и какія именно положенія должно признавать выражениемъ этого смысла. Да и кромѣ того самыя, повидимому, общепризнаваемыя истины представляются съ столь разнообразными субъективными оттѣнками у различныхъ лицъ, народовъ, въ различныя времена, что, за устраниеніемъ этихъ оттѣнковъ, для выдѣленія общечеловѣческаго изъ разнообразнаго и частнаго, въ итогѣ получаются столь общія и неопределенные понятія, что они оказываются совершенно бесполезными для философскаго познанія. Всѣ люди, положимъ,увѣрены въ собственномъ существованіи, въ бытіи природы, Божества; что же касается до самыхъ *понятій* о томъ, что такое напр. я, природа, Богъ, то мы встрѣчаемъ здѣсь чрезвычайное разнообразіе, даже противорѣчіе мнѣній. Но много ли будетъ для философіи пользы отъ признанія этихъ неопределенныхъ убѣжденій въ бытіи нашего я, міра, Бога, если она не вынесетъ отсюда никакого яснаго понятія о нихъ? Эти убѣжденія не предотвратятъ споровъ и разногласія касательно пониманія этихъ объектовъ, такъ какъ здѣсь всеобщій разумъ не даетъ никакого рѣшительного отвѣта. Для философіи же важно именно правильное *понятіе* объ этихъ предметахъ, а не одно только утвержденіе ихъ, какъ фактовъ общечеловѣческаго сознанія.

Но когда мы называемъ эти и подобныя, бесполезныя по ихъ неопределенноти, убѣжденія выраженіями общечеловѣческаго сознанія, убѣжденіями *всеобщими*, то на самомъ дѣлѣ говоримъ слишкомъ много. Говоря точно, ихъ можно назвать только убѣжденіями большинства людей, причемъ они, очевидно, уже много теряютъ въ своемъ значеніи. Исторія философіи показываетъ, что самыя повидимому неоспоримыя истины, для всѣхъ кажущіяся очевидными убѣжденія подвергались сомнѣнію, были отрицаемы. Намъ скажутъ: нѣтъ правила безъ исключенія; такія ненормальные противорѣчія здравому смыслу также не нарушаютъ всеобщей его достовѣрности, какъ

аномалии напримѣръ въ органическомъ царствѣ—общихъ за-  
ковъ его. Но чѣмъ же въ такомъ случаѣ будеть отличаться  
философское начало, отъ котораго требуютъ безусловной все-  
общности и достовѣрности, если оно будетъ допускать исключе-  
нія и ограниченія, какъ обыкновенное мнѣніе? Такое на-  
чало, кроме того, должно быть началомъ не только всеоб-  
щимъ, но и необходимымъ, т. е. такимъ, допущеніе въ мысли  
противнаго чему было бы немыслимо. Но далеко не таковы  
начала, признаваемыя за основныя положенія общаго смысла  
защитниками разсматриваемаго нами направлениія философіи,—  
таковы, напримѣръ, положенія о реальности души, какъ  
отличной отъ тѣла субстанціи, о бессмертіи ея, объ объективной  
реальности вѣшняго міра и др. Если-бы были немыслимы  
мнѣнія противоположныя имъ, то ихъ и не возникло-бы въ  
исторіи мышленія. Итакъ, эти положенія нельзѧ называть сами  
по себѣ очевидными, необходимыми и ненуждающимися въ  
доказательствѣ положеніями.

Кромѣ того, самый характеръ мнѣній, повидимому, противорѣчащихъ положеніямъ общаго смысла, показываетъ, что ихъ никакъ нельзѧ называть такими же аномалиями и случай-  
ностями, какъ напр. случаи сумашествія или уродства. Если-  
бы мы встрѣчали рѣдкія, ни на чёмъ не основанныя уклоне-  
нія мнѣній отъ общаго смысла у нѣсколькихъ отдѣльныхъ  
лицъ, то можетъ быть имѣли-бы право не обращать на нихъ  
вниманія. Но когда не какіе-нибудь отдѣльные безумцы, а  
цѣлые философскія школы высказывали сомнѣнія касательно  
достовѣрности всеобщихъ убѣжденій, когда одни, и при томъ  
составляющіе славу философіи, мыслители съ направленіемъ  
идеалистическимъ, отрицали достовѣрность или познанія или  
бытія предметовъ чувственныхъ; когда другіе философы, съ  
направленіемъ материалистическимъ, отрицали самобытность  
духовной природы, то невольно возникаетъ недоумѣніе, по  
какой злосчастной судьбѣ умъ человѣка въ своемъ высшемъ  
развитіи такъ часто противорѣчитъ положеніямъ общаго смы-  
сла? Невольно возникаетъ сомнѣніе, такъ ли несомнѣнны изре-  
ченія этого смысла, какъ мы привыкли думать о нихъ,—и  
кому больше вѣрить: не мыслящему, но руководящемуся об-  
щимъ мнѣніемъ большинству, или меньшинству мыслителей?  
Вообщѣ, явленіе мыслителей, теоріи которыхъ противорѣчатъ

убѣжденіямъ общаго смысла, есть явленіе совершенно необъяснимое съ точки зрѣнія философіи, полагающей этотъ смыслъ своимъ принципомъ; на всѣ философскія системы, противорѣчащія этимъ убѣжденіямъ, она должна смотрѣть какъ на нѣчто ненормальное и безсмысленное.

Не менѣе, чѣмъ дѣйствительное разногласіе людей, наводить сомнѣніе на абсолютное значеніе общаго смысла и то обстоятельство, что этотъ принципъ не даетъ никакихъ ручательствъ за будущую состоятельность даже тѣхъ убѣжденій, которыя, въ настоящій моментъ мы нашли-бы всеобщими. Принципъ общаго смысла, чтобы быть дѣйствительнымъ началомъ философскаго познанія, долженъ имѣть характеръ полной всеобщности и необходимости. Нужно, чтобы извѣстная истина была въ точномъ смыслѣ *всеобщимъ* убѣжденіемъ человѣческаго рода, а не одного извѣстнаго времени, даже длиннаго ряда вѣковъ. Но очевидно, что достигнуть такой увѣренности на основаніи одного принципа общаго смысла, мы никакъ не можемъ. Согласіе предшествующихъ поколѣній въ признаніи какой-либо истины, само по себѣ не заключаетъ еще ручательства, что и будущія поколѣнія также станутъ признавать эту истину. Кто поручится, что мнѣніе, въ которомъ теперь согласны всѣ, не есть мнѣніе вѣка, одна изъ переходныхъ ступеней на пути къ истинѣ? Кто поручится, что черезъ нѣсколько столѣтій то, что теперь кажется неоспоримою истиной, не окажется несостоятельнымъ? Какъ-бы ни было велико количество свидѣтелей истины, вызываемыхъ изъ могилъ цѣлыхъ поколѣній и народовъ, они могутъ быть только свидѣтелями прошедшаго, а не будущаго. Вообще, философія общаго смысла рѣшительно безотвѣтна и беспомощна противъ тѣхъ, не рѣдко и высказываемыхъ предположеній, что самая существенная въ прошедшее и настоящее время убѣженія (напр. религіозныя) могутъ быть только временными, историческими, а не абсолютно необходимыми убѣжденіями,—и въ этомъ ея коренной недостатокъ.

Все это рѣшительно колеблетъ философское значеніе принципа общаго смысла, подрывая единственную гарантію его истины— всеобщность. Въ самомъ дѣлѣ, изъ сказаннаго нами видно, что, строго говоря, мы можемъ найти, и то по отношенію къ настоящему только и прошедшему человѣческаго

рода, не всеобщий разумъ, а разумъ большинства. Но<sup>1</sup> то начало, по которому количественное большинство голосовъ поставляется судью истины, если и можетъ быть допущено въ жизни практической и общественной, никакъ не можетъ быть принято началомъ знанія. Истина можетъ быть достояніемъ немногихъ умовъ, качественно возышающихся надъ большинствомъ, и наоборотъ, заблужденіе можетъ быть всеобщимъ, а не частнымъ только. Опытъ дѣйствительно показываетъ, намъ, что сужденія о вещахъ большинства не всегда бывали наилучшими и, даже для своего времени, относительно вѣрнѣшими. Часто случалось, что истина составляла, достояніе очень и очень небольшаго числа лицъ, рѣшившихся идти на перекоръ господствующимъ понятіямъ. Въ древности политеизмъ былъ явленіемъ всеобщимъ въ языческомъ мірѣ; истина единства Божія была достояніемъ лишь немногихъ философовъ. Даже въ народѣ избранномъ бывали эпохи, когда подъ вліяніемъ общихъ убѣжденийъ всего міра, эта истина колебалась до такой степени, что пророкъ приходилъ къ сомнѣнію, не остался-ли онъ одинъ читателемъ истиннаго Бога \*). Вотъ убѣждепіе общаго смысла своего времени, оказавшееся несостоятельнымъ. Въ Средніе Вѣка вѣра въ волшебство, въ возможность чувственного сообщенія темныхъ духовъ съ людьми, въ магію, въ алхімію, была всеобщимъ убѣждениемъ не только простыхъ, но и образованныхъ людей; но слѣдуетъ-ли отсюда, чтобы то, что признавалъ тогда всеобщій смыслъ, было и на самомъ дѣлѣ истиннымъ и здравымъ? Теорія обращенія земли около солнца, открытая Коперникомъ, прямо противорѣчить нашему непосредственному представлению и въ свое время противорѣчила и всеобщему мнѣнію и теоріямъ ученыхъ, но тѣмъ не менѣе наука оправдала геніальное открытие и никто не скажетъ, чтобы противоположное мнѣніе, и теперь раздѣляемое большинствомъ людей, наводило на него тѣнь сомнѣнія. Эти и подобные явленія въ исторіи знанія показываютъ, что такъ называемый всеобщій разумъ, или точнѣе — раумъ большинства, по своей ограниченности и способности заблуждаться, не отличается

---

\* ) З Царствъ, 19, 10.

отъ разума частнаго и потому не можетъ быть началомъ и критериемъ философскаго познанія.

Наконецъ, должно замѣтить и то, что послѣдовательное приложеніе въ знаніи начала общаго смысла, повело-бы къ уничтоженію самаго знанія, такъ какъ знаніе не есть что-либо данное и готовое, но находится въ процессѣ постояннаго усовершенствованія. Строго слѣдя за началу общаго смысла мы должны бы признать, что каждое мнѣніе тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ большее число людей его раздѣляетъ. Но допустивъ это, мы никогда не сдѣлаемъ и одного шага въ области научнаго знанія, гдѣ каждое новое открытие, новая мысль, прежде всего является достояніемъ немногихъ умовъ, часто вступаетъ въ борьбу съ принятymi уже и освященными древностю убѣжденіями и воззрѣніями и часто, только по истечениіи долгаго времени, мало по-малу входитъ въ общее сознаніе и становится общимъ достояніемъ. Въ частности,— исходя изъ такого начала, соглашаться всегда съ большинствомъ, чтобы не уклониться отъ истины, мы положимъ предѣлъ всякому философскому знанію, которое не только составляеть удѣлъ не многихъ умовъ, но часто идетъ вопреки обыкновенному мнѣнію; да и въ области самой философіи, каждое новое произведеніе оригинальнаго философскаго ума прежде всего исходить изъ сознанія недостаточности прежде принятыхъ философскихъ теорій и, такимъ образомъ, открывая новое, непременно идетъ вопреки господствующему на правленію философіи. Словомъ. проводя въ знаніи строго начало общаго смысла, мы остановили-бы всякий прогрессъ знанія, полагая верхомъ благоразумія оставаться *in statu quo*, держась принятыхъ теорій и господствующихъ убѣжденій.

Такимъ образомъ постоянное движение науки и усовершенствованіе знанія само собою опровергаетъ мысль объ абсолютной непогрѣшимости всеобщаго разума. Ибо потому и измѣняются и усовершаются наши познанія, что прежнія были несовершены и потому не абсолютно истинны; и что относится къ каждой прошедшей эпохѣ знанія, то имѣеть мѣсто и въ приложеніи къ настоящему и будущему положенію его. Ни о какомъ данномъ моментѣ въ исторіи человѣческаго разума нельзя сказать, чтобы въ *этотъ* моментъ онъ не способенъ былъ идти еще дальше, не способенъ

усовершаться, следовательно, чтобы онъ былъ непогрѣшимъ.

Сказанного нами достаточно, чтобы видѣть, что начало общаго смысла въ сущности не можетъ быть названо строго философскимъ началомъ \*). Дѣйствительно, въ основу философіи здѣсь полагается непосредственное чувство или сознаніе истины, удостовѣряемое большинствомъ. Что такое чувство

\*) Не говоримъ здѣсь о формальномъ недостаткѣ принципа общаго смысла, какъ научнаго философскаго принципа. Идеальное требование отъ такого принципа, кромѣ его рациональной обоснованности, есть его единство. Но какъ далека отъ этого требованія философія общаго смысла, видно изъ того, что наиболѣе научные представители этой философіи, шотландскіе философы, только чисто эмпирически сопоставляютъ различныя истины общаго смысла, не пытаясь объединить ихъ и показать генетическую вхъ связь. Такъ, напримѣръ, Ридъ находитъ двѣнадцать „началъ истинъ случайныхъ“, или фактическихъ. Сюда: относятся убѣжденіе въ дѣйствительности непосредственно сознаваемыхъ нами душевныхъ состояній, убѣжденіе въ принадлежности этихъ состояній моему я, убѣжденіе въ существованіи предметовъ ясно припоминаемыхъ, въ личномъ нашемъ тожествѣ, въ достовѣрности нашихъ чувственныхъ воспріятій, въ зависимости нашихъ дѣйствій отъ нашей воли, въ присутствіи въ настѣ способности отличать истину отъ лжи; убѣжденіе въ томъ, что подобная намъ существа суть существа разумныя и живыя, что внѣшніе знаки у людей (напримѣръ, слова) выражаютъ внутреннія ихъ состоянія, что люди вообще говорятъ истину; убѣжденіе въ томъ, что множество свободныхъ человѣческихъ дѣйствій не можетъ быть предсказано, что силы природы дѣйствуютъ единообразно, какъ для настоящаго, такъ и для будущаго. Кромѣ этихъ случайныхъ (фактическихъ) началъ, Ридъ признаетъ еще начала „истинъ необходимыхъ“, которые различаются по наукамъ, основаніе для которыхъ онъ составляютъ; таковы начала: грамматическая, логическая, математическая, эстетическая, моральная и метафизическая. Что касается до началъ фактическихъ, то у Рида нѣтъ никакого основанія, почему онъ принимаетъ ихъ двѣнадцать, ни больше, ни меньше; такого рода начала можно-бы насчитать и цѣлую сотню. Что касается до началъ необходимыхъ, или руководящихъ принциповъ (аксиомъ) разныхъ наукъ, то и здѣсь замѣчается тотъ же произволъ въ ихъ установлѣніи; кромѣ упомянутыхъ, мы можемъ съ равнымъ правомъ допустить начала юридическая, медицинская, физическая, историческая, богословская. Но истинная философія въ томъ и поставляетъ свою задачу, чтобы объединить разрозненные начала всѣхъ другихъ наукъ и попытаться вывести ихъ достовѣрность изъ одного начала. Такое выведеніе должно имѣть цѣлію не одну только математическую стройность и цѣльность научнаго знанія (хотя и это требование имѣть значеніе); оно должно рационально обосновать эти начала: изъ *предположений*, какими они являются въ частныхъ наукахъ, сдѣлать *достовѣрными истинами*.

въ нась есть и что оно имѣетъ большое значение въ практической жизни и въ обычномъ ходѣ мышленія, когда мы и безъ особеннаго напряженія ума можемъ инстинктивнымъ, такъ сказать, чутьемъ, угадывать истину, — это несомнѣнно. Но несомнѣнно и то, что это, присущее всѣмъ людямъ чувство истины, не есть еще *знаніе* истины, какого требуетъ философія. Знаніе истины не есть только непосредственное признаніе ея или убѣжденіе въ ней, но отчетливое, разумное сознаніе, почему мы то или другое принимаемъ за истину. Поэтому и философія, какъ знаніе истины, какъ наука, не можетъ основываться на такихъ убѣжденіяхъ, которые, хотя сами по себѣ могутъ быть и истинны, но лишены характера знанія, т. е. не имѣютъ ясности и отчетливости понятія. Существенное требование отъ философіи, чтобы ея основоположенія были обоснованы и доказаны; но этого требованія не хочетъ знать философія общаго смысла, принимающая на вѣру главныя свои положенія потому только, что они кажутся ей всеобщими. Но теряя отъ этого въ своей глубинѣ и истиною философскому характеру, она въ тоже время теряетъ и относительно широты и полноты философскаго познанія. Для нея не существуетъ не только метафизика, но и дѣйствительная теорія познанія; она не интересуется вопросомъ, можетъ-ли и какъ человѣческій умъ достигать истины; она только старается выяснить, до какой степени общее сознаніе убѣждено въ извѣстныхъ положеніяхъ. Поэтому-то, какъ показываетъ и исторія философіи, послѣдователи начала общаго смысла и не произвели ничего существенно важнаго и оригинальнаго въ этой наукѣ. Труды наиболѣе выдающихся представителей нацрвленія, нами разсматриваемаго, касались преимущественно или нравственной философіи или эмпирической психологіи. Большинство-же философовъ, руководившихся такъ называемымъ общимъ смысломъ, замѣчательны только популярнымъ, часто поверхностнымъ и не имѣющимъ серьезнаго научнаго значенія философствованіемъ о различныхъ предметахъ. Это философствованіе часто превращалось въ столь же поверхностную, хотя ожесточенную и самоувѣренную критику существующихъ религіозныхъ и общественныхъ установлений, подъ предлогомъ противорѣчія или такъ называемому здравому смыслу или разуму, подъ именемъ котораго разу-

мѣлся уже не общий смыслъ человѣчества, ни даже большинства людей, но пониманіе извѣстнаго кружка считавшихъ себя образованными лицъ, выдававшихъ себя за представителей общечеловѣческаго разума.

Съ философіею общаго или здраваго смысла въ самомъ тѣсномъ родствѣ находится то направление философіи, которое называется *эклектизмомъ* или *синкремтизмомъ* \*). Эклектизмъ отъ обыкновенной философіи здраваго смысла отличается тѣмъ, что представителями этого смысла признается не просто большинство, но большинство по преимуществу мыслящее, т. е. философовъ. Сообразно своему принципу эклектикъ изъ системъ различныхъ мыслителей долженъ-бы выбирать то, въ чёмъ если не всѣ, то большая часть ихъ согласны. Но такъ какъ на самомъ дѣлѣ этотъ пріемъ при коренномъ различіи главныхъ философскихъ направлений не приложимъ, то обыкновенно онъ выбираетъ изъ нихъ то, что самъ онъ считаетъ болѣе согласнымъ съ истиной. Такимъ образомъ принципомъ эклектизма въ дѣйствительности является личное, непосредственное чувство истины. Отсюда видно, что по своему принципу эклектизмъ принадлежитъ не къ строго философскимъ направлениямъ, такъ какъ онъ принимаетъ въ свою систему тѣ или другія мнѣнія философовъ, руководствуясь только внутреннимъ чутьемъ истины, личнымъ здравымъ смысломъ. Конечно, такое чутье можетъ быть болѣе и менѣе чуткимъ, судя по большей или меньшей степени личнаго таланта, и оно можетъ иногда вѣрно угадывать истину; но оно не можетъ имѣть строго философскаго характера и быть философскимъ началомъ знанія. Отъ этого эклектизмъ никогда не можетъ создать и строго научной, философской системы. Эклектикъ щиплетъ тамъ и здѣсь цветы и листья разныхъ философскихъ произведений, чтобы изъ нихъ составить растеніе; но онъ дѣлаетъ только букетъ, который на время можетъ высма-

\*<sup>1)</sup> Эклектизмъ отъ синкремтизма отличаютъ иногда такъ, что подъ эклектизмомъ разумѣютъ выборъ и сводъ соглашающагося въ различныхъ системахъ, а подъ синкремтизмомъ соглашеніе и примиреніе разногласнаго въ нихъ, напр. попытка соглашенія Платона и Аристотеля. Въ этомъ смыслѣ синкремтизмъ называютъ напр. Александрийскій неоплатонизмъ и различаются въ немъ: юдейско-греческій (Филона), христіанско-греческій (Клиmenta, Оригена) и языческо-греческій (Порфирия, Плотина) синкремтизмъ.

трявить очень красиво, но скоро вянетъ, потому что въ немъ нѣть никакой внутренней собственной жизни. Не говоримъ о другихъ недостаткахъ эклектизма: о трудности изъ разнородныхъ системъ образовать одно внутренне связанное цѣлое, отчего въ эклектическихъ системахъ часто внутренняя, органическая связь замѣняется виѣшнею, формальною логическою связью,—о зависимости большей части эклектическихъ системъ отъ одной какой-либо философской системы, или господствующей въ данное время, или особенно уважаемой мыслителемъ по его личнымъ симпатіямъ, при чёмъ и его собственная система уже теряетъ характеръ строгаго эклектизма и без-пристрастія въ выборѣ элементовъ сводной системы.

Хотя философскія системы, основанныя, какъ на началѣ общаго смысла, такъ и на эклектическомъ принципѣ, и не удовлетворяютъ требованіямъ философіи относительно твердости и научного характера своего принципа, тѣмъ не менѣе онѣ имѣютъ важное значеніе въ исторіи человѣческой мысли. Это значеніе состоитъ въ томъ, что онѣ болѣе, чѣмъ всякия другія, способствуютъ популяризації философскихъ идей и распространенію ихъ въ обширныхъ кругахъ. Дѣйствительно, исторія философіи не разъ отмѣчаетъ тотъ замѣчательный фактъ, что эклектическія, или основанныя на началахъ такъ называемаго здраваго смысла, ученія имѣли несравненно больше вліянія и болѣе обширный кругъ распространенія, чѣмъ системы замѣчательныхъ, сильныхъ и оригинальныхъ мыслителей. Такъ напр., въ древности неоплатонизмъ, который въ сущности есть ничто иное, какъ синкретизмъ идей Платона съ вѣрованіями восточныхъ народовъ, имѣлъ гораздо болѣе жизненнаго вліянія и устойчивости, чѣмъ подлинная философія Платона, которая со временеми смерти своего основателя имѣла мало послѣдователей, сравнительно съ другими школами, до тѣхъ поръ, пока не выродилась въ неоплатонизмъ. Философскія сочиненія Цицерона опять имѣли громадное воспитательное вліяніе, съ которымъ не можетъ сравниться вліяніе другихъ, болѣе самостоятельныхъ, философскихъ твореній. Нѣть нужды говорить о всемъ извѣстномъ вліяніи Англійскихъ действъ и Французскихъ энциклопедистовъ на свое время. Направленіе Шотландскихъ философовъ и до сихъ поръ наиболѣе распространенное въ Англійской философіи.

Такое значение и влияние эклектическихъ и основанныхъ на началѣ общаго смысла ученій объяснить не трудно. Они болѣе, чѣмъ всякия другія, подходятъ къ уровню обыкновенного пониманія и основываются на томъ-же принципѣ, которымъ руководится человѣкъ въ сужденіи о вещахъ въ обыденной жизни. Здѣсь между философомъ и не философскою публикою существуетъ тайное взаимное соглашеніе относительно начала познанія и критерія истины, отъ чего и философскіе выводы кажутся болѣе удобопріемлемыми и убѣдительными. Далѣе, философія общаго смысла, по самому принципу своему, устраиваетъ труднѣйшія и болѣе отвлеченные философскія проблемы, каковы гносеологическая и большая часть метафизическихъ. Наконецъ, эклектическая и здраваго смысла философія, болѣе чѣмъ какая-либо другая, примѣняется къ стремленіямъ, вкусамъ, потребностямъ времени. Это на первый разъ можетъ показаться страннымъ, такъ какъ ея началомъ, повидимому, служатъ не частныя и временныя, а всеобщія убѣжденія человѣчества или здравый смыслъ, свободный отъ такъ называемыхъ предразсудковъ. Но мы видѣли, что за исключениемъ положеній, относящихся къ формальной сторонѣ знанія, установленіе истинно и абсолютно всеобщихъ убѣжденій человѣчества не такъ легко, какъ кажется. Вотъ почему подъ именемъ всеобщихъ убѣжденій часто являются на спену и выдаются за непреложнѣя истины убѣжденія большинства, преимущественно, современного; точно также, какъ вмѣсто отвлеченного, всеобщаго здраваго смысла, является личный, окрашенный субъективными оттѣнками своего времени, мѣста и національности, смыслъ извѣстнаго философа. Все это предрасполагаетъ читателя въ пользу извѣстнаго ученія, такъ какъ мнѣнія философа здѣсь большою частію совпадаютъ съ мнѣніями и стремленіями большинства. Такимъ образомъ популярная эклектическая или общаго смысла философія оказывается часто не дѣйствительною, свободною отъ субъективныхъ примѣсей философіею, а выраженіемъ міросозерцанія болѣе или менѣе образованнаго большинства даннаго времени.

Философскій принципъ общаго смысла исходить изъ того предположенія, что въ нашемъ разумѣ есть непосредственно даннѣя, не на умозаключеніяхъ разсудка основаннѣя и потому не нуждающіяся въ рациональномъ обоснованіи ихъ, исти-

ны, которые и должны лежать въ основѣ всякаго философскаго познанія. Характеристическимъ признакомъ этихъ истинъ и вмѣстѣ свидѣтельствомъ ихъ достовѣрности служитъ ихъ всеобщность, согласное признаніе ихъ всѣми людьми. Но мы видѣли шаткость и неудовлетворительность этого критерія истины. Поэтому другіе философы, исходящіе въ сущности изъ того-же предположенія, ищутъ завѣренія основныхъ и потому недоказуемыхъ рационально философскихъ истинъ не во вѣшнемъ удостовѣреніи ихъ авторитетомъ всеобщаго согласія, но во внутренней самодостовѣрности, въ непосредственномъ субъективномъ чувствѣ ихъ истины, или вѣрѣ. Отсюда возникаетъ новый принципъ философіи, который мы можемъ назвать принципомъ *чувства* или *вѣры*, какъ основанія знанія.

Самое ясное и отчетливое выраженіе принципъ чувства нашелъ себѣ въ философіи Якоби \*). Якоби исходитъ изъ того положенія, что разсудокъ, служацій органомъ философіи, не въ силахъ твердо обосновать первоначальныя и коренные истины знанія. Доказательство тому онъ находитъ въ совершенной бесплодности попытокъ философіи доказать демонстративнымъ путемъ такія, напримѣръ, основная истины, какъ бытіе міра виѣшняго, Бога, души и др., что, по его мнѣнию, окончательно и рѣшительно выяснилъ Кантъ въ своей Критикѣ чистаго разума, въ чемъ и состоить его величайшая и неоспоримая заслуга. Причина этого явленія заключается въ томъ, что всякий процессъ доказательства въ концѣ концовъ долженъ утверждаться на какихъ-либо первоначальныхъ и безусловно достовѣрныхъ истинахъ, но доказательство этихъ

1) Незадолго до Якоби, на чувство, какъ на источникъ всѣхъ высшихъ истинъ нашего познанія, въ противоположность разсудку, указывалъ Ж. Ж. Руссо. „Le sentiment est plus, que la raison“. Въ чувствѣ, а не въ разсудкѣ заключается высшее и единственное удостовѣреніе истинъ бытія Божія, реальности міра, духовности и бессмертія души. Послѣ Якоби его ученіе о чувствѣ или вѣрѣ, какъ началѣ философскаго познанія, съ нѣкоторыми видоизмененіями, было раздѣляемо Гаманомъ, Кеппеномъ, Аnsильономъ, Фризомъ и другими. По учению болѣе замѣчательного изъ этихъ философовъ—Фриза, чувственное есть предметъ знанія, сверхчувственное—предметъ разумной вѣры, а откровеніе или обнаруженіе сверхчувственного въ чувственномъ—предметъ предчувствія (Ahnen). Это предчувствіе служитъ общимъ источникомъ какъ религіознаго, такъ и эстетическаго міросозерцанія.

самыхъ истинъ, очевидно, невозможнo. Доказать что нибудь значитъ показать, какъ это что-нибудь возможно, т. е. изъ какихъ причинъ или условій оно происходит. Но очевидно, такой процессъ возможенъ только въ примѣненіи къ вещамъ условнымъ и производнымъ; мы можемъ доказывать только то, что можемъ объяснить изъ чего-либо другаго, высшаго, что его обусловливаетъ и изъ чего оно проистекаетъ. Но первоначальное и безусловное, уже по самому понятію своему, не можетъ происходить изъ чего-либо, вытекать изъ какихъ-либо условій. Поэтому пытаться доказывать основное и безусловное значитъ впадать въ логическое противорѣчие; это значитъ, для первоначального искать его начала, для безусловнаго — его условій. Вотъ почему, напримѣръ, нашъ разумъ никогда не въ силахъ доказать бытіе Божіе; это зна-чило-бы выводить это бытіе изъ какого-либо другаго высшаго бытія или высшей его основы.

Поэтому удостовѣренія въ основныхъ истинахъ нашего знанія мы должны искать не въ доказательствахъ, не въ разсудкѣ, какъ способности демонстраціи, но въ непосредственномъ убѣжденіи или въ *вѣрѣ* въ эти истины \*). На этой вѣрѣ въ сущности основывается всякое дальнѣйшее познаніе предметовъ какъ эмпирическихъ, такъ и сверхчувственныхъ. „Только посредствомъ вѣры мы знаемъ, что имѣемъ тѣло, что виѣ нась существуютъ тѣла и другія мыслящія существа“; поэтому всѣ попытки научно доказать дѣйствительность и истину нашихъ представлений о виѣшнемъ мірѣ напрасны и ведутъ только къ идеализму. Точно также только посредствомъ вѣры мы удостовѣряемся въ существованіи объектовъ міра сверхчувственного и въ истинахъ сюда относящихся. Въ Бога, въ Промыслъ, въ духовность и бессмертіе души, въ истину, добродѣтель, свободу, можно только вѣрить. всякая попытка обосновать эти и другія основные истины зна-тия инымъ какимъ-либо путемъ кромѣ вѣры, напримѣръ, пун-немъ демонстраціи, не только кончится неудачею, но и угро-

<sup>1)</sup> Впрочемъ, у Якоби неѣ строго установленнаго термина для обозначенія своего философскаго принципа; вмѣсто выраженія *вѣра* онъ иногда употребляетъ названія: внутреннее чувство, духовное чувство, сила вѣры, разумъ (*Vernunft*) — въ противоположность способности эмпирическаго познанія и рефлектирующему надъ данными опыта разсудку (*Verstand*).

жаеть опасностю привести къ отрицаню этихъ истинъ. Разсудокъ, вращаясь въ сферѣ условнаго, можетъ и приходить только къ началамъ условнымъ, и если-бы мы захотѣли довѣриться только разсудочному познаню, то послѣдовательно пришли-бы къ отрицаню безконечнаго и сверхчувственнаго, потому что изъ соединенія условнаго съ условнымъ, по законамъ разсудка, можетъ быть выведено только условное; съ нашимъ демонстративнымъ мышленіемъ мы никогда не можемъ выдти изъ области бытія посредственнаго, т. е. изъ связи естественныхъ и механическихъ причинъ. Вотъ почему путь разсудочной демонстраціи, проведенной послѣдовательно, необходимо приводить къ фатализму и материализму въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, т. е. къ ограниченію существующаго одною природою и ея механическими законами; въ этомъ смыслѣ можно назвать материализмомъ и философію Спинозы \*).

Недостаточность существующихъ въ философіи доказательствъ основныхъ истинъ нашего знанія всегда была любимымъ оружиемъ въ рукахъ философовъ, отрицавшихъ нужду рациональнаго обоснованія принциповъ философіи, въ защиту той мысли, что такого обоснованія мы должны искать не въ самомъ философскомъ знаніи, а виѣ его, въ области чувства или вѣры. Мы оставляемъ въ сторонѣ вопросъ: дѣйствительно ли недостаточны эти доказательства и не можетъ ли критика ихъ (напримѣръ, у Канта) въ свою очередь подвергнуться критикѣ, значительно ослабляющей, даже уничтожающей ея силу? Замѣтимъ лишь то, что ссылаться на недостаточность существующихъ доказательствъ основныхъ истинъ философіи, какъ на доказательство ихъ невозможности, значитъ дѣлать слишкомъ поспѣшное заключеніе о несостоятельности разума вообще. Ничто не говоритъ, чтобы недостаточные доказательства, по устраненіи ихъ недостатковъ и болѣе правильной постановкѣ ихъ, не могли сдѣлаться достаточными и чтобы разумъ человѣка въ дѣлѣ философіи истощилъ всѣ свои силы и долженъ окончательно отказаться отъ своихъ правъ въ пользу чувства.

1) Подробнѣе ученіе Якоби о вѣрѣ, какъ началѣ нашего знанія о сверхчувственномъ и объ отношеніи ея къ знаню разсудочному, см. въ нашемъ соч. „Религія, ея сущность и происхожденіе“. 1871, стр. 121—143 (Сочиненія В. Д. Кудрявцева-Платонова, т. II. вып. 1).

Если-же намъ говорять, что не только фактически, но и по самому существу дѣла, попытки философіи обосновать свои главныи истины должны остатъ тщетными, въ силу того, что каждый процессъ доказыванія состоить въ выведеніи условнаго изъ его условій и потому не можетъ быть примѣненъ къ доказательству или выведенію безусловнаго и первоначальнаго, такъ какъ для него нѣтъ уже дальнѣйшихъ условій или началъ,—то эта мысль основывается на странномъ недоразумѣніи и смѣшениі реального происхожденія *вещей* съ происхожденіемъ *понятій* о нихъ въ нашемъ сознаніи. Совершенно вѣрно, что въ дѣйствительности безусловное и первоначальное не можетъ происходить изъ какихъ-либо условій или началъ; но въ нашемъ познаніи *понятіе* о безусловномъ не есть первоначально очевидное; до него мы доходимъ путемъ продолжительного умственного развитія и правильность его *условливается* правильностю этого развитія. Думать иначе значитъ вопреки очевидному психологическому опыту предполагать, что понятіе въ нашемъ умѣ предшествуетъ представлению, общее и отвлеченнное—частному и конкретному. То, что мы сказали о понятіи безусловнаго, должно сказать и о другихъ высшихъ понятіяхъ нашего ума: происхожденіе ихъ въ нашемъ умѣ вовсе не одно и тоже, что реальное происхожденіе *вещей*, обозначаемыхъ этими понятіями, въ нашего познающаго ума. И если этотъ генезисъ понятій,—выведеніе ихъ одного изъ другаго и обоснованіе одного другимъ, называть доказательствомъ, то, очевидно, это доказательство (генезисъ субъективный) будетъ совершенно не то, что реальный генезисъ *вещей* и происхожденіе ихъ одной изъ другой.—Доказывать—значитъ очевидность одной истины выводить изъ доказанной или признанной очевидности другой; въ этомъ смыслѣ, конечно, одна мысль *условливаетъ* другую, но обусловливать мысль мыслию вовсе не тоже что обусловливать вещь вещью. Такъ напримѣръ, когда мы доказываемъ бытіе Божіе, то это не значитъ, что мы выводимъ существо безусловное изъ какого-либо высшаго условія бытія, ограничиваемъ абсолютное и низводимъ его, какъ думаетъ Якоби, въ рядъ конечныхъ и условныхъ *вещей*; но мы выводимъ лишь истину *понятія* о Богѣ изъ какихъ-либо другихъ понятій, которыя представляются болѣе ясными и очевидными *для насъ*. Вообще

Якоби, говоря о невозможности доказательства основныхъ истинъ знанія, несправедливо смышиваетъ условливаемость нашихъ понятій съ условностію вещей, такъ называемое основаніе познанія (*ratio cognoscendi*) съ основаніемъ бытія (*ratio fiendi*). Иной, конечно, вопросъ: существуютъ ли въ *самомъ* нашемъ *познаніи* такія болѣе ясныя и достовѣрныя истины, которыя могли-бы служить основаніемъ для доказательства, напримѣръ, бытія Божія и нѣкоторыхъ другихъ первоначальныхъ истинъ, въ указанномъ нами смыслѣ? Но этотъ вопросъ долженъ быть рѣшенъ внимательнымъ анализомъ нашего познанія, а никакъ не простымъ указаниемъ невозможности происхожденія безусловнаго изъ условнаго, какъ то дѣлаетъ Якоби; а такого рода анализъ и будетъ искомымъ нами философскимъ обоснованіемъ первоначальныхъ истинъ нашего знанія.

Но положимъ, этотъ анализъ приведеть нась къ заключенію, что въ нашемъ умѣ есть нѣкоторыя основныя истины (какія—надѣемся указать въ заключеніи нашего изслѣдованія), для которыхъ нельзя искать какихъ-либо высшихъ, болѣе очевидныхъ достовѣрныхъ истинъ, изъ которыхъ онѣ могли-бы быть выведены, что онѣ, слѣдовательно, должны быть признаны недоказуемыми, если подъ именемъ доказательства понимать процессъ выведенія какой-либо истины изъ другой болѣе достовѣрной. Слѣдуетъ-ли отсюда, что онѣ въ силу такого своего характера не нуждаются ни въ какомъ раціональномъ обоснованіи и что такое обоснованіе для нихъ невозможно? На этотъ вопросъ мы должны-бы отвѣтить утвердительно въ томъ лишь случаѣ, если-бы для нась былъ возможенъ одинъ только видъ доказательства—прямое выведеніе одной истины изъ другой. Но, кромѣ доказательствъ *прямыхъ*, логика знаетъ и другаго рода доказательства—*косвенные*, имѣющія цѣлую показать, что отрицаніе той или другой истины, признаніе за истину мнѣнія, противоположнаго ей, приводитъ къ завѣдомо ложнымъ или противорѣчащимъ разуму послѣдствіямъ. Примѣненіе такого рода доказательствъ къ утвержденію основныхъ истинъ нашего знанія вполнѣ возможно и достаточно для требуемаго идею философскаго знанія раціональнаго обоснованія этихъ истинъ. Такъ, напримѣръ, положимъ, мы не можемъ доказать бытія Божія путемъ доказательства прямаго, чрезъ выведеніе этой истины изъ какой-либо другой болѣе корен-

ной и несомнѣнной; но мы можемъ показать, что, отрицая высочайшую, всесовершенную Причину міра, почитая такою Причиною случай или неразумную и безсознательную матерію, мы нарушаемъ законъ достаточного основанія, приписывая случаю или матеріи произведеніе такихъ явлений, которыхъ они никакъ произвести не могутъ.

Если, такимъ образомъ, раціональное обоснованіе коренныхъ истинъ нашего знанія, отчасти путемъ анализа этого знанія, отчасти путемъ косвенного доказательства возможно, то необходимость его предполагается сама собою характеромъ философскаго познанія, въ отличіе отъ всѣхъ другихъ родовъ познанія, требующаго, чтобы самые принципы его не были принимаемы по простому предположенію, но были раціонально изслѣдованы и удостовѣрены въ ихъ истинѣ. Такого удостовѣренія, очевидно, не можетъ дать намъ чувство или та непосредственная вѣра, о которой говоритъ Якоби. Прежде всего, какъ чувство субъективное, оно можетъ имѣть значеніе для насъ лично, но не можетъ быть необходимымъ и всеобще-обязательнымъ критеріемъ истины. Исторія мышленія показываетъ, что самыя, повидимому, коренные убѣжденія непосредственной вѣры подвергались оспариванію, сомнѣнію, отрицанію. Въ виду этихъ сомнѣній и отрицаній, чтобы наши убѣжденія имѣли достовѣрность не только субъективную, но и объективную, мы должны не только показать несостоятельность отрицанія ихъ, но и представить положительные основанія въ ихъ пользу. Въ томъ и другомъ случаѣ, мы, очевидно, должны идти тѣмъ же самыми путемъ и методомъ, какимъ идутъ и отрицающіе эти убѣжденія,—путемъ раціональной демонстраціи. Ложь и неосновательность умозаключеній должны быть исправлены доводами правильными и основательными. Здѣсь недостаточно ссылаться на личную вѣру, какъ-бы она непоколебима ни была, потому что, считая за *ultima ratio* непосредственное убѣжденіе, другой точно съ такимъ же правомъ будетъ ссылаться на свое личное невѣріе; наша вѣра, какъ субъективное убѣжденіе, не будетъ имѣть никакого преимущества предъ невѣріемъ, если не будетъ оправдана въ своей истинѣ разумомъ.

Если мы даже оставимъ въ сторонѣ философскія мнѣнія, противорѣчащія основнымъ истинамъ нашего сознанія, и необ-

ходимость устранить ихъ, то и независимо отъ нихъ мы едва-ли найдемъ въ непосредственной вѣрѣ то удостовѣреніе ихъ истины, котораго ищемъ въ ней, вслѣдствіе кажущейся несостоятельности знанія. На самомъ дѣлѣ вѣра, какъ-бы всеобща и необходима ни была, въ сущности удостовѣряеть только субъективную необходимость извѣстныхъ истинъ, но ничего не говоритъ еще объ ихъ дѣйствительной, объективной истинѣ и не ручается за нее. Пусть извѣстная истина признается всѣми, пусть даже дѣйствуетъ на всѣхъ съ неотразимою силою убѣжденія: это еще не предотвращаетъ сомнѣнія, не есть-ли такое необходимое признаніе ся необходимое выраженіе какого-либо чисто субъективнаго требованія нашей природы, не имѣющаго ничего общаго съ дѣйствительностю. Въ сферѣ низшей органической дѣятельности нашихъ чувствъ и въ основанномъ на ней чувственномъ познаніи есть такого рода субъективно необходимыя истины и непосредственные убѣжденія, которая не имѣютъ однакоже реальной истины и суть не болѣе, какъ необходимыя, естественные иллюзіи. Такъ, напримѣръ, солнце необходимо представляется намъ движущимся по горизонту, а земля неподвижно стоящею, сводъ неба необходимо кажется куполообразнымъ, луна на краю горизонта болѣшихъ размѣровъ, чѣмъ когда стоитъ высоко на небѣ и пр. Можетъ быть и въ сферѣ вышшей, психической дѣятельности, въ области умственной есть подобнаго-же рода иллюзіи и къ нимъ привадлежать тѣ истины, въ которыхъ мы непосредственно убѣждены; можетъ быть эта непосредственная увѣренность и очевидность также мало ручается за ихъ объективную истину, какъ очевидность неподвижности земли и движенія солнца за реальную истину. Что подобнаго рода недоумѣнія не суть праздные вымыслы боязливаго скептицизма, свидѣтельствуютъ различныя философскія ученія, гдѣ коренные убѣжденія нашего сознанія или прямо объявляются иллюзіями (например, сознаніе себя свободными) или, болѣе прикровенно,—необходимыми субъективными убѣжденіями ума, чѣмъ нисколько не служить доказательствомъ ихъ объективной истины. Въ этомъ смыслѣ признавалъ субъективную необходимость идеи Бога, мира и души Кантъ. При такомъ положеніи дѣла, въ философіи мы не можемъ ссыпаться на одну вѣру, какъ на завѣреніе коренныхъ истинъ нашего ума; мы

должны доказать, что наша вѣра не есть субъективно только необходимое убѣжденіе, но имѣть объективное значеніе, а это опять указываетъ на необходимость рационального обоснованія основныхъ истинъ нашего знанія.

Нѣтъ нужды говорить о томъ, что послѣдовательное проведение ученія о чувствѣ или вѣрѣ, какъ началѣ знанія, должно привести къ уничтоженію самой философіи, выключая изъ ея вѣданія всѣ самые важные и существенные ея вопросы. Этотъ выводъ въ теоріи, по видимому, вполнѣ принимаетъ Якоби, когда свою философію, по отношенію къ высшимъ истинамъ, называетъ „философіею незнанія“. Но на самомъ дѣлѣ онъ далеко не проводитъ своего ученія до его послѣднихъ результатовъ и, благодаря именно этой непослѣдовательности, самъ онъ занимаетъ мѣсто въ числѣ замѣчательныхъ философовъ и его ученіе принадлежитъ къ числу философскихъ системъ. Онъ не голословно, не на вѣру принимаетъ свой принципъ, но старается обосновать его, прежде всего, отрицательно путемъ демонстраціи, что разумъ не можетъ доказать истинъ вѣры. Но этимъ онъ не ограничивается. Не смотря на то, что свою философію, по отношенію къ высшимъ истинамъ, онъ называетъ „философіею незнанія“, онъ даетъ намъ однако-же определенный *понятія* о Богѣ, о свободѣ, бессмертіи и пр.; онъ опровергаетъ напр. пантезизмъ, фатализмъ, материализмъ, пользуясь рациональнымъ методомъ раскрытия истины; не довольствуясь отрицаніемъ ложныхъ мнѣній, онъ говоритъ не только о томъ, какъ не должно мыслить объ известныхъ основныхъ истинахъ, но и о томъ, какъ правильно должно мыслить о нихъ. Все это показываетъ, что, вопреки своему принципу, онъ допускаетъ возможность рационального раскрытия истины непосредственныхъ убѣжденій. Дѣйствительно, если-бы такое уклоненіе отъ послѣдовательнаго проведения принципа вѣры или чувства не было допущено, то онъ въ философскомъ отношеніи стоялъ-бы ниже предшествующаго принципа,—общаго смысла, потому что послѣдній, полагая въ основу философіи непосредственная убѣжденія разума, старается однако-же доказать или оправдать истину ихъ согласіемъ всѣхъ людей; но философія, полагающая своимъ началомъ вѣру, въ смыслѣ нами указанномъ, должна довольствоваться простою ссылкою на субъективное

чувство, не пытаясь оправдать его даже внешнимъ авторитетомъ, согласнымъ признаніемъ истины его всѣми людьми. Различие не въ пользу послѣдней и въ сравненіи съ нею философія общаго смысла имѣетъ больше научнаго значенія, потому что старается обосновать свое начало указаниемъ на одинъ изъ характеристическихъ признаковъ его,—всеобщность.

2. Критическое разсмотрѣніе началъ общаго смысла, чувства или вѣры показало, что ни то, ни другое не могутъ быть признаны строго научными принципами философскаго знанія, такъ какъ то и другое въ сущности основываются на довѣрности къ непосредственнымъ убѣжденіямъ нашего сознанія. Такого рода убѣжденія философія не можетъ признать своими основоположеніями не потому, чтобы они были по содержанію не истинны и не потому, чтобы въ числѣ ихъ не заключалось изъкоторыхъ дѣйствительно коренныхъ и первоначальныхъ истинъ нашего разума; мы сами увидимъ, что въ нашемъ сознаніи дѣйствительно есть такія коренные и невыводимыя ни изъ какихъ другихъ высшихъ истинъ путемъ умозаключеній основоположенія знанія. Но дѣло въ томъ, что эти свойства ихъ (истина и первоначальность), какъ показываетъ исторія мышленія, вовсе не такъ очевидны и непререкаемы, чтобы ихъ можно было принимать на вѣру, какъ нѣчто неподлежащее изслѣдованію. Поэтому они должны быть разъяснены и обоснованы раціональнымъ путемъ, согласно съ идею философіи, какъ знанія, основанного на раціональныхъ началахъ. Какъ-бы ни были важны для насъ непосредственныя убѣжденія и какимъ-бы вѣшнимъ авторитетомъ ни подтверждались, это не даетъ философіи права принимать ихъ безъ дальнѣйшаго изслѣдованія. Здравый смыслъ не освобождается насъ отъ труда изслѣдовать основанія, почему онъ почитается себя здравымъ въ извѣстныхъ сужденіяхъ большинства и всеобщій разумъ не обязанъ въ этомъ случаѣ мыслить за разумъ философа. Убѣжденія вѣры и чувства, не смотря на свою истину и принудительную для субъективнаго сознанія силу, должны быть провѣрены философскимъ анализомъ ихъ, потому что цѣль философіи не просто истина, но истина достовѣрная для разума, т. е. обоснованная раціональнымъ способомъ.

Но возможно-ли такое обоснованіе коренныхъ истинъ нашего познанія? Мы видѣли, что недовѣrie къ дѣйствительности

рациональныхъ доказательствъ этихъ истинъ, подтверждаемое фактомъ постояннаго разногласія философскихъ теорій, и привело нѣкоторыхъ философовъ къ мысли, оставивъ всѣ подобнаго рода попытки, неудача которыхъ засвидѣтельствована опытомъ, положить въ основу философіи простыя, непосредственныя убѣжденія общаго смысла или вѣры. Но мы видѣли, что и подобный способъ установленія основныхъ истинъ философіи оказался также неудачнымъ, какъ не только несоответствующій идеѣ философскаго знанія, но и необеспечивающій даже твердости и общеобязательнаго признанія этихъ истинъ. Если-же теперь, ни самое знаніе, какъ свидѣтельствуетъ о томъ противорѣчіе философскихъ учений, не можетъ открыть намъ никакихъ безспорныхъ и всеобще признаваемыхъ истинъ; если, съ другой стороны, мы не можемъ довѣрять ни положеніямъ общаго смысла, ни непосредственному чувству: то не въ правѣ-ли мы усомниться въ самой возможности найти какія-либо дѣйствительно несомнѣнныя истины?

Выраженіемъ такого недовѣрія къ знанію служить *скептицизмъ*. Скептицизмъ такимъ образомъ представляетъ противоположность предыдущимъ философскимъ направлениямъ; если слѣдовавшіе имъ философы погрѣшили излишнею довѣрчивостію къ знанію, довольствуясь непосредственными и непроверенными разумомъ убѣжденіями, то скептики вдаются въ обратную крайность совершенного недовѣрія къ какому-бы то ни было знанію, будетъ-ли оно основано на авторитетѣ вѣры и общаго смысла, или на началахъ рациональныхъ. Понятіе скептицизма довольно широкое и неопределенное; иногда имѣнемъ скептиковъ назывались или подвергались упреку въ скептицизмѣ философы, мышленіе которыхъ носило совершенно иной характеръ и у которыхъ, такъ называемый, скептицизмъ былъ только однимъ изъ моментовъ ихъ философскаго познанія. Поэтому мы должны точнѣе разграничить различные виды скептицизма и прежде всего отличить скептицизмъ методическій отъ положительнаго. Перваго рода скептицизмъ, какъ показываетъ самое название, составляетъ только методъ или известный способъ познанія истины, а не заключаетъ въ себѣ положительнаго сомнѣнія въ возможности знать истину. Такого рода скептицизмъ по своему началу совпадаетъ съ началомъ самой философіи, такъ какъ и сама философія обязана сво-

имъ происхожденiemъ сомнѣнію въ достовѣрности и истинѣ непосредственныхъ убѣжденій и вѣрованій. Прежде чѣмъ философія, въ лицѣ своихъ древнѣйшихъ представителей, обратилась къ изслѣдованіямъ о природѣ, о происхожденіи и составѣ вселенной, о первомъ Началѣ бытія, она имѣла уже передъ собою положительное рѣшеніе этихъ вопросовъ въ формѣ религіозныхъ представленій и миѳовъ. Очевидно, первымъ побужденіемъ къ философскому изслѣдованію этихъ предметовъ должно было быть возникшее сомнѣніе въ справедливости тѣхъ представленій, которая заключались въ миѳическихъ теогоніяхъ и космогоніяхъ. Точно также и въ дальнѣйшемъ движеніи философіи субъективнымъ мотивомъ возникновенія новыхъ философскихъ системъ было сомнѣніе въ удовлетворительности прежнихъ. Но такого рода сомнѣніе въ большей части случаевъ бывало частнымъ, т. е. относилось къ тѣмъ или другимъ сторонамъ существующихъ философскихъ учений. Философомъ, который выставилъ на первый планъ сомнѣніе, какъ главное начало философскаго изслѣдованія, былъ Декартъ.

„Не сегодня только, говорить Декартъ, замѣтилъ я, что съ первыхъ лѣтъ моей жизни я принялъ значительное количество ложныхъ мнѣній за истинныя и что, поэому, и все то, что я основывалъ затѣмъ на началахъ столь мало достовѣрныхъ, не могло быть инымъ, какъ только очень сомнительнымъ и не достовѣрнымъ. Отсюда я пришелъ къ убѣждению, что мнѣ нужно рѣшиться разъ въ моей жизни отდѣлаться (*me dÃ©faire*) отъ всѣхъ мнѣній, которая я до сихъ поръ принималъ на вѣру и начать все съзнова, если я хочу установить что-либо твердое и постоянное въ наукѣ“<sup>1)</sup>. Декартъ не считаетъ нужнымъ излагать подробно поводы къ сомнѣніямъ относительно тѣхъ или другихъ частныхъ мнѣній: „это было бы безполезнымъ трудомъ; но такъ какъ разрушеніе фундамента необходимо влечетъ за собою паденіе всего остального зданія, то онъ считаетъ достаточнымъ напасть (*m'attaquer*) на основные принципы, на которыхъ опирается все наше мышленіе“ \*). Эти принципы: увѣренность въ существованіи вѣнчнаго міра, увѣренность въ достовѣрности нашего познанія,

<sup>1)</sup> Medit. 1. Oeuvres de Descartes, ed. J. Simon. 1860 p. 65, 66.

въ бытіи Божества и въ собственномъ нашемъ существованіи. Какъ извѣстно, изъ этого горнила абсолютного сомнѣнія у Декарта выходитъ чистою и несомнѣнною мысль о собственномъ мышленіи и существованіи: *cogito, ergo sum.* Это положение кажется ему достаточно твердымъ для того, чтобы на немъ снова воздвигнуть разрушенное зданіе философіи.

Принципъ абсолютного сомнѣнія, выставленный Декартомъ, какъ извѣстно, вызвалъ ожесточенную вражду противъ его философіи современныхъ и ближайшихъ къ нему послѣдователей схоластической, основанной на началѣ религіозной вѣры, философіи; смягченные отзвуки этой вражды можно прослѣдить и до настоящаго времени въ опасеніяхъ за цѣлостность коренныхъ истинъ нашего знанія приложеніи къ нимъ столь сильнаго способа испытанія. Эти опасенія, конечно, не могли быть устраниены тѣмъ, что самъ Декартъ своимъ примѣромъ показалъ ихъ несостоятельность и безопасность своего сомнѣнія, воздвигши изъ своего несомнѣнного принципа все зданіе философіи въ новомъ болѣе прочномъ и лучшемъ, по его мнѣнію, видѣ, чѣмъ было прежде, потому что самая правильность вывода основныхъ истинъ знанія изъ его принципа могла оказаться несостоятельною, его собственное сомнѣніе въ дѣйствительности неустранимъ и его методъ въ такомъ случаѣ остался-бы методомъ не созиданія, а только разрушенія.

Но на самомъ дѣлѣ подобнаго рода опасенія основаны на недоразумѣніи и на смѣшении методического сомнѣнія съ положительнымъ скептицизмомъ. Сомнѣніе первого рода есть движущій нервъ всякаго рода познанія, не одного только философскаго. Для того, чтобы замѣнить одно мнѣніе другимъ, неправильное правильнымъ, худшее лучшимъ, очевидно, нужно сначала усомниться въ правильности прежняго, замѣтивъ его недостатки; безъ этого мы всегда оставались-бы *in statu quo* въ области науки и не могли-бы двинуться впередъ.. Источникъ такого рода сомнѣнія заключается въ самомъ свойствѣ человѣческаго познанія. Такъ какъ наше познаніе ограничено по самой природѣ, то оно не можетъ ни обнимать всего познаваемаго самаго по себѣ, ни всего познаваемаго для насъ постигать вдругъ, съ непосредственною очевидностю и безъ опасенія ошибки. Во многихъ случаяхъ до такой очевидности мы должны доходить путемъ продолжительного обду-

мыванія, должны взвѣшивать основанія за и противъ данной мысли. Отсюда неизбѣжно, пока продолжается процессъ достиженія очевидности данной мысли, она для нашего сознанія остается неочевидною, недостовѣрною, и мы находимся въ состояніи колебанія и нерѣшительности, такъ-ли мы должны думать объ извѣстномъ предметѣ или иначе; это и есть сомнѣніе. Эта нерѣшительность, зависящая отъ того, что наше мышленіе не есть интуитивное, но дискурсивное постиженіе истины, еще болѣе оправдывается тѣмъ, что изслѣдуемая истинна въ дѣйствительности часто бываетъ закрыта и затѣмнена различного рода заблужденіями, что обычныя мнѣнія о ней, почитаемыя истинными, по надлежащемъ размышленіи и изслѣдованіи, часто оказываются ложными и полуистинными. Закоренѣлые предразсудки, поверхностная сужденія большинства, порочные наклонности и страсти часто дѣлаютъ ошибочными обычныя наши сужденія о вещахъ. Сомнѣніе въ правильности этихъ сужденій ведетъ налѣтъ умъ къ размышленію, очищаетъ наше познаніе, освобождая его отъ предзанятыхъ и одностороннихъ воззрѣній и пролагаетъ путь къ истинѣ. Отсюда видно, что возможность и необходимость сомнѣнія (равно какъ и заблужденія) заключается въ природномъ несовершенствѣ и ограниченности нашего познанія. Если-бы предметы познанія представлялись намъ всѣ въ совокупности и съ такою очевидностью, что истина ихъ съ безусловно принудительной силой дѣйствовала-бы па наше мышленіе, то, конечно, состояніе сомнѣнія было-бы для насть невозможно; но оно вполнѣ естественно, когда большая часть предметовъ нашего знанія представляется намъ въ такой темнотѣ, которая дозволяетъ нашему разсудку до окончательного разъясненія ихъ удерживать свое сужденіе въ состояніи колебанія и нерѣшительности. Такого рода сомнѣніе составляетъ необходимый переходный моментъ всякаго научнаго познанія и не имѣетъ ничего общаго съ положительнымъ скептицизмомъ; такое название можетъ принадлежать ему только въ смыслѣ несобственному, правильнѣ можно-бы назвать принципъ методическаго сомнѣнія *скепсисомъ*, согласно съ буквальнымъ значеніемъ слова: *σκέψις*, которое значитъ первоначально: разсмотрѣніе, изслѣдованіе; еще лучше назвать его *критическимъ* изслѣдованіемъ истины (критицизмомъ), которое соста-

вляеть действительную принадлежность правильного философского метода.

Но если такимъ образомъ права сомнѣнія въ дѣлѣ философскаго изслѣдованія должны быть признаны обезпеченными, то иное дѣло вопросъ о границахъ этого сомнѣнія. Декартъ, какъ мы видѣли, нигдѣ и ни въ чёмъ не полагаетъ ему границъ, такъ что его сомнѣніе вполнѣ можетъ быть названо абсолютнымъ. Если онъ, повидимому, ограничиваетъ его одни ми общими и основными истинами знанія, то не потому, чтобы онъ признавалъ какія-либо истины неприкосновенными для своего скептицизма, но только потому, что разрушение ихъ было-бы долгимъ и безцѣльнымъ трудомъ, такъ какъ съ нис-приверженiemъ основныхъ истинъ, фундамента зданія, падаетъ и все остальное. Мы не станемъ разбирать здѣсь тѣхъ поводовъ къ сомнѣнію въ основныхъ истинахъ знанія, которые выставлены Декартомъ и оцѣнивать степень ихъ состоятельности. Мы сейчасъ увидимъ, что число несомнѣнныхъ истинъ не ограничивается знаменитымъ: *cogito, ergo sum*, и что поэтому абсолютность его сомнѣнія должна быть значительно ограничена. Здѣсь укажемъ лишь на тотъ существенный недостатокъ философіи Декарта, что онъ не опредѣляетъ точно той области знанія, гдѣ его методическій принципъ можетъ имѣть законное приложеніе, но распространяетъ его на все познаніе вообще, не различая его степеней и формъ, и возводить его въ принципъ не только философскаго, но универсальнаго сомнѣнія. Но понятіе знанія вообще шире, чѣмъ понятіе философскаго знанія и понятіе истины шире, чѣмъ понятіе истины рационально или философски доказанной. Мы замѣтили, что извѣстныя положенія могутъ быть истинными по содержанию и, какъ таковыя, могутъ быть принимаемы за истину нашимъ сознаніемъ, независимо отъ того, доказаны они рационально или нѣтъ. Такого рода, прежде всего, суть истины религіи, усвояемыя преимущественно вѣрою. Простирая свой скептицизмъ на эти истины мы не имѣемъ права потому самому, что онѣ не суть истины философскаго знанія, не изъ разума проис текаютъ и потому не могутъ быть въ своей достовѣрности подвергнуты суду разума. Подвергая сомнѣнію истины, основанныя на божественномъ Откровеніи, разумъ становился-бы судью въ чужой ему области. Права фило-

софії не могутъ простираяться на самыя эти истины, какъ таковыя, но только на раціональныя доказательства, которые могутъ быть приводимы въ ихъ пользу и степень состоятельности которыхъ, конечно, можетъ подлежать философскому изслѣдованію. Точно также самостоятельную и независимую отъ философиі областъ знанія составляютъ знанія положительныя: эмпирическое и историческое. Конечно, и въ области положительныхъ наукъ есть стороны и вопросы, которые подлежать философскому изслѣдованію и въ отношеніи къ которымъ вполнѣ законно приложеніе скептическаго метода; по что касается до чисто фактической и положительной стороны ихъ, то она не можетъ подлежать суду философиі, такъ какъ источникомъ положительного знанія служать факты, а критеріемъ истины—согласіе съ дѣйствительностю; поэтому и степень достовѣрности факта, его сомнительность или несомнѣнность не можетъ быть опредѣляема однимъ раціональнымъ способомъ. Отсюда видно, что приложеніе сомнѣнія Декарта, какъ методического принципа, должно быть строго ограничено областью самой-же философиі; оно должно простираяться не на всѣ истины, какъ таковыя, но только въ той мѣрѣ и степени, въ какой онъ входятъ въ область философиі и становятся предметами философскаго изслѣдованія. Истины, признаваемыя религіозною вѣрою, и истины фактическія должны оставаться твердыми и несомнѣнными, не смотря на всѣ сомнѣнія, которая могутъ возникать въ философиі относительно силы раціонального доказательства ихъ или приложенія выводовъ изъ нихъ къ рѣшенію философскихъ вопросъ. Думать иначе—значить отвергать законныя права и самостоятельное значеніе знанія религіознаго и эмпирическаго, расширять границы философиі и приходить къ ложной и односторонней мысли, будто то только истинно существуетъ и составляетъ предметъ истиннаго и несомнѣннаго знанія, что можетъ быть философскимъ способомъ доказано или выведено изъ началъ философскихъ. Но не допуская этой мысли, признавая за религіознымъ и фактическимъ знаніемъ свои критеріи и свои способы удостовѣренія въ истинѣ, мы очевидно не можемъ допустить и приложенія того философскаго метода познанія истины путемъ предварительного сомнѣнія, какой предлагаетъ Декартъ.

Установленное нами различеніе истинъ религіозныхъ и фактическихъ и именно философскихъ важно для насъ потому, что даетъ возможность найти твердыя точки опоры для самаго философскаго скепсиса и дѣлаетъ его возможнымъ. То безграничное, даже временное сомнѣніе во всемъ, какого требуетъ Декартъ, есть явленіе психологически невозможное и неосуществимое. Совершенно невозможно произвести искусственно такую абсолютную пустоту въ нашемъ умѣ, чтобы мы до завершенія процесса нашего изслѣдованія ничего не знали, во всемъ сомнѣвались; при такомъ намѣреніи незнаніи и сомнѣніи во всемъ, самая практическая наша дѣятельность остановилась бы и стала невозможна. Но такой невозможной жертвы и не требуется отъ философа; въ его умѣ остаются неприкосновенными ни для какого скептицизма основные истины знанія, истины религіи и науки положительной; его сомнѣнія простираются только на философскія мнѣнія объ этихъ истинахъ и на состоятельность доказательствъ ихъ. При этихъ условіяхъ сомнѣніе становится дѣйствительнымъ изслѣдованиемъ или испытаніемъ истины и ему не угрожаетъ опасность превратиться въ положительный скептицизмъ или въ отрицаніе возможности какого-бы то ни было знанія. Но не въ однихъ религіозныхъ и фактическихъ истинахъ долженъ находить свое ограниченіе методическій скептицизмъ. Въ области самой философіи онъ долженъ пользоваться несомнѣнными правами съ умѣренностью и осмотрительностью, имѣя въ виду, что философскій скепсисъ, по коренному значенію этого слова, есть въ сущности разсмотрѣніе и изслѣдованіе, а не разрушеніе и отрицаніе. Философія не есть, какъ думаютъ нѣкоторые, ткань Пенелопы, въ которой сегодня разрушается то, что выткано вчера, и методъ философіи не въ томъ состоитъ, чтобы периодически разрушать все созданное философіею, чтобы затѣмъ воздвигать новые системы, которыя неизбѣжно должны подвергнуться той-же участіи подъ ударами скептицизма. Не смотря на различіе, даже противоположность философскихъ направлений, въ каждомъ изъ нихъ постепенно уяснялись и раскрывались по крайней мѣрѣ нѣкоторыя стороны истины; но такая естественная по ограниченности нашего ума односторонность не есть тоже, что ложность. Поэтому въ каждомъ, повидимому, самомъ односто-

роннемъ направлениі мы должны предположить существование какихъ-либо твердыхъ, выработанныхъ продолжительнымъ путемъ философскаго изслѣдованія, истинъ, которыя для самихъ философовъ, держащихся этого направлениія, должны представлять надежныя точки опоры для его дальнѣйшаго изслѣдованія. Правда, пересмотръ этихъ основныхъ истинъ, изслѣдованіе прочности этихъ опоръ, не только оправдывается, но и требуется идею философскаго знанія, какъ вполнѣ отчетливаго и сознательнаго. Но пересмотръ и изслѣдованіе не есть тоже, что мысленное отрицаніе и разрушение хотя-бы то и на время, въ надеждѣ замѣны ихъ лучшими и болѣе прочными. Поступающій такъ философъ былъ-бы похожъ на того человѣка, который для того чтобы внимательнѣе изслѣдовать, проченъ-ли домъ, въ которомъ онъ живетъ, разрушилъ-бы его до основанія, чтобы потомъ выстроить его снова изъ его-же обломковъ; но внимательный осмотръ зданія возможенъ и безъ разрушенія его. Противоположный пріемъ не только не оправдывается необходимостію, но въ рукахъ людей не довольно энергическихъ и лишенныхъ созиадательной силы (какъ у Декарта) грозитъ величайшою опасностью разрушить все зданіе философіи. Разрушать несравненно легче, чѣмъ созидать вновь, и мысль достаточно сильная для разрушенія, оказывается часто безсильною не только для созиданія новаго, но и для возстановленія разрушенаго. Отсюда, какъ показываетъ исторія философіи, является положительный скептицизмъ, который отъ методического отличается тѣмъ, что служитъ не отрицательнымъ только средствомъ къ установлению положительного міросозерцанія,— средствомъ, разчищающимъ для него почву, но окончательно щѣлью и результатомъ философскаго изслѣдованія: сомнѣніе въ возможности знать истину есть послѣднее и окончательное слово его.

Въ положительномъ скептицизмѣ различаютъ иногда двѣ формы: *абсолютный* и *относительный*, судя по тому, простирается-ли опь на всѣ наши познанія или только на нѣкоторую часть ихъ. Относительный скептицизмъ собственно не есть какое-либо опредѣленное философское направлениѣ, но составляетъ только ступень какой-либо положительной философской теоріи, косвенное доказательство въ ея пользу; сомнительность или недостовѣрность одной какой-либо части

человѣческаго познанія ведеть къ утвержденію большей достовѣрности другой, остающейся. Такого рода скептицизмъ можетъ быть религіозный, когда подвергается сомнѣнію достовѣрность человѣческаго разума и истина философскихъ ученій съ цѣллю утвердить ту мысль, что только въ истинной религіи человѣкъ находитъ успокоеніе отъ сомнѣній и твердая начала знанія и нравственности,—таковъ напр. скептицизмъ Монтаня, Санаеза, Шарона и др. Онъ можетъ быть эмпирическій, когда подвергается сомнѣнію достовѣрность знанія эмпирическаго, результатомъ чего можетъ быть ученіе о субъективности нашего познанія; таковъ былъ напр.,—скептицизмъ Юма; можетъ быть скептицизмъ идеалистической, когда подвергается критикѣ достовѣрность обыкновенныхъ разсудочныхъ пріемовъ мышленія, чтобы доказать необходимость какого-либо высшаго метода знанія,—такова напр. критика разсудочнаго познанія въ феноменологіи Гегеля. Если нѣкоторые изъ представителей относительного скептицизма причисляются къ скептикамъ, напр. Монтанъ, Юмъ, то это потому, что центръ тяжести ихъ философіи заключается именно въ отрицаніи и критикѣ достовѣрности известнаго рода познаній, а положительные выводы изъ этой критики были оставлены ими на второмъ планѣ или даже вовсе не были сдѣланы. Такъ напр. результаты эмпирическаго скептицизма Юма высказались уже въ „Критикѣ чистаго разума“ Канта.

Абсолютный скептицизмъ отъ относительного отличается тѣмъ, что останавливается на одномъ отрицаніи достовѣрности знанія вообще и не ведетъ ни къ какому положительному міросозерцанію; онъ решительно отрицаєтъ даже возможность подобнаго міросозерцанія. Такого рода скептицизмъ не есть субъективное начало и движущій нервъ философскаго познанія; онъ является напротивъ какъ результатъ утомленія мысли, какъ нѣкотораго рода отчаяніе въ возможности достигнуть истины, при видѣ разногласій и противорѣчій философствующаго ума; онъ предполагаетъ за собою различные системы и направления мысли и ихъ взаимную борьбу. Такъ напр. первое обнаружение положительнаго скептицизма въ софистикѣ было вызвано непримиримыми противорѣчіями, въ которыхъ разрѣшалась архаическая философія, среди взаимныхъ споровъ Елеатовъ, Іонійцевъ, Пиѳагорейцевъ и атомистовъ. Софистами были

ясно и опредѣленно выставлены главныя положенія абсолютаго скептицизма, которыя въ послѣдствіи только развивались позднѣйшими скептиками: Пиррономъ, Тимономъ, а затѣмъ Аркезилаемъ, Енезидемомъ, Секстомъ Эмпирикомъ и другими, появление которыхъ было вызвано саморазложеніемъ древней философіи. Извѣстно положеніе софиста Горгія, которос онъ раскрывалъ діалектически въ своемъ сочиненіи „О не сущемъ, или о природѣ“: ничего не существуетъ: ни бытія, ни небытія; а если что либо существуетъ, то ничего не можетъ быть познано; если-же что и можетъ быть познано, то познаніе о томъ не можетъ быть сообщено другимъ. Тогда какъ Горгій ограничился однимъ отрицаніемъ знанія, Протагоръ высказалъ положительную формулу скептицизма: что кому кажется истиннымъ, то и истина для него; все поэтому есть вмѣстѣ и истинно и ложно, т. е. все человѣческое знаніе есть только субъективное мнѣніе: объективной истины нѣтъ, „человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей“. Но такъ какъ и этою формулой все-таки высказывалось нѣкоторое положительное мнѣніе о сущности такъ называемаго познанія, то послѣдующіе скептики абсолютный характеръ своего скептицизма любили выражать (Енезидемъ) слѣдующимъ положеніемъ: „я ничего не знаю; не знаю даже и того, что ничего не знаю“.

Мы не станемъ входить здѣсь въ критическій разборъ и оцѣнку возраженій скептиковъ противъ достовѣрности нашего познанія, такъ какъ они предполагаютъ подробный специальній анализъ каждого изъ тѣхъ видовъ познанія, на которые падаютъ эти возраженія,—анализъ, мѣсто котораго въ дальнѣйшихъ метафизическихъ изслѣдованіяхъ о степени достовѣрности познанія эмпирического, рационального и идеальнаго \*).

---

\*) Всѣ скептическія возраженія противъ положительного знанія соединены Енезидемомъ въ десять, такъ называемыхъ имъ, *троповъ* (*τρόποι*). Невозможность объективнаго знанія доказывается имъ: 1) тѣмъ фактомъ, что тѣ же самые предметы производятъ различная впечатлѣнія на различные живыя существа. 2) Въ особенности-же люди повсюду различны между собою въ тѣлесномъ и духовномъ отношеніи, поэтому ихъ представлениія и сужденія о вещахъ не могутъ выражать никакой всеобще-обязательной истины. 3) Различные чувства даютъ намъ различныя, даже противоположныя показанія о вещахъ; одно и то-же чувство (напр. зрѣніе) часто представляетъ намъ предметы очень различно и мы не знаемъ, даютъ-ли намъ чувства, которыя мы имѣемъ, вѣрныя и полныя познанія о вещахъ. 4) Наши различныя физиче-

Здѣсь-же, при обсужденіи принциповъ философи, для насъ важнѣе только окончательный результатъ скептицизма, его положеніе обѣ абсолютной сомнительности или невозможности знанія истины. Но достаточно небольшаго логическаго анализа этого принципа, чтобы видѣть всю его несостоятельность.

Человѣкъ не можетъ знать истины, говоритъ скептикъ. Но самое это положеніе, очевидно, можетъ быть только или достовѣрнымъ или недостовѣрнымъ; если оно достовѣрно, то человѣкъ можетъ знать хотя одну достовѣрную истину; если сомнительно, то сомнителенъ и несостоятеленъ самыи скепти-

---

скія и духовныя состоянія, настроенія и пр. дѣйствуютъ рѣшительнымъ образомъ на наши возврѣнія и сужденія о вещахъ, такъ что мы никогда не знаемъ, бываемъ-ли мы и когда въ такомъ состояніи, въ которомъ можемъ правильно воспринимать предметы. 5) Нравы, обычаи, законы, религіозныя вѣрованія, ученія различныхъ людей и народовъ до такой степени различны что мы никакъ не можемъ рѣшить, что истинно и справедливо. 6) Мы воспринимаемъ всѣ предметы чрезъ какую-либо среду, напр. воздухъ, свѣтъ, окраску, вліяніе которой измѣняетъ наши представленія и дѣлаетъ ихъ неточными. 7) Различная отдаленность предметовъ, ихъ различная положенія, ихъ связи съ другими предметами дѣлаютъ то, что тѣ-же самые предметы въ различное время кажутся столь различными по ихъ виду, величинѣ, окраскѣ, что мы никогда не можемъ быть увѣрены, каковы они суть сами по себѣ. 8) Свойства предметовъ условливаются и измѣняются вслѣдствіе увеличенія или уменьшенія ихъ объема, разности въ температурѣ, въ быстротѣ движенія и т. п., такъ что мы никогда не можемъ съ увѣренностью приписать тому или другому предмету то или иное свойство. 9) Впечатлѣнія отъ вещей очень различны, судя по тому, стары-ли они или новы, привычны или непривычны. 10) Свойства вещей, если-бы мы даже ихъ знали, составляютъ только отношенія одной вещи къ другой, познаніе которыхъ не можетъ дать намъ понятія о сущности вещи; при томъ-же эти отношенія ежеминутно могутъ измѣняться, представляютъ собою нѣчто случайное въ вещахъ (напр. вверху, внизу, направо, налево, тяжело, легко, велико, мало и пр.); поэтому они говорять намъ только о сравнительныхъ или относительныхъ, а не о дѣйствительныхъ свойствахъ вещей.—Выставленныя древними скептиками возраженія въ той или другой формѣ часто повторяются и въ новое время, какъ возраженія противъ достовѣрности того или иного вида познанія; древнимъ принадлежитъ только окончательный выводъ о недостовѣрности *всего* нашего познанія. Но не трудно замѣтить: а) что почти всѣ эти возраженія главнымъ образомъ касаются недостовѣрности только эмпирическаго познанія или общаго мнѣнія (тропъ 5-й), но не опровергаютъ возможности знанія рациональнаго; б) что въ сущности они ведутъ только къ мысли обѣ ограниченноти, относительности и условности человѣческаго познанія, но не къ мысли обѣ абсолютной невозможности какого-бы то ни было знанія,

цизмъ. Тоже дилемма имѣетъ мѣсто и по отношенію къ доказательствамъ, которыми скептикъ подтверждаетъ свою мысль. Они достовѣрны или недостовѣрны; въ обоихъ случаяхъ скептицизмъ впадаетъ въ противорѣчіе себѣ: если достовѣрны, значитъ есть достовѣрное знаніе; если недостовѣрны — падаетъ вся скептическая философія, какъ основанная на сомнительныхъ и нетвердыхъ аргументахъ.

Дѣйствительно, для оцѣнки абсолютного скептицизма для насъ важнѣе всего то, что отвергая въ принципѣ возможность знанія, онъ въ тоже время, въ противорѣчіе себѣ, не только допускаетъ возможность знанія истины, но и признаетъ даже идею истиннаго, совершеннаго знанія. Онъ допускаетъ знаніе истины, ибо противополагая свое сомнѣніе мнѣніямъ или утвержденіямъ другихъ, онъ очевидно приписываетъ ему *истину*, а другимъ мнѣніямъ *ложность*. Онъ, сомнѣвается, очевидно, потому, что сомнѣніе считается болѣе справедливымъ или болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ приписываемое себѣ другими знаніе, следовательно, онъ считаетъ истиннымъ и дѣйствительнымъ *своё* мнѣніе объ истинѣ,—словомъ, отрицая возможность знать истину, онъ въ тоже время иѣчто считаетъ истиннымъ, именно—свое сомнѣніе касательно истины чужихъ мнѣній. Но этого мало: фактически допуская истину, скептикъ необходимо въ тоже время долженъ допустить и самую идею истины, какъ положительный и несомнѣнныи философскій принципъ, въ силу которого получаетъ возможность существованія и самый его скептицизмъ. Когда скептикъ подвергаетъ сомнѣнію существующія мнѣнія, то онъ, конечно, дѣлаетъ это не безъ какихъ-либо разумныхъ оснований; иначе всѣ его возраженія не могли бы имѣть никакого смысла ни для другихъ, ни для него самого. Когда онъ сомнѣвается въ извѣстныхъ положеніяхъ потому, что они кажутся ему неоснованными на носомнѣнныхъ доказательствахъ, то этимъ самымъ онъ уже признаетъ, что они могли бы быть истинными, еслибы были твердо доказаны. Когда онъ основываетъ свои сомнѣнія патомъ, что извѣстныя мнѣнія противорѣчатъ себѣ или ведутъ къ противорѣчію выводамъ, то онъ уже признаетъ, что они могли бы быть достовѣрными и носить характеръ знанія, еслибы они были освобождены отъ противорѣчій. Итакъ, въ неоспоримо доказанномъ, въ свободномъ отъ противорѣчій

скептикъ видить признакъ знанія. Разумное основаніе его сомнѣній можетъ состоять только въ томъ, что существующія мнѣнія не удовлетворяютъ *его* понятій объ истинѣ и о достовѣрности мнѣнія; онъ долженъ замѣтить въ нихъ недостатки, которые не позволяютъ ему признать ихъ за истину. Слѣдовательно, онъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы не различать истиннаго и ложнаго въ каждой подвергающейся его изслѣдованию мысли, а дѣлая такое различеніе онъ, очевидно, долженъ предположить, что есть истина, есть истинное знаніе и признаки его, которыхъ данное, частное знаніе не имѣть. Отсюда видно, что самыемъ сомнѣніемъ своимъ скептикъ показываетъ, что онъ *знаетъ*, въ чёмъ должно состоять истинное знаніе, *что* заслуживаетъ его имени и *что* нѣтъ. Идея знанія предносится его уму, какъ нѣчто твердое и несомнѣнное, какъ мѣрка для оцѣнки всякаго рода познаній и мыслей, данныхыхъ въ извѣстное время и подвергающихся его критикѣ.

Изъ сказаннаго нами выясняется и дѣйствительная причина происхожденія абсолютнаго скептицизма и его дѣйствительное значеніе въ области философіи. Независимо отъ случайныхъ и историческихъ условій, которыя вызывали появленіе скептицизма въ ту или другую эпоху философіи, коренная, внутренняя причина его могла заключаться только въ наблюденіи надъ дѣйствительнымъ несоответствиемъ нашего познанія съ безотчетно принимаемою нормою или идеаломъ знанія: предъ этою нормою все наше познаніе на самомъ дѣлѣ оказывается болѣе или менѣе неудовлетворительнымъ, и въ этомъ фактѣ заключается нѣкоторое оправданіе скептицизма. Но отсюда-же можно видѣть и всю его односторонность и несостоятельность; ибо изъ несоответствія идеалу логически и послѣдовательно можно выводить только мысль объ ограниченности и несовершенствѣ нашего познанія, но не о его невозможности или абсолютной недостовѣрности. Ограниченнное знаніе не есть тоже, что знаніе ложное; невозможность знанія абсолютнаго не есть невозможность знанія относительнаго.

Такимъ образомъ, не опровергая возможности знанія, абсолютный скептицизмъ при всѣхъ своихъ усиліяхъ можетъ привести только къ мысли объ ограниченности человѣческаго по-

зпанія. Усиленно разъясняя для нашего сознанія эту ограниченность, онъ можетъ быть опаснымъ оружиемъ только противъ тѣхъ философскихъ системъ, которая утверждаютъ абсолютность философскаго вѣданія. Съ другой стороны, изощряя всю силу философскаго анализа, чтобы указать пробѣлы и недостатки въ знаніи, онъ указываетъ на необходимость для философіи внимательно пересмотрѣть и разъяснить основныя положенія знанія и въ этомъ отношеніи служить къ устраненію такъ называемаго философскаго догматизма, который въ основу философіи полагаетъ извѣстныи истины и положенія, не заботясь о достаточномъ ихъ обоснованії.

Что касается до положительного значенія абсолютнаго скептицизма, какъ философскаго принципа, то само собою понятно, по самому характеру своему, онъ не можетъ быть такимъ принципомъ, да не изъявляетъ на то и притязанія. Скептикъ ничего не знаетъ, во всемъ сомнѣвается, слѣдовательно, отрицастъ всякую возможность построенія философской системы на основаніи какъ своего, такъ и всякаго другаго принципа. Но такъ какъ такое состояніе мышленія противорѣчитъ естественной и неискоренимой потребности философскаго знанія, то не удивительно, что не только въ теоріи, но и въ практическомъ примѣненіи скептикъ противорѣчитъ себѣ и не выдерживаетъ своего принципа. Такъ, въ древней философіи, скептицизмъ отвергая возможность теоретического знанія, пытается однако же на основаніи своего принципа создать извѣстнаго рода практическую философію, которая должна быть положительнымъ результатомъ его теоретическихъ изслѣдований. При полной невозможности знанія истины отношеніе философа къ вещамъ можетъ состоять только въ совершенномъ удержаніи нашей мысли отъ какого-бы то ни было сужденія о нихъ (*εποχὴ, ἀφασία*). Такое удержаніе сужденія доставляетъ намъ истинное счастіе, потому что за нимъ, какъ тѣнь, слѣдуетъ не поколебимость чувства, безстрастіе (*ἀταραξία, ἀπάθεια*). Кто принялъ скептический образъ мыслей и отказался отъ всякаго собственнаго мнѣнія, тотъ живеть въ покоѣ, безъ страстей и желаній, безъ заботъ, въполномъ равнодушіи ко всѣмъ внѣшнимъ благамъ и ко внѣшнему злу, и въ этой апатіи состоить истинное счастіе. Нѣть нужды говорить, что, проповѣдуя абсолютное сомнѣніе въ теоретической философіи, скептицизмъ со-

вершенно неожиданно разрѣшаются въ догматизмъ въ философіи практической, въ своемъ ученіи о счастіи, какъ состояніи полного безстрастія и въ опредѣленіи условій его достиженія. Но если всякое знаніе сомнительно, то какое право мы имѣемъ считать несомнѣннымъ ученіе скептиковъ о счастіи и о средствахъ достиженія его? Послѣдовательно проведенный скептицизмъ долженъ привести не только къ отрицанію возможности знанія, но и дѣятельности,—отрицанію, совершенно неестественному и невозможному, поэтому, для живаго, дѣйствительнаго человѣка \*). Въ этомъ противорѣчіи себѣ и неосуществимости абсолютнаго скептицизма какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ, и заключается главная причина, что въ новой философіи онъ не выступаетъ уже въ столь рѣшительной формѣ, какъ въ древности, и является большею частію въ видѣ скептицизма относительнаго, который скоро переходитъ въ прямое отрицаніе какой-либо стороны человѣческаго познанія,—таково напр. отрицаніе знанія философскаго въ позитивизмѣ.

3. Поставивши вопросъ объ основныхъ истинахъ философскаго познанія, мы обратили вниманіе на два противоположные направленія философской мысли въ рѣшеніи его: одно изъ нихъ, признавая необходимость для философіи такого рода истинъ, искало ихъ не въ самой философіи, но въ непосредственномъ сознаніи; другое отрицало самое существованіе какихъ-либо несомнѣнныхъ истинъ. Критическій анализъ того и другаго направленія показалъ ихъ несостоятельность и вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ намъ путь, какимъ мы должны идти въ отысканіи основныхъ истинъ философскаго познанія. Если, какъ мы видѣли, ни излишняя довѣрчивость, ни излишнее недовѣріе одинаково неумѣсты въ философіи, если ни простое принятие на вѣру извѣстныхъ истинъ, ни отрицаніе возможности найти ихъ одинаково не удовлетворяютъ идеи философскаго

---

\*) Это замѣтили уже сами позднѣйшіе скептики. Такъ напр. Секстъ Емпірикъ соглашается, что скептический принципъ чистаго безразличія и апатіи не осуществимъ на практикѣ; поэтому и скептикъ въ своей жизни и дѣятельности долженъ слѣдовать принятымъ нравамъ и обычаямъ; такъ какъ, далѣе, никакой скептицизмъ не можетъ освободить насть отъ пріятныхъ или непріятныхъ ощущеній, получаемыхъ нами отъ тѣхъ или иныхъ предметовъ или состояній душевныхъ, то въ отношеніи къ вещамъ возможно не безстрастіе (*апатѣїа*), но только умѣренно-страстіе (*метропатѣїа*), т. е. возможное ограниченіе желаній, въ чёмъ и состоить истинное счастіе.

знанія, то остается одно—обратиться къ самому разуму и поискать, нѣтъ-ли въ немъ такихъ несомнѣнныхъ истинъ и положеній, которыя могли-бы служить основаніемъ для философіи и точкою опоры для дальнѣйшихъ ея изслѣдованій. Они должны быть найдены въ самомъ разумѣ, потому что, какъ мы видѣли, всякаго рода начала, основанныя на непосредственной увѣренности, будутъ началами анти-философскими; таковы, напримѣръ, начала общаго смысла и вѣры. Они необходимо должны быть найдены, должны существовать въ разумѣ, потому что иначе, если мы въ немъ не будемъ имѣть ничего несомнѣнного, то результатомъ будетъ абсолютный скептицизмъ, столь-же анти-философскій, какъ и непосредственное довѣріе большинству или личному субъективному чувству.

Но можемъ-ли мы и какимъ образомъ найти что-либо дѣйствительно несомнѣнное? Повидимому, ища несомнѣнного, мы предлагаемъ себѣ неразрѣшимую задачу. Исторія мышленія показываетъ, что нѣтъ ни одной истины, которая кѣмъ-нибудь и когда-нибудь не подвергалась сомнѣнію, полнѣйшимъ-же выражениемъ этого сомнѣнія служитъ абсолютный скептицизмъ. Поэтому, если мы назовемъ что-либо несомнѣннымъ, то это во всякомъ случаѣ будетъ несомнѣннымъ только для насъ и для единомысленныхъ съ нами. Истино-же несомнѣннымъ можетъ быть только то, въ чёмъ никто никогда не сомнѣвался и не можетъ сомнѣваться.

Итакъ, чтобы найти дѣйствительно несомнѣнное, мы должны попытаться открыть такія положенія, въ которыхъ на самомъ дѣлѣ, безъ противорѣчія себѣ, не можетъ усомниться никто, даже самый рѣшительный скептикъ, не смотря на свое увѣреніе, что онъ сомнѣвается во всемъ,—предполагаемое сомнѣніе въ которыхъ есть только мнимое и основанное на недоразумѣніи. Если такого рода положенія найдутся, если они выдержать напоръ самого усиленного скептицизма, то существование въ нашемъ разумѣ несомнѣнныхъ истинъ будетъ обеспечено.

Для этой цѣли подвергнемъ анализу формулу самого рѣшительного скептицизма: я сомнѣваюсь во всемъ. Не входя пока въ разсмотрѣніе каждого изъ понятій, входящихъ въ составъ этой формулы, постараемся отвлечься отъ разнообразія этихъ понятій самое общее, содержащееся въ нихъ, понятіе. Самое

общее между ними останется, очевидно, лишь то, что все они существуютъ, имѣютъ *бытие*; съ этимъ, конечно, согласится и скептикъ; ибо говоря: я сомнѣваюсь, онъ утверждаетъ уже тѣмъ самимъ бытіе чеголибо. Итакъ, признаніе существованія или бытія чеголибо есть самая общая, самая несомнѣнная истина, доказываемая *бытиемъ* самого сомнѣнія. Можетъ быть подвергнуто сомнѣнію бытіе какихълибо отдѣльныхъ предметовъ, можетъ быть даже подвергнуто сомнѣнію существованіе всего реально-сущаго, но и тогда не исчезнетъ самое понятіе бытія, ибо подвергая *что-либо* сомнѣнію, мы очевидно имѣемъ въ нашей мысли представлѣніе о томъ, что подвергаемъ сомнѣнію или отрицаємъ. Итакъ, и самое подвергаемое сомнѣнію и отрицающее должно существовать въ нашей мысли, имѣть по крайней мѣрѣ мысленное *бытие*; мы можемъ отрицать только объективное существованіе чеголибо въ нашей мысли, но не *бытие* его въ нашей мысли. Слѣдовательно, если и неѣть предметовъ существующихъ, во всякомъ случаѣ есть наши мысли о нихъ, есть что-либо имѣющее бытіе. Поэтому, еслибы даже мы замѣнили представлѣнную нами формулу скептицизма еще болѣе рѣшительною, тою напримѣръ, которую выставилъ софистъ Гордій: *ничего не существуетъ*, то и въ такомъ случаѣ нисколько не отдѣлялисьбы отъ понятія бытія чеголибо; ибо, чтобы отрицать все существующее, нужно имѣть понятіе или представлѣніе о существующемъ; иначе нечего былобы и отрицать. Абсолютное отрицаніе бытія вообще также невозможно безъ предположенія мысленного бытія, какъ невозможно отрицаніе существованія какоголибо частнаго предмета безъ представлѣнія его въ нашей мысли; когда мы говоримъ: неѣть или не было такого-то предмета, то этимъ самимъ предполагаемъ уже представлѣніе этого предмета, бытіе его въ нашей мысли, какъ неѣчто положительное.

Отсюда видно, что истина существованія чеголибо есть самая всеобщая, первоначальная и несомнѣнная истина, которую можно выразить въ формулѣ: *есть нечто или нечто существуетъ*. Но очевидно и то, что это самая неопределѣленная и самая скучная по содержанію формула; не смотря на свою несомнѣнность, она не можетъ служить принципомъ философіи. Съ одной стороны, изъ чистаго понятія бытія мы не можемъ вывести никакихъ понятій объ опредѣленныхъ фор-

махъ или видахъ бытія. Чистое бытіе, какъ справедливо замѣтилъ Гегель, въ сущности равняется понятію чистаго ничто, такъ какъ въ немъ нѣтъ никакой опредѣленности, никакого конкретнаго содержанія \*). Съ другой стороны, понятіе бытія самаго по себѣ не даетъ никакого понятія объ истинѣ или не истинѣ чего-либо, изслѣдованіе о чёмъ составляетъ задачу философіи, какъ и всякой науки; ибо какъ истинное, такъ и ложное одинаково существуетъ въ нашемъ умѣ; различія ихъ мы не опредѣлимъ на основаніи простаго факта существованія.

Итакъ, искомымъ нами принципомъ философіи должно быть не простое и безсодержательное понятіе бытія чего-либо, но понятіе какого-либо опредѣленнаго бытія, признаніе котораго, будучи столь-же несомнѣннымъ, какъ представлениe бытія вообще, дало-бы намъ твердую опору и реальное содержаніе для дальнѣйшихъ философскихъ изслѣдований. Чтобы найти такое понятіе, обратимся снова къ выставленной нами формулы абсолютнаго скептицизма и посмотримъ, нѣтъ-ли въ ней, кромѣ признанія бытія чего-либо, утвержденія еще другихъ какихъ-либо положеній и истинъ, которыя были-бы столь-же недоступны ни для какого скептицизма, какъ и общее поняніе бытія.

Анализируя эту формулу, прежде всего мы видимъ, что самый рѣшительный скептикъ, говоря: *я сомнѣваюсь во всемъ*, утверждаетъ бытіе не просто чего-либо, но собственнаго существованія. Истина собственнаго существованія дѣйствительно есть истина всеобщая, необходимая и не подлежащая сомнѣ-

---

\*) Не смотря на то, Гегель, какъ известно, выводить изъ этого понятія, при помоши своего діалектическаго метода, всю совокупность категорическихъ опредѣлений сущаго. Но критика его діалектическаго выведенія категорій изъ понятія бытія требуетъ специального изслѣдованія, мѣсто которому въ метафизическомъ учении о категоріяхъ; въ настоящемъ случаѣ она была-бы преждевременною. Здѣсь достаточно замѣтить, что внимательная критика такъ называемой логики Гегеля, въ которой содержится его выведеніе категорическихъ понятій и идей изъ понятія чистаго бытія, несомнѣнно показала, что это выведеніе есть мнимое, а не дѣйствительное, что оно предполагаетъ многія понятія, отчасти предшествующія діалектическому выведенію ихъ у Гегеля, отчасти его сопровождающія, отчасти заимствованныя изъ опыта. Разборъ діалектики Гегеля см. у Тренделенбурга, въ его Log. Untersuchungen. B. 1. 1840. p. 23 - 100.

нію; какъ таковая, эта истина ни откуда не можетъ быть выведена, ничѣмъ не можетъ быть ни доказана, ни опровергнута. Она ничѣмъ не можетъ быть опровергнута, такъ какъ мы знаемъ, что самый рѣшительный скептикъ, для самаго существованія своего сомнѣнія, долженъ предположить ее, какъ нѣчто несомнѣнное; онъ увѣренъ, что его сомнѣніе принадлежитъ именно ему, а не кому другому. Она не можетъ быть ни откуда выведена; потому что заключалась-бы уже въ томъ самомъ понятіи, изъ котораго мы думали-бы ее выводить и въ томъ доказательствѣ, которымъ-бы думали ее доказывать. Выводъ и доказательство предполагали-бы впереди себя кого-либо выводящаго и доказывающаго, а такимъ оказался-бы тотъ же самый *я*, который доказываетъ свое существованіе. Поэтому, когда Декартъ выводить существованіе нашего *я* изъ попытія мышленія и какъ-бы доказываетъ имъ первое въ своей знаменитой формулѣ: *cogito, ergo sum*, поставляемой во главу философіи, то онъ безъ нужды повторяетъ только въ мнимомъ заключеніи то, что содержится уже въ посылкѣ. *Cogito* есть тоже, что *sum cogitans*; отбросивъ это опредѣляющес: *cogitans*, мы получимъ тожественную формулу: *sum, ergo sum*. Такимъ образомъ достаточно привести умозаключеніе Декарта въ простѣйший видъ, чтобы убѣдиться, что понятіе собственного существованія вовсе не выводится изъ какого-либо другаго, болѣе достовѣрнаго понятія, а есть простой, первопачальный и несомнѣнныи фактъ самосознанія. Что этотъ фактъ не выводится изъ понятія именно *мышленія*, видно и изъ того, что мы съ одинаковымъ правомъ можемъ сказать: чувствую, слѣдовательно существую, желаю, двигаюсь, надѣюсь, плачу и прочее, *ergo sum*\*). Во всѣхъ этихъ случаяхъ

\*) Съ этимъ принужденъ былъ согласиться и Декартъ въ виду возраженій своихъ противниковъ. Для оправданія-же и удержанія своей формулы онъ разъяснилъ, что понятіе мышленія онъ понимаетъ не въ обычномъ, узкомъ, но въ самомъ широкомъ смыслѣ, разумѣя подъ нимъ всю совокупность психическихъ сознательныхъ состояній. Я мыслю, т. е. я есмь *res cogitans*, *id est mens, sive animus, sive intellectus, sive ratio. Res cogitans est res dubitans, intelligens, negans, volens, nolens, imaginans quoque et sentiens*. Даже на чувственныхъ ощущенія онъ смотрѣть какъ на *cogitandi modos*. (Ueberweg, Gesch. d. Phil. III, 51). Но, повидимому, въ такомъ расширеніи понятія мышленія для Декарта не было нужды. Если вспомнимъ, что критеріемъ истины и свидѣтельствомъ достовѣрности понятій у него служатъ ясность и раздѣльность,

вовсе не заключеніе выводится о бытіи нашего *я* изъ опредѣленныхъ и частныхъ его обнаруженій, но непосредственно утверждается простой фактъ самосознанія; приложеніе той или другой особенности или опредѣленности его здѣсь не имѣть доказательного значенія. Въ абстракціи можно представить себѣ состояніе нашего сознающаго себя *я* безъ всякихъ опредѣленностей, представить себя не думающимъ, не чувствующимъ, не желающимъ, но просто сознающимъ свое существованіе и утверждающимъ свое бытіе; между тѣмъ нельзя абстрактно представить чувствованія, мысли, желанія, не принадлежащихъ никому и ничему. Это ясно показываетъ, что истина собственнаго существованія есть первоначальная, коренная и не выводимая ни изъ какихъ другихъ фактovъ или положеній истина.

Далѣе, въ скептической формулѣ: *я сомнѣваюсь*, кроме признанія бытія нашего *я*, заключается признаніе, какъ несомнѣнной истины, собственнаго *сомнѣнія*. Что заключается въ этомъ признаніи? Прежде всего, конечно, признаніе реальности опредѣленного психического состоянія нашего *я*,—сомнѣнія или что тоже,—мышленія, ибо сомнѣніе есть извѣстная форма или состояніе нашего мышленія; самый рѣшительный скептикъ не станетъ отвергать того, что, сомнѣваясь, онъ мыслить. Но утверждая одно извѣстное состояніе нашего *я*, онъ, конечно, не можетъ отвергнуть и другихъ состояній, такъ какъ о нихъ онъ по крайней мѣрѣ мыслить или сомнѣвается. Дѣйствительно, ни одинъ скептикъ не станетъ сомнѣваться въ томъ, что онъ видѣть, слышитъ, чувствуетъ, желаетъ. Его сомнѣнія могутъ простираяться только на то, дѣйствительно-ли, напримѣръ, его ощущеніямъ и представлениямъ о вещахъ соотвѣтствуютъ реальнаяя вещи, его понятіямъ и мнѣніямъ о нихъ—истина бытія; но существованіе своихъ представлений, мыслей, психическихъ состояній, какъ субъективныхъ состояній资料 ofего *я*, онъ оспаривать не станетъ. Отсюда видно, что мы должны несомнѣнно признавать не только

---

то естественно и законно, что выводить понятіе бытія нашего *я* (если такой выводъ признать возможнымъ) должно было именно изъ понятія о мышленіи, а не изъ какого-либо другаго состоянія нашей души; ибо несомнѣнно, что съ наибольшею ясностю и разлѣльностю самосознанія нашъ духъ выступаетъ именно въ состояніи мышленія.

истину существованія нашего *я*, но также бытіе всѣхъ психическихъ феноменовъ, подпадающихъ сознанію нашего *я*, — существованіе того, что мы называемъ субъективнымъ міромъ. Дѣйствительно, съ признаніемъ нашего *я*, необходимо и неразрывно соединяется признаніе существованія всѣхъ тѣхъ состояній, въ которыхъ выражаетъ себя наше *я*. Наше *я* въ дѣйствительной жизни никогда не является отрѣшеннымъ отъ какихъ-либо опредѣленныхъ, психическихъ состояній его: они съ нимъ необходимо и неразрывно связаны; поѣтому, сознавая и признавая свое существованіе, мы вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо признаемъ и существованіе всѣхъ сознаваемыхъ обнаруженій нашего *я*. Говоря: я чувствую, думаю, желаю, я съ одинаковою силою увѣренности утверждаю какъ первый, такъ и второй терминъ, одинаково сознаю и признаю и свое чувство, мысль, желаніе, — и то, что именно *я* чувствую, думаю, желаю.

Но признаніемъ самодостовѣрности бытія нашего *я* и его субъективныхъ состояній не ограничивается кругъ первоначальныхъ и несомнѣнныхъ для самаго скептика истинъ. Въ самомъ дѣлѣ, самый рѣшительный скептикъ не можетъ отрицать и не отрицаєтъ, что онъ подвергаетъ сомнѣнію, осправляетъ, отрицаетъ истину *чужихъ мнѣній* о различныхъ предметахъ знанія и что эти мнѣнія *не его*, потому что его собственное мнѣніе есть именно утвержденіе сомнительности или не истинны этихъ мнѣній. Точно также утверждая, что наши понятія о вещахъ, наши чувственныя представленія о нихъ неистинны, потому что не соотвѣтствуютъ дѣйствительному бытію вещей, скептикъ тѣмъ самъ опять показываетъ, что признаетъ дѣйствительность чего-то виѣ его находящагося, отъ чего отличаетъ различные мнѣнія, свои и чужія, будто-бы не соотвѣтствующія дѣйствительности. Отсюда очевидно, что абсолютный скептицизмъ для самой возможности своего сомнѣнія необходимо предполагаетъ несомнѣнное существованіе не только бытія своего *я*, но и бытія *не я*, отличнаго отъ него, въ формѣ: 1) мнѣній и убѣжденій, принадлежащихъ не ему, а другимъ, реально-существующимъ лицамъ; 2) предметовъ, отличныхъ отъ субъективныхъ представлений ихъ въ нашемъ духѣ, которыя, по его мнѣнію, не соотвѣтствуютъ имъ. Дѣйствительно, самаго простаго самонаблюденія

достаточно, чтобы видѣть, что наше сознаніе съ тою-же необходимостію и несомнѣнностію, съ какою утверждаетъ бытіе собственного *я* и его состояній, утверждаетъ и бытіе *не я*, или предметовъ, внѣ меня находящихся. Самое признаніе извѣстного психического состоянія, извѣстныхъ мыслей, чувствованій, представленій *моими* уже предполагаетъ представленіе о *не моемъ*, чужомъ, иномъ бытіи; иначе, я не имѣль-бы понятія о моемъ, о самомъ нашемъ *я*.

Наконецъ, разматривая абсолютный скептицизмъ, мы нашли въ немъ, кромѣ признанія бытія *я* и *не я*, еще одно положеніе или признаніе, которое, не смотря на его увѣреніе въ абсолютности своего сомнѣнія, и для него на дѣлѣ оказалось несомнѣннымъ, — такимъ, безъ чего и самъ онъ существовать-бы не могъ. Это — признаніе идеи истиннаго знанія и бытія, безотчетно сравнивая съ которою всѣ существующія познанія и вещи, онъ считаетъ ихъ сомнительными или не истинно существующими. Дѣйствительно, безъ такого признанія не возможенъ-бы быть и самый скептицизмъ, точно также какъ и всякая другая, хотя-бы то самая односторонняя критика человѣческаго познанія. Чтобы имѣть право быть скептикомъ, или говорить о недостаточности и ограниченности познанія, нужно имѣть представленіе или предположеніе какого-то совершенного и идеального знанія, съ которымъ каждое данное знаніе не сходится, такъ какъ въ каждомъ есть нечто несовершенное, т. е. сомнительное. Точно также, чтобы говорить о сомнительности какой-либо стороны бытія или вообще о его ограниченности и несовершенствахъ, нужно имѣть представленіе или идею бытія совершеннаго и свободного отъ недостатковъ. Что предположеніе такого бытія также существуетъ въ уму самого абсолютнаго скептика, какъ и предположеніе свободного отъ недостатковъ знанія или истины, видно уже изъ самаго характера критики, направленной, напримѣръ, къ отрицанію реальнаго существованія и истины извѣстныхъ предметовъ, напримѣръ, внѣшняго міра, даже нашего собственнаго *я*, какъ начала самостоятельнаго. Въ чёмъ состоить эта критика? Очевидно, въ доказательствѣ того, что эти, подвергаемые сомнѣнію въ ихъ самостоятельномъ бытіи, предметы по своей натурѣ не удовлетворяютъ признакамъ истиннаго бытія, которое должно быть постояннымъ,

неизмѣннымъ, самобытнымъ въ смыслѣ невыводимости ихъ изъ какого-либо другаго бытія, какъ его феноменъ или преходящій моментъ въ его развитіи и пр. Значитъ, идея истиннаго или идеального бытія, болѣе совершенного и реальнаго, чѣмъ наличная дѣйствительность, составляеть для самаго строгаго скептика необходимое предположеніе и оправданіе его скептицизма.

Отсюда видно, что, кромѣ предположенія бытія собственнаго *я* и *не я*, самый рѣшительный скептикъ не можетъ, не опасаясь противорѣчія себѣ и уничтоженія собственнаго скептицизма, обойтись безъ предположенія *знанія* болѣе совершеннаго, чѣмъ его ограниченное и потому сомнительное для него знаніе, и *бытія* болѣе совершеннаго, чѣмъ каждое данное условное и ограниченное и потому могущее быть подвергнутымъ сомнѣнію въ своемъ истинномъ существованіи бытіе. Такое знаніе и бытіе, какъ свободное отъ недостатковъ всякаго даннаго бытія и всякаго знанія человѣческаго, есть абсолютное или идеальное знаніе и бытіе,—нѣчто такое, что несомнѣнно должно быть (ибо если его нѣтъ, то мы не могли-бы имѣть и никакого понятія объ ограниченности налаго знанія и бытія), но что вмѣстѣ съ тѣмъ и не есть наше *я* или, противополагаемое имъ себѣ, ограниченное *не я*. Но абсолютное знаніе и бытіе не составляютъ въ сущности двухъ какихъ-либо различныхъ и отдѣльныхъ моментовъ или предположеній нашего знанія. Съ одной стороны, абсолютное знаніе должно быть чѣмъ-либо знаніемъ, принадлежать кому-нибудь; съ другой—абсолютно совершенное или идеальное бытіе должно быть мыслимо съ предикатомъ знанія, и при томъ, абсолютнаго знанія; иначе, оно не было-бы бытіемъ абсолютно-совершеннымъ. Итакъ идея абсолютнаго, совершеннаго бытія, въ которой включается и моментъ абсолютнаго знанія, оказывается третьимъ, по своей несомнѣнности равноправнымъ, основнымъ началомъ нашего познанія, наравнѣ съ признаніемъ истины бытія субъективнаго (наше *я* и его состоянія) и объективнаго (*не я*).

Какимъ образомъ мы должны болѣе опредѣленнымъ и конкретнымъ образомъ понимать эти три основные истины философскаго познанія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ должна дать философія въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ только объ установлениіи всеобщихъ и несомнѣнныхъ законовъ бытія и знанія.

нѣнныхъ ея *началъ* или основоположеній. Но въ самомъ понятіи начала уже заключается то, что оно есть только начало изслѣдованія, подлежащее дальнѣйшему процессу раскрытия и опредѣленія, и это раскрытие путемъ синтетического или дедуктивнаго метода (при содѣйствіи, конечно, анализа) и должно составлять дальнѣйшую задачу философской системы. Имѣя въ виду эти дальнѣйшія результаты философскаго развитія указанныхъ выше началя, мы можемъ въ настоящемъ случаѣ лишь коротко формулировать, выражаемыя ими, первоначальныя и коренные истины въ видѣ трехъ несомнѣнныхъ положеній: существуетъ міръ духовный, существуетъ міръ физической, существуетъ абсолютно совершенное Существо, совмѣщающее въ себѣ полную истину бытія и знанія,—Богъ \*).

---

\*) Чтобы доказать несомнѣнность этихъ основоположеній философіи, мы избрали самый краткій и, по нашему мнѣнію, вполнѣ надежный путь,—анализъ абсолютнаго скептицизма, и старались показать, что даже это принципіально враждебное всему несомнѣнному направлению, въ противорѣчіе себѣ и для самой возможности своего существованія, должно признать указанныя нами истины, потому что самый рѣшительпый скептикъ стоитъ на томъ, что мыслить имѣю онъ, а не другой, и его мнѣнія суть именно его, а не другаго, что противоположная его мнѣніямъ мысли суть не его, что слѣдовательно существуетъ нѣчто вѣнѣ сгс, и что, наконецъ, суть нѣкоторая высшая норма бытія и знанія, по отношению къ которой его и чужое бытіе и знаніе есть нѣчто ограниченное. Но къ тому-же самому результату приведеть насъ въ свое время и критический анализъ каждого односторонняго направлениія, отрицающаго какую-либо одну изъ этихъ истинъ. Онъ покажетъ намъ, что каждое одностороннее направлениѣ философіи, подобно абсолютному скептицизму, запутывается въ противорѣчіяхъ самому себѣ, источникъ которыхъ заключается именно въ отрицанії какой-либо изъ указанныхъ нами основныхъ истинъ знанія и въ невозможности объяснить все существующее и познаваемое изъ одного какого-либо односторонняго начала. Отрицаемыя односторонними направленими начала остаются также самостоятельными и истинными, какъ и въ абсолютномъ скептицизмѣ; не смотря на отрицаніе ихъ достовѣрности, они незамѣтнымъ и безотчетнымъ процессомъ мышленія входятъ въ самыя отрицающія ихъ системы, заставляя ихъ противорѣчить самимъ себѣ. Такъ, напримѣръ, материализмъ, не смотря на всѣ свои усилия, никогда не въ состояніи вывести изъ своего принципа бытія, называемаго нами духовнымъ, точно также какъ абсолютный идеализмъ не въ состояніи объяснить факта существованія предметовъ виѣншихъ изъ своего понятія обѣ абсолютномъ. Вся критика одностороннихъ философскихъ направлений, какъ показываетъ исторія философіи, сводится въ сущности къ тому, чтобы показать ихъ односторонность, т. е. что отрицающая извѣстную сторону бытія или знанія, неправильно выводя ее изъ одного какого-либо принципа, признаваемаго ими за истинный.

Но установлениемъ трехъ основныхъ истинъ философскаго познанія мы еще не удовлетворили всѣмъ требованіямъ, какія могутъ быть предъявлены наукою относительно философскаго начала. Мы имѣли случай замѣтить, что логика не безъ основанія требуетъ, чтобы число основныхъ и первоначальныхъ истинъ (такъ называемыхъ аксиомъ) въ каждой науцѣ было ограничено возможно меньшимъ числомъ; идеальное же требование отъ научнаго принципа есть его единство. Философія, особенно въ идеалистическихъ системахъ, всегда старалась удовлетворить этому требованію и вывести все содержаніе философскаго знанія изъ одного начала. Хотя требование единства принципа касается болѣе формальнаго совершенства системы, чѣмъ ея содержанія, но въ виду того, что знаніе философское есть знаніе систематическое по преимуществу, мы должны попытаться свести указаннныя нами начала къ одному общему и первоначальному.

Общее связующее и объединяющее эти указанныя нами начала понятіе есть, конечно, понятіе *бытія*; въ нихъ мы признаемъ бытіе міра чувственнаго, духовнаго, бытіе абсолютнаго. Но мы уже видѣли, что само по себѣ понятіе чистаго бытія не можетъ служить началомъ къ выведенію изъ него какихъ-либо видовъ опредѣленнаго бытія; никакая Гегелевская діалектика не въ состояніи произвести изъ чистаго понятія бытія того, чего въ немъ не заключается. Если же об-

---

они отрицаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ или ведутъ къ отрицанію какой-либо изъ указанныхъ нами коренныхъ истинъ знанія. Такой критической премъ, одинаково употребляемый всѣми философскими направленіями въ отношеніи къ противоположнымъ имъ, ясно показываетъ одинаковую необходимость для разума каждой изъ этихъ истинъ. Если идеализмъ, напримѣръ, указываетъ недостатки материализма въ томъ, что онъ не можетъ съ своей точки зрѣнія вывести духовнаго бытія; если материалисты или эмпирикъ въ свою очередь доказываютъ идеалисту, что онъ не можетъ объяснить изъ своего начала существованія бытія вещественнаго, и если взаимные упреки того и другаго справедливы, то, очевидно, въ результатѣ мы получаемъ необходимость для мышленія одинаково признавать реальность какъ духа, такъ и матеріи. Точно также получаетъ необходимое значеніе для мышленія и признаніе существа абсолютнаго, такъ какъ оно не можетъ быть выведено изъ понятій бытія условнаго и ограниченнаго, будетъ-ли это бытіе духовнымъ или матеріальнымъ. Такимъ образомъ, критика каждого односторонняго направленія къ сущности будетъ косвеннымъ доказательствомъ истины той или другой первоначальной истины нашего разума.

щимъ и единымъ принципомъ не можетъ быть абстрактное понятіе бытія, то мы должны обратиться къ каждому изъ трехъ опредѣленныхъ видовъ бытія и посмотретьъ, не можетъ ли какой-либо изъ нихъ служить производящимъ началомъ для другихъ и объединять ихъ. Но если мы взглянемъ на указанныя нами формы бытія съ этой точки зрѣнія, то легко замѣтишь, что ни бытіе субъективное (наше *я*), ни бытіе объективное (*не я* или міръ виѣшній) не могутъ быть въ нашемъ сознаніи производящюю причиною бытія абсолютного, потому что какъ то, такъ и другое ограничено и условно, а безусловное и неограниченное, по самому понятію своему, не можетъ происходить отъ началъ условныхъ и несовершенныхъ.

„Ибо, какъ справедливо замѣтилъ еще Декартъ,— очевидно и для здраваго смысла, что то, что болѣе совершенno, т. е. содержитъ въ себѣ болѣе реальности, не можетъ быть слѣдствиемъ и быть въ зависимости отъ менѣе совершенного... Ясно также видно и то, что въ субстанціи безконечной находится болѣе реальности, чѣмъ въ субстанціи конечной и что я нѣкоторымъ образомъ имѣю въ себѣ понятіе о безконечномъ прежде, чѣмъ о конечномъ, т. е. о Богѣ прежде, чѣмъ о самомъ себѣ; ибо какимъ образомъ я могъ бы знать, что я сомнѣваюсь, что я желаю, вообще что мнѣ недостаетъ чего-либо и что я не всесовершенъ, если-бы не было во мнѣ идеи Существа болѣе совершенного, чѣмъ мое, по сравненію съ которымъ я познаю недостатки своей природы?“ \*) Если же наше субъективное бытіе не можетъ быть производящюю причиною бытія абсолютного, то тѣмъ менѣе такою причиною можетъ быть міръ виѣшній, объективный, потому что ограниченность и условность его бытія выступаетъ для нашего сознанія еще съ большою отчетливостію, чѣмъ ограниченность нашего *я*. Отсюда видно, что изъ трехъ видовъ опредѣленного бытія, одинаково несомнѣнно признаваемыхъ нашимъ сознаніемъ первоначальнымъ и основнымъ, должно служить бытіе абсолютное, какъ такое, которое заключаетъ въ себѣ возможность, именно въ силу своей абсолютности, быть началомъ бытія условного и ограниченного. И какъ сравнивая три вида бытія съ цѣлью объединенія ихъ въ одномъ первоначальномъ, мы

\*1 Descartes, Medit. III. p. 85—86.

нашли это объединеніе въ идеѣ абсолютнаго, такъ точно, сравнивая три основныя истины нашего познанія съ цѣлью открыть первоначальную и основную, мы можемъ признать такою истиной бытіе Существа абсолютнаго, или что тоже,—истину бытія Божія, которую и можно назвать поэтому основною истиной философіи, такъ какъ рационально объяснить существованіе міра физического и духовнаго и самую достовѣрность познанія о немъ, какъ увидимъ, возможно не иначе, какъ при предположеніи этой истины.

Къ тому же самому заключенію, къ которому мы пришли посредствомъ анализа трехъ видовъ бытія нами познаваемаго, мы можемъ прийти и путемъ анализа понятія о нашемъ познаніи, путемъ субъективнымъ. Что такое наше познаніе, независимо отъ предметовъ, нами познаваемыхъ? Познаніе, какъ специальная особенность разумной природы человѣка, отличающая его отъ неразумныхъ животныхъ, есть прежде всего неудовлетворенность его данными отвѣтъ впечатлѣніями и тѣмъ непосредственнымъ знаніемъ вещей, какое даютъ намъ вѣнчанія чувства и даже наше простое самосознаніе. Въ актѣ познанія нашъ разумъ, недовольный видимостю вещей, старается проникнуть въ ихъ внутреннее существо, угадать законы, по которымъ совершаются явленія, причины ихъ происхожденія и, наконецъ, первоначальную, высочайшую причину ихъ бытія; въ познаніи философскомъ эта неудовлетворенностьничѣмъ даннымъ, эта потребность проникновенія въ существо вещей выскаживается, конечно, сильнѣе и живѣе, чѣмъ во всякой другой области познанія. Но неудовлетворенность сначала непосредственными впечатлѣніями вѣнчаныхъ и внутренняго чувствъ, затѣмъ неудовлетворенность никакимъ даннымъ познаніемъ, какъ-бы оно ни возвышалось надъ этими впечатлѣніями, чѣмъ можетъ быть объяснена, какъ не существованіемъ въ нашемъ умѣ первоначальнаго, непосредственнаго, хотя не ясно сознаваемаго убѣжденія, что есть нечто болѣе совершенное, болѣе реальное и истинное, чѣмъ окружающая насть дѣйствительность,—что есть знаніе болѣе совершенное, чѣмъ каждое данное знаніе, какъ бы относительно оно ни было совершенно? Безъ этого первоначальнаго убѣжденія быль-бы невозможенъ и первый шагъ на пути познанія истины,—недовольство даннымъ, непосредственнымъ знаніемъ. Но если

мы внимательно всмотримся въ это первоначальное убѣжденіе, то легко замѣтимъ, что въ основѣ его лежитъ также самая идея абсолютнаго, которая служила для настѣ основаніемъ и началомъ бытія ограниченнаго. Ибо и о нашемъ знаніи можно сказать тоже, что сказалъ Декартъ о бытіи: какимъ образомъ я могъ-бы знать, что мое знаніе несовершенно, если-бы во мнѣ не было идеи знанія болѣе совершеннаго, чѣмъ мое, въ сравненіи съ которымъ я чувствую недостатки моего знанія и стремлюсь къ знанію болѣе и болѣе совершенному, точнѣе,—къ знанію абсолютно совершенному, такъ какъ никакое данное знаніе удовлетворить вполнѣ не можетъ моего стремленія къ истинѣ?

Итакъ, остановимъ-ли наше вниманіе на содержаніи основныхъ истинъ нашего познанія или на самомъ существѣ нашего познанія, одинаково приходимъ къ убѣждению, что идея абсолютнаго или точнѣе,—идея Существа абсолютно совершеннаго должна быть признана началомъ философскаго познанія, и истина бытія Божія—основною философскою истиной.

Но будучи основнымъ и исходнымъ началомъ философскаго познанія, идея Божества въ то-же время составляетъ и послѣднюю, высшую цѣль этого познанія; въ ней, такъ сказать, совмѣщается его дѣйствующая и конечная причина. Въ самомъ понятіи философскаго начала, какъ мы замѣтили, уже заключается понятіе его общности и неопредѣленности; что начинается, то, какъ замѣтилъ Гегель, еще не есть, но только начинаетъ быть, стремится къ осуществленію полноты своего существованія. Философское начало есть только первоначальная точка опоры и почва для дальнѣйшаго изслѣдованія. Она есть зерно, изъ котораго должно развиться роскошное дерево науки съ его цвѣтами и плодами; но плодъ этого развитія есть тоже самое зерно или сѣмя, изъ котораго оно первоначально возникло. Какъ растеніе въ своей жизни представляеть органическій циклъ развитія и возвратленія къ тому, изъ чего оно вышло, такъ и философія, исходя изъ идеи Божества, процессомъ своего развитія стремится къ той-же идеѣ Божества, какъ высшей и послѣдней цѣли познанія. Дѣйствительно, если высшая задача философіи есть познаніе сущности вещей, а послѣднее основаніе существованія вещей есть Существо абсолютное—Богъ, Которому одному принадлежать во всѣй

полнотѣ предикать истинно сущаго, то можно сказать, что высшая цѣль, къ которой стремится философія, есть познаніе Божества,—познаніе, въ которомъ заключается ключъ къ уразумѣнію міра физического и духовнаго, и въ этомъ отношеніи можно согласиться съ словами Гегеля, что содержаніе философіи есть Богъ и уразумѣніе Бога. Такимъ образомъ идея Божества, будучи исходнымъ началомъ философіи, въ то-же время служить ея цѣлью или идеальнымъ ея началомъ.

Мы установили основное начало философіи, которое можемъ назвать *реальнymъ*, такъ какъ имъ обезпечивается для нашей науки несомнѣнность самыхъ предметовъ ея изслѣдованія: Бога, міра физического и духовнаго. Но въ то-же время мы замѣтили, что признаніе этого начала даетъ только первую точку опоры для философскаго изслѣдованія, что задача философіи должна состоять въ дальнѣйшемъ раскрытии этого начала, въ рациональномъ познаній его содержанія во всей его широтѣ. Но какимъ путемъ или способомъ мы можемъ достичнуть этого познанія? Такъ какъ философія въ своемъ историческомъ движеніи представляетъ, повидимому, много способовъ или методовъ познанія, то и здѣсь возникаетъ тотъ-же вопросъ, какой возвышесть для настѣ и относительно основныхъ истинъ нашего познанія: можно-ли найти такой способъ познанія, который быль-бы столько-же основнымъ и столько же несомнѣннымъ, какъ тѣ коренные истины знанія, къ раскрытию которыхъ онъ долженъ быть приложенъ?

Отсюда видно, что, кроме установленія принципа реального, мы должны попытаться открыть и установить несомнѣнный принципъ философскаго познанія, который, въ противоположность первому, мы можемъ назвать *формальнymъ*, такъ какъ имъ опредѣляется не содержаніе, а только способъ познанія.

Для открытия этого принципа мы пойдемъ тѣмъ-же самымъ путемъ, какимъ шли для открытия принциповъ реальныхъ. Мы спросимъ: нѣтъ-ли такого способа познанія, который остается непоколебимымъ при самомъ абсолютномъ сомнѣніи касательно достовѣрности нашего познанія, безъ которого невозможно было-бы и самое сомнѣніе,—который одинаково считали для себя обязательнымъ самыя разнообразныя и расходящіяся даже въ взглядахъ на значеніе самого этого способа философскія направленія? На эти вопросы исторія мышленія даетъ, поло-

жительный отвѣтъ. Разсматривая ходъ мышлениія во всевозможныхъ системахъ, не исключая и скептическихъ, мы замѣчаемъ, что всѣ онѣ считаются для себя обязательными и несомнѣнными тѣ пріемы правильного мышлениія, которые указываетъ намъ логика и которые составляютъ самую природу нашего разума. Ни одинъ напр. философъ не скажетъ, что противорѣча самъ себѣ онъ можетъ познавать истину, — что то, что говорится обѣ общемъ понятіи, не можетъ быть сказано о содержащихся подъ нимъ частныхъ, — что въ заключеніи можетъ быть выведено больше, чѣмъ дано въ посылкахъ и пр. Каждый философъ считаетъ состоятельными тѣ доказательства, который удовлетворяютъ логической теоріи доказательства, и опровергаетъ своихъ противниковъ указаніемъ на логические промахи и противорѣчія въ ихъ системахъ. Самый рѣшительный скептикъ при своемъ опроверженіи достовѣрности знанія, даже при опроверженіи состоятельности логическихъ законовъ, будетъ однако-же, въ противорѣчіе себѣ, располагать свои доказательства по тѣмъ-же самымъ законамъ мышлениія, какъ и всякой другой, и будетъ мыслить не по другой какой логикѣ, какъ по общечеловѣческой; даже отвергая возможность доказательства, онъ для этого отверженія будетъ употреблять доказательство и тѣмъ, самъ того не замѣчая, доказывать возможность логического удостовѣренія истины. Иначе, гдѣ-бы онъ нашелъ опору для своего сомнѣнія? Чтобы сомнѣніе не было дѣломъ произвольнымъ, безсмыленнымъ отрицаніемъ, мысль должна имѣть право ссылаться на то, что при своемъ сомнѣніи она дѣйствуетъ совершенно правильно, законно, основательно. Но дѣйствовать правильно, законно, основательно,— что можетъ значить для мысли иное, какъ не дѣйствовать такъ, какъ требуютъ законы мысли? Такимъ образомъ самое научное сомнѣніе, какъ результатъ процесса, совершающагося по законамъ мысли, необходимо предполагать увѣренность въ истинности этихъ законовъ. Всякое разсужденіе обѣ истинности законовъ мысли необходимо было бы подчинено имъ-же самимъ и потому мы не могли-бы признать его правильнымъ, не предположивъ истинности законовъ, которымъ оно необходимо должно было подчиниться. Никакая критика разума, будеть-ли она скептическая или другая какая, не была бы возможною; невозможно было-бы и результаты ся

признать истинными, если-бы мы заподозрили вѣрность законовъ мысли, которымъ необходимо должно подчиняться критическое изслѣдованіе, если оно желаетъ быть научнымъ изслѣдованіемъ \*).

Такимъ образомъ мы вправѣ признать логические законы мышленія, или что тоже — самодостовѣрность нашего разума безспорнымъ формальнымъ принципомъ философіи. Что касается до возраженій противъ несомнѣнности этого принципа, то ихъ не трудно устраниТЬ указаніемъ заключающагося въ нихъ противорѣчія, именно того, что самая (предполагаемая) состоятельность этихъ возраженій, независимо отъ ихъ собственной силы или слабости, возможна только при скрытомъ признаніи истины того, противъ чего возражаютъ.

Такъ Декартъ, подвергая сомнѣнію всѣ основоположенія нашего знанія, исключая своего знаменитаго: *cogito, ergo sum*, не считаетъ свободными отъ этой сомнительности и законы нашего мышленія. Гдѣ, спрашивается онъ, ручательство истины этихъ законовъ? Скажемъ ли, что Богъ, Творецъ міра и меня, не могъ дать мнѣ такихъ законовъ познанія, которые вмѣсто истины вводили-бы меня въ заблужденіе? Но если, какъ показываетъ опытъ, я часто заблуждаюсь, и если мои частные заблужденія не противорѣчать понятію о благости Божіей, то почему нельзя допустить, что я и всегда могу заблуждаться, также не противорѣчъ этому понятію? Если бы заблужденіе противорѣчило благости Божіей, то Богъ долженъ бы создать меня такимъ, чтобы я никогда не могъ заблуждаться: а если разъ допущена возможность и согласіе съ волею Божіей частныхъ заблужденій, то нѣтъ никакого основанія не допустить подобной же возможности и заблужденія всеобщаго. Если, такимъ образомъ, возможность всеобщаго заблужденія не обеспечена даже при признаніи существованія Бога, то само собою разумѣется, она еще менѣе обеспечена, если мы станемъ отрицать это существованіе. Если заблужденіе есть несовершенство, то чѣмъ менѣе совершенна мы станемъ представлять первую причину міра (а такого рода причиною, очевидно, будетъ всякая другая, какъ скоро мы отвергнемъ причину всесовершенную—Бога), тѣмъ болѣе будетъ вѣроятности, что

---

\* ) Каринскій, „Крит. обзоръ посл. периода герм. философіи“. 1873, стр. 255 — 258.

и самъ я буду несовершеннымъ и буду постоянно заблуждаться. Отъ несовершенной причины, напр., рока, случая, материі, одинаково возможно происхожденіе и истины и заблужденія, и ничто не обезпечиваетъ меня, что мои законы познанія должны быть непремѣнно истинными. Напротивъ, самое несовершенство этихъ причинъ заставляетъ съ большею вѣроятностю предполагать, что законы моего познанія будутъ скорѣе несовершенными, чѣмъ совершенными, скорѣе ложными, чѣмъ истинными. Наконецъ, я могу предположить и то, что не Богъ, Который есть благъ и есть верховный источникъ истины, а какой-нибудь злой духъ, столько же хитрый и ложный, сколько и могучій, употребилъ все свое искусство, чтобы меня обмануть, что всѣ представлениія и образы міра вѣнчаяго суть только иллюзіи и мечты, которыми онъ воспользовался, какъ ловушками для моей довѣрчивости \*).

Изъ этихъ скептическихъ тенетъ Декартъ выпутывается, какъ известно, тѣмъ, что въ выводимой имъ изъ вполнѣ несомнѣнного принципа: *cogito, ergo sum*, посредствомъ дальнѣйшихъ умозаключеній, идея Бога, какъ существа абсолютно совершенного, находитъ искомую гарантію человѣческаго познанія. Эта гарантія состоитъ въ томъ, что Богъ, какъ существо абсолютно истинное и благое, не могъ дать намъ обманчивыхъ законовъ познанія, вводящихъ насъ въ заблужденіе. Не говоримъ о томъ, что этою мыслю далеко не разсвѣваются его собственныя возраженія. Замѣтимъ лишь то, что такой окольный и кружный путь совершенно ненуженъ для удостовѣренія истины нашего познанія и самъ по себѣ несостоятеленъ. Декартъ забываетъ, что то самое понятіе о Богѣ, которое опѣь выводить изъ своего философскаго принципа и, исходя затѣмъ изъ котораго, доказываетъ достовѣрность познанія, само приобрѣтено или выведено путемъ того же самаго логического мышленія и того же познанія, которое въ началѣ онъ призналъ несвободнымъ отъ сомнительности, даже при предположеніи бытія Божія. Но если написъ мышленіе и законность его сомнительны, то какъ при помощи его мы можемъ прийти къ несомнѣнному понятію о Богѣ, которое въ свою очередь должно доказать истину нашего познанія? Если онъ

\* Descartes, Oeuvres, ed. J. Simon, 1860. Medit. 1. p. 68—71.

хочеть доказывать достовѣрность нашего мышленія изъ понятія о Богѣ, то сперва долженъ доказать, что тотъ самый процессъ мышленія, какимъ онъ дошелъ до этого понятія, достовѣренъ, а слѣдовательно и самое понятіе о Богѣ также достовѣрно. Онъ долженъ не выводить истину нашего познанія изъ идеи о Богѣ, а напротивъ выводить истину самой этой идеи изъ предположенія достовѣрности нашего мышленія. Иначе, вся его аргументація представляется такъ называемый въ логикѣ *circulus in demonstrando*; истина познанія доказывается истиною бытія Божія, а истина бытія Божія основывается на предварительномъ предположеніи истины того познанія и тѣхъ пріемовъ мысли, посредствомъ которыхъ она выведена и утверждена какъ истина.

Дѣйствительно, это предположеніе несомнѣнности нашего мышленія само собою сказывается какъ въ самыхъ сомнѣніяхъ Декарта касательно его достовѣрности, такъ и въ выводимыхъ затѣмъ основныхъ положеніяхъ его философіи. Его сомнѣнія, независимо отъ ихъ содержанія, очевидно, суть аргументы противъ непосредственнаго убѣжденія въ истинѣ тѣхъ или другихъ нашихъ мнѣній. Если же Декартъ считаетъ ихъ такими и придаетъ имъ какую-либо цѣнность, то очевидно потому, что признаетъ вполнѣ состоятельными и истинными тѣ сочетанія мыслей, въ которыхъ они выражены,—слѣдовательно, признаетъ достовѣрность мышленія и его логическихъ пріемовъ. Точно также вывода положенія своей философіи изъ своего начала: *cogito, ergo sum*, онъ, очевидно, признаетъ такой выводъ правильнымъ и достовѣрность ихъ основываетъ на логической достовѣрности этого вывода; самая идея Бога, наивысшее, по его мнѣнію, ручательство достовѣрности нашего мышленія, можетъ получить такое значеніе не иначе, какъ при предварительномъ признаніи такой достовѣрности.

Также мало, какъ и сомнѣнія Декарта, могутъ говорить противъ самодостовѣрности мышленія, какъ формальнаго принципа философскаго познанія, и тѣ опыты критики нашего разсудочнаго познанія, какимъ оно не разъ подвергалось, и тѣ попытки, какія мы встрѣчаемъ въ философіи, дополнить или замѣнить недостаточность логического мышленія или новыми методами познанія (какова напр. діалектика Гегеля), или новыми источниками его (каковы напр. созерцаніе мистиковъ, чувство Якоби,

чистое интеллектуальное воззрѣніе Шеллинга). Что касается до всевозможныхъ критикъ нашего разума, то ограничимся сдѣланнымъ уже замѣчаніемъ, что каждая такая критика совершается не иначе, какъ по законамъ того-же разума и для своей состоятельности предполагаетъ состоятельность этихъ законовъ. Если-бы даже результатомъ этой критики оказалась невозможность для разума знать объективную истину, то и въ такомъ случаѣ мы должны признать несомнѣннымъ, что разумъ можетъ достовѣрно знать эту невозможность, слѣдовательно, можетъ имѣть достовѣрное знаніе о всемъ томъ, о чёмъ только онъ можетъ знать, хотя-бы кругъ этого знанія сводился къ ничтожному и неутѣшительному результату, — сознанію своей несостоятельности. Что касается до попытокъ помочь этой неудовлетворительности разума открытиемъ или новыхъ пріемовъ познанія, высшихъ, чѣмъ указываемые логикою, или новыхъ источниковъ его, то и здѣсь опять укажемъ на тотъ фактъ, что доказательство истины или преимущества этихъ пріемовъ, или этихъ источниковъ происходитъ однако-же при помощи тѣхъ же логическихъ пріемовъ, которые считаются недостаточными для знанія и подлежащими замѣнѣ новыми. Не говоримъ о томъ, что новость этихъ способовъ познанія, независимость отъ логического мышленія и превосходство надъ нимъ оказываются на дѣлѣ очень сомнѣтельными. Такъ наприм. философская критика діалектическаго метода Гегеля, столь рѣзко противополагаемаго имъ разсудочному мышленію, ясно показала, что этотъ методъ въ существѣ своемъ не только не есть что-либо новое, но только своеобразное и на дѣлѣ неудачное видоизмѣненіе обыкновеннаго синтетического метода\*). Еще менѣе можетъ служить замѣною рационального мышленія въ философіи непосредственное, мистическое созерцаніе, какъ источникъ познанія высочайшаго объекта философскаго знанія — Существа абсолютнаго. Мы не отвергаемъ теоретической возможности непосредственного созерцанія Существа высочайшаго, т. е. до-знанія Его не посредствомъ умозаключеній разсудка, но путемъ живаго ощущенія Его воздействиій на нашъ духъ; такая возможность условливаются богоподобiemъ человѣка и высшимъ

---

\* ) Trendelenburg, Log. Unters. p. 82 et sq.

совершенствомъ его духовной природы. Но съ одной стороны, мы не должны забывать и того, что эта теоретическая возможность находитъ значительное ограничение и препятствие къ своему осуществлению въ дознанномъ на опытѣ фактѣ ненормального состоянія человѣческой природы, слѣдствиемъ чего является отчужденность естественного человѣка отъ живаго общенія съ Богомъ, а отсюда невозможность для него съ полною безопасностью пользоваться способностію непосредственнаго созерцанія въ видѣ богопознанія. Для мистика всегда предстоитъ опасность самообольщенія,— опасность принять за непосредственное откровеніе созданія собственной мысли, чувства, даже воображенія. Съ другой стороны, если-бы мы и предположили нормальную чистоту и неповрежденность способности созерцанія, то и въ такомъ случаѣ примѣненіе ея въ области философіи должны-бы ограничить областію міра сверхчувственнаго и религіи. Для познанія міра чувственнаго и ограниченно-духовнаго, человѣческаго, по самому строю нашей природы, должно служить не созерцаніе и откровеніе, а разумъ и его законы. Но и самое познаніе сверхчувственнаго, которое могло-бы быть приобрѣтено путемъ созерцанія, могло-бы быть названо знаніемъ только въ смыслѣ несобственному; его точнѣе должно называть вѣрою. Какъ скоро оно желаетъ быть дѣйствительнымъ знаніемъ, оно неизбѣжно должно стать знаніемъ рациональнымъ, осуществляемымъ при помощи обычныхъ приемовъ разсудочнаго мышленія. Отъ этой неизбѣжности не могутъ уклониться и философы, думающіе въ познаніи „всѣхъ божественныхъ“ замѣнить разумъ созерцаніемъ или чувствомъ; въ противорѣчіе себѣ они допускаютъ разъясненіе своихъ понятій и доказательство ихъ истины приемами того-же самаго мышленія, состоятельность котораго въ принципѣ отвергаютъ,— что мы и замѣтили, въ частности говоря о философіи Якоби.

Изъ всего сказанного нами слѣдуетъ, что всеобщимъ, несомнѣннымъ, гносеологическимъ или формальнымъ принципомъ философіи должна быть мысль о самодостовѣрности разума, т. е. тѣхъ законовъ мышленія, которые служатъ выражениемъ его разумной природы и раскрытиемъ которыхъ занимается логика. Мы должны считать истину, что съ ними согласно, и ложью, что имъ противорѣчитъ. Выше и дальше этихъ законовъ для удостовѣренія истины нашихъ познаній намъ идти

некуда; отрицая обязательности этихъ законовъ или сомнѣва-  
ясь въ ней, мы отрицали-бы самое мышленіе и достовѣрность  
самаго сомнѣнія, такъ какъ и самое сомнѣніе, чтобы быть  
убѣдительнымъ для нась, должно, какъ мы говорили, основы-  
ваться на тѣхъ-же законахъ и признавать истину тѣхъ пріе-  
мовъ мысли, въ которыхъ оно сомнѣвается.

Такая самодостовѣрность и бесспорность мышленія, какъ  
формального начала философіи, дѣлаетъ его надежнымъ *кри-  
териемъ* философской истины. Говоря о методѣ философіи, мы  
сказали, что материальными критеріемъ истины въ пей должна  
служить самая дѣйствительность \*). Тѣ положенія и выводы  
философіи, которые явно противорѣчать дѣйствительности, не  
смотря на ихъ кажущуюся стройность, должны быть отверг-  
нуты, какъ несоответствующіе истинѣ. Но приложеніе этого  
критерія къ повѣркѣ итоговъ философской дедукціи вообще  
довольно трудно, а иногда и невозможно. Оно трудно, потому  
что требуетъ обширнаго знанія всѣхъ положительныхъ наукъ  
и притомъ не только въ общихъ выводахъ ихъ, но и въ са-  
мыхъ частностяхъ, чтобы мы, не полагаясь на вѣру въ истину  
этихъ выводовъ и на авторитетъ специалистовъ, могли съ до-  
стовѣрностю знать, что самые эти выводы сдѣланы правильно.  
Но не говоря о томъ, что подобное упиверсальное знаніе,  
требуемое идеаломъ философскаго критерія, не осуществимо  
для отдѣльного лица, если-бы оно и было возможно, не всегда  
можетъ быть такимъ надежнымъ критеріемъ истины, на кото-  
рый можно-бы вполнѣ положиться. Это оттого, что сами по-  
ложительныя науки не представляютъ собою законченного цикла  
развитія, сами онѣ находятся въ процессѣ развитія и усовер-  
шенствованія. Во многихъ отдѣлахъ естествознанія, истори-  
ческой и общественной науки еще господствуетъ темпата;  
многія теоріи и гипотезы составляютъ предметъ споровъ и пе-  
доразумѣній. И что всengo важнѣе, эти темные области и спор-  
ные пункты находятся именно тамъ, где положительныя науки  
всего ближе соприкасаются съ философіею; таковы напр. во-  
просы о происхожденіи вселенной, человѣка. Поэтому-то стро-  
гому мыслителю никакъ нельзя довѣряться во многихъ слу-  
чаяхъ послѣднимъ и даже общепринятымъ въ данное время

---

\*) См. Сочиненія В. Д. Кудрявцева-Цлатонова, т. I вып. I стр. 217 – 218.

выводамъ положительныхъ наукъ. Нужна крайняя осмотрительность въ употреблениі ихъ для сравненія съ выводами философскими и для повѣрки послѣднихъ. Такъ называемое послѣднее слово науки въ области положительного знанія можетъ быть далеко не послѣднимъ и полагаться на это слово далеко не безопасно. Кроме того, какъ мы замѣтили, приложеніе этого материальнаго критерія истины къ философіи бываетъ не только трудно, но иногда невозможно. Дѣйствительно, въ философіи есть области и самая высшая, где совершенно оставляетъ насъ опытъ, где положительные науки сохраняютъ полное молчаніе; такова напр. вся область нашихъ познаній о Богѣ.

Эта затруднительность пользованія въ философіи материальнымъ критеріемъ истины показываетъ всю важность и значение другаго, который мы назвали формальнымъ и который состоить въ сличеніи философскихъ выводовъ съ законами мышленія и повѣркѣ правильности и состоятельности ихъ въ этомъ отношеніи. Дѣйствительно, повѣрка философскихъ учений передъ судомъ логики есть самая лучшая и самая строгая ихъ критика. Она тѣмъ болѣе удобна и беспристрастна, что логика составляетъ нейтральное поле, на которомъ мирно сходятся мыслители самыхъ враждебныхъ другъ другу направлений; всѣ философы, не исключая, какъ мы видѣли, и скептиковъ, въ сущности согласны въ обязательности законовъ мышленія и поэтому логика представляетъ въ философіи такое судебное мѣсто (*χριτήριον*), авторитетъ котораго признаютъ и уважаютъ всѣ.

# МЕТАФИЗИЧЕСКІЙ АНАЛИЗЪ

## ЭМПІРИЧЕСКАГО ПОЗНАНІЯ.

Богъ, міръ духовный и физический,—вотъ три главные предмета метафизики. Въ нашемъ изслѣдованіи объ основныхъ началахъ философскаго познанія \*) мы указали на необходимость, прежде положительного раскрытия этихъ понятій, прежде построенія положительного философскаго міросозерцанія, подвергнуть ихъ критическому разсмотрѣнію, съ цѣллю опредѣлить границы и степень достовѣрности нашихъ познаній о предметахъ ими выражаемыхъ; а въ изслѣдованіи о методѣ философіи \*\*) указали и способъ, какимъ должно быть ведено это разсмотрѣніе. Этимъ методомъ долженъ быть анализъ нашей познавательной способности и различныхъ формъ ея дѣятельности сообразно съ различiemъ познаваемыхъ предметовъ.

Въ нашемъ познаніи, и по различію направленій нашей познавательной силы, и по различію познаваемыхъ предметовъ, мы можемъ различать три формы или степени: познаніе эмпірическое (чувственное), рациональное (разсудочное) и идеальное (умственное).—Начнемъ нашъ анализъ съ познанія эмпірическаго, какъ самаго первоначального и вмѣстѣ самаго низшаго по гносеологическому значенію сообщаемыхъ имъ свѣдѣній.

---

\*) См. стр. 1 и слѣд.

\*\*) См. Сочиненія В. Д. Кудрявцева-Платопова, т. I вып. 1. стр. 195 и слѣд.

Сначала опредѣлимъ точнѣе, что мы понимаемъ подъ именемъ эмпирическаго познанія и подъ именемъ метафизического анализа его.

Прежде всего, мы должны оговориться, что эмпирическое познаніе мы понимаемъ здѣсь въ самомъ тѣсномъ и непосредственномъ значеніи этого слова. Говоря о познаніи эмпирическомъ, мы не имѣемъ въ виду той обширной и многосложной области познаній, которая извѣстна подъ именемъ эмпирическаго знанія вообще, эмпирической философіи въ частности. Хотя это познаніе основывается на первоначальной почвѣ опыта и наблюденія, но дальнѣйшее развитіе его и образованіе въ дѣйствительное, научное познаніе принадлежитъ высшей познавательной силѣ—разсудку: поэтому въ сущности и по гносеологическому характеру своему оно есть рациональное познаніе. Подъ именемъ эмпирическаго, точнѣе, чувственного познанія мы будемъ разумѣть знаніе, доставляемое чувствами *непосредственно*, въ отличие отъ познанія посредствомъ понятій, органомъ котораго служить разсудокъ. Такое чувственное познаніе даетъ намъ предметъ такъ, какъ онъ есть, или вѣрнѣс,—какъ онъ кажется намъ существующимъ. Это познаніе не судить о предметѣ, не дѣлаетъ его средствомъ къ познанію другихъ предметовъ, не ставить еще его въ отношеніе къ другимъ мыслимымъ объектамъ, но только *представляетъ* его нашему сознанію, какъ фактъ или явленіе. Въ сущности оно удостовѣряетъ для насъ только бытіе предметовъ, но не даетъ еще *понятія* о нихъ, поэтому точнѣе могло бы быть названо не познаніемъ, а только сознаніемъ предметовъ.

Чувство даетъ намъ знать или о предметахъ виѣшнихъ, представлениія о которыхъ мы получаемъ черезъ посредство извѣстныхъ органовъ чувствъ,—и тогда оно носитъ название *внѣшнаго чувства*; или обѣ объектахъ внутреннихъ, т. е. о нашемъ я и его психическихъ состояніяхъ,—и тогда оно называется *чувствомъ внутреннимъ*.

Въ настоящемъ нашемъ изслѣдованіи мы будемъ имѣть дѣло съ чувствомъ виѣшнимъ и основанными на его показаніяхъ представлениими о виѣшнемъ мірѣ.

Въ гносеологическомъ отношеніи въ показаніяхъ этого чувства мы отличаемъ двѣ степени или формы. Мы или непо-

средственно въ точномъ смыслѣ слова сознаемъ и воспринимаемъ внѣшній предметъ въ то самое время и въ той самой формѣ, въ какой онъ подѣйствовалъ на тотъ или другой органъ нашихъ чувствъ; такое сознаніе впечатлѣнія отъ предмета, самое живое, ясное и близкое по отношенію къ предмету, есть чувственное *восприятіе*, называемое иногда чувственнымъ *воззрѣніемъ* по его сравнительной ясности,—разумѣется, понимая подъ словомъ воззрѣніе не одни только ощущенія чувства зрѣнія, но и прочихъ чувствъ. Или мы объединяемъ воспріятія отдельныхъ чувствъ въ одинъ цѣльный образъ предмета; этотъ образъ сохраняется въ душѣ и тогда, когда самъ предметъ непосредственно уже на насъ не дѣйствуетъ и можетъ быть снова изведенъ на свѣтъ сознанія при помощи нашей памяти и воображенія. Такое произведеніе нашей чувственно-познавательной силы, менѣе живое и ясное по отношенію къ предмету, мы называемъ *представленіемъ*.

Содержаніе воззрѣній и представленій есть вообще конкретная дѣйствительность, множество отдельныхъ частныхъ предметовъ, ихъ состояній, свойствъ, качествъ, различно воспринимаемыхъ различными нашими чувствами. Какая-же теперь задача метафизического анализа по отношенію къ этому содержанію нашего эмпирическаго познанія? Метафизика не имѣть въ виду изслѣдоватъ постепенное образованіе нашихъ представлений и раскрывать законы дѣятельности чувственно-познавательной силы; это дѣло психологического анализа. Она не имѣть также въ виду опредѣлить нормальныя условія правильности чувственного воспріятія и представлений и основанного на немъ чувственного наблюденія; это дѣло анализа логического. Но есть еще одна сторона въ чувственномъ познаніи, которой не касается строго ограничивающейся своими предѣлами психологія и логика. Это вопросъ объ отношеніи нашихъ чувственныхъ представлений къ дѣйствительному бытію. Эмпирическая психологія, хотя и представляеть намъ, какъ увидимъ, первоначальнаяя данная для рѣшенія этого вопроса, но сама не можетъ рѣшить его окончательно, такъ какъ задача ея состоить въ раскрытии законовъ психической дѣятельности, а не въ опредѣленіи ихъ значенія относительно внѣшней, объективной дѣйствительности; для этого она должна-бы выдти изъ субъективной области духа въ область

объективного бытія, чтобы сказать свое слово о степени ихъ соотвѣтствія. Логика, исходя изъ идеи знанія, опредѣляетъ нормальные законы эмпирическаго наблюденія, не касаясь вопроса объ отношеніи нашего знанія къ бытію познаваемыхъ вещей. Да этотъ вопросъ не имѣть для нея и существеннаго интереса; законы мышленія, какъ нормальные законы субъективной силы нашего духа, останутся тѣ-же, будемъ-ли мы считать наши правильныя представления соотвѣтствующими или несоотвѣтствующими дѣйствительности; она, конечно, предполагаетъ, что они соотвѣтствуютъ; но они не измѣнились-бы, если-бы наше знаніе и не соотвѣтствовало истинѣ бытія вещей: они и тогда остались бы необходимыми законами нашего субъективного постиженія ихъ. Но вопросъ о степени соотвѣтствія нашего познанія съ предметами познаваемыми, есть, по существу своему, метафизической, такъ какъ дѣло идетъ здѣсь не о субъективныхъ только законахъ нашей познавательной силы и о нормальному приложеніи ихъ къ познанію, но объ объективномъ значеніи познанія,—не только о знаніи, но и объ объективномъ бытіи вещей, въ какой мѣрѣ оно отражается въ нашемъ познаніи.

Но метафизика, по самому понятію о ней, какъ учение о самомъ общемъ и основномъ въ познаніи и бытіи, не можетъ заниматься аналитическимъ изслѣдованіемъ какъ отдельныхъ представлений, такъ и цѣлыхъ группъ ихъ; она должна имѣть въ виду самыя всеобщія свойства принадлежащія всему чувственному бытію вообще. Отвлекая теперь отъ безконечно разнообразнаго и множественнаго въ познаваемой нашими чувствами дѣйствительности то, что въ ней есть самаго общаго и что должно быть предметомъ метафизического изслѣдованія, находимъ, что чувства даютъ намъ понятія: 1) о бытіи вещей, отличныхъ отъ нашего я, противуполагаемыхъ имъ себѣ, какъ *не я*, совокупность которыхъ мы называемъ внѣшимъ, чувственнымъ міромъ; 2) о бытіи пространства и времени, какъ всеобщихъ и необходимыхъ формъ, въ которыхъ представляются нами чувственныя вещи.

Метафизический анализъ нашего чувственного познанія долженъ теперь рѣшить: а) соотвѣтствуютъ-ли нашимъ представлениямъ о вещахъ дѣйствительное бытіе ихъ и представленію

о совокупности ихъ, мыслимому нами міру,—реальный физический міръ? б) что такое пространство и время и соответствует ли этимъ представлениямъ что-либо реальное?

## I.

Существуетъ-ли на самомъ дѣлѣ виѣшній намъ, чувствен-  
ный міръ? Достовѣрны-ли познанія о предметахъ этого міра,  
получаемыя нами при помощи органовъ нашихъ чувствъ? Для  
непосредственного нашего сознанія самая возможность вопросъ  
подобного рода кажется въ высшей степени странною.  
Никто одаренный здравымъ смысломъ, повидимому, и сомнѣ-  
ваться не можетъ въ томъ, что виѣ насть существуютъ мате-  
риальные предметы и что наши чувства, за исключениемъ,  
конечно, случаевъ иллюзій и болѣзненнаго разстройства ихъ,  
сообщаютъ намъ вѣрное понятіе о нихъ. На этой непосред-  
ственной увѣренности въ истинѣ показаній нашихъ чувствъ  
основываются всѣ наши отношенія къ окружающему настѣ  
міру и къ другимъ людямъ; на ней утверждается самое на-  
учное познаніе о видимомъ нами мірѣ. Отрицаніе истины этой  
увѣренности, даже сомнѣніе въ ней, грозить обратить весь  
окружающій насъ міръ въ міръ призраковъ, въ которомъ теря-  
ется всякая устойчивость нашихъ дѣйствій и отношеній къ  
виѣшнему бытю; все наше познаніе о немъ колеблется въ  
самомъ послѣднемъ его основаніи — достовѣрности фактovъ  
опыта и наблюденія.

Но мы уже говорили \*), что какъ-бы несомнѣнными и твер-  
дыми ни казались намъ убѣжденія непосредственного созна-  
нія или общаго смысла, философія не можетъ принять ихъ  
на вѣру, не отказавшись отъ своего существенного требова-  
нія—не принимать ничего на вѣру, безъ изслѣдованія раціо-  
нальныхъ оснований этой увѣренности. Это даетъ намъ право  
подвергнуть критическому анализу самое, повидимому, твер-  
дое непосредственное убѣжденіе, чтобы узнать, имѣть ли оно

---

\* ) См. стр. 6—18.

на самомъ дѣлѣ тотъ характеръ несомнѣнности и истины, какой себѣ приписывается?

Но если самая задача нашей науки даетъ намъ право заниматься проверкою самыхъ ясныхъ, повидимому, убѣжденій, то это право обращается въ обязанность, когда отъ уверенности непосредственного смысла мы обратимся къ мышленію философскому. Здѣсь къ нашему удивленію находимъ, что такая, повидимому, несомнѣнная истина, какъ достовѣрность нашего познанія о вѣнчнѣмъ мірѣ, даже самое существованіе его, подвергалась сильнымъ сомнѣніямъ, иногда отвергалась совершенно. И если въ ряду философовъ сравнимъ число безусловно довѣрявшихъ свидѣтельству непосредственного смысла съ числомъ недовѣрчивыхъ къ нему, то еще къ большему удивленію увидимъ, что количество первыхъ едва ли не превышаетъ числа послѣднихъ.

Дѣйствительно, уже въ самой глубокой древности, какъ только философская мысль начала возвышаться надъ уровнемъ непосредственного познанія, появляются мнѣнія и ученія о недостовѣрности чувственного познанія и бытія. Уже въ Индіи мы находимъ философскую систему (Миманса), которая чувственный міръ считаетъ бытіемъ только кажущимся, а не дѣйствительнымъ, обманомъ (Майя), покровомъ, который долженъ отбросить тотъ, кто хочетъ видѣть подлинную истину бытія. На самомъ дѣлѣ есть только одно духовное бытіе, которое естественно не можетъ быть познано погруженными въ призрачный міръ множественности вѣнчніми чувствами. Въ философіи Греческой, несмотря на односторонній космологический характеръ архаической философіи, очень рано возникаетъ недовѣріе къ показаніямъ вѣнчніхъ чувствъ и къ возможности на основаніи ихъ получить истинное понятіе о мірѣ. Въ оцѣнкѣ чувственного познанія замѣчательно сходятся противоположные направленія, въ которыхъ часто видятъ аналогію съ эмпиризмомъ и идеализмомъ, Іонійцевъ и Елеатовъ. По учению Гераклита, „глаза и уши дурные свидѣтели истины“; особенно недостовѣрны показанія чувства зрѣнія, такъ какъ это чувство представляетъ вещи неподвижными и постоянными, тогда какъ въ дѣйствительности все постоянно течетъ, измѣняется, движется. Тоже самое возврѣніе, часто выраженное тѣми-же почти словами, мы находимъ и у

Елеатовъ \*); при недостовѣрности чувственного познанія все ученіе ихъ о мірѣ физическомъ, въ сравненіи съ ученіемъ о бытіи единомъ, есть людское мнѣніе, знаніе полуистинное. Подъ вліяніемъ полемики Елеатовъ противъ чувственного познанія даже атомистъ Демокритъ вынужденъ былъ признать, что „только въ людскомъ мнѣніи существуетъ сладкое, горькое, теплое, холодное, цветное; но что по истинѣ не существуетъ ничего кромѣ атомовъ и пустаго пространства“ \*\*), что и вообще чувственное познаніе есть познаніе темпое (*σκοτίη*), а не подлинное (*γνῶσις*) и не даетъ полной истины. Изъ двухъ корифеевъ Греческой философіи, какъ извѣстно, одного (Платона) часто называютъ идеалистомъ, другаго (Аристотеля) эмпирикомъ. По ученію Платона, истинно сущее есть идея вещей, ихъ нематеріальные типы или первообразы, существующіе неизмѣнно, вѣчно; дѣйствительные предметы суть болѣе или менѣе тусклое отображеніе идей, которое происходитъ отъ ограниченія ихъ матеріею. Хотя Платонъ не отвергаетъ совершенно реальности вицѣнныхъ предметовъ, но эта реальность по отношению къ истинному бытію вещей есть какая-то несовершенная, полуистинная. Если міръ идей есть бытіе подлинно сущее (*εότως δύ*), то міръ явлений въ сравненіи съ нимъ можетъ быть названъ чѣмъ-то не сущимъ (*μη δύ*). Вопреки Платону и его школѣ Аристотель и его послѣдователи отвергли существованіе міра идеи, какъ высшей дѣйствительности, и міръ реально являющихся предметовъ сдѣлали главнымъ предметомъ философскаго познанія. Впрочемъ эмпиризмъ Аристотеля не былъ одностороннимъ и безусловнымъ; въ чувственныхъ представленіяхъ онъ видѣлъ только психологическое начало познанія; дѣйствительное познаніе является лишь тогда, когда разумъ извлекаетъ изъ частнаго находящегося въ немъ общее и отъ понятія — *что*, сообщаемаго познаніемъ эмпирическимъ, переходитъ къ попытію — *почему*, принадлежащему разсудку. Въ господствовавшихъ послѣ Аристотеля школахъ Перипатетиковъ, особенно же Стоиковъ и Епикурейцевъ, сомнѣнія въ

---

\* ) Такъ Емпедокль совѣтуетъ не довѣрять ни глазамъ, ни прочимъ чувствамъ, которая служить источникомъ мнѣній, а не истины, но изслѣдовать истину умомъ. О Ксенофонтѣ и Парменидѣ, — см. Риттера: Исторія философіи въ пер. Карнова, ч. 1, стр 391, 409, 466.

\*\*) Mullach, Fragm. phil. graec. 1869. p. 357.

достовѣрности эмпирическаго познанія, вызванныя идеализмомъ Платона, повидимому, исчезаютъ; чувственное познаніе поставляется первымъ источникомъ истиннаго знанія и критерiemъ истины\*). Но это воззрѣніе не могло надолго удержаться предъ разлагающимъ древнюю философію напоромъ постепенно усиливавшагося скептицизма. Стоявшиe преимущественно на эмпирической-же почвѣ древніе скептики, особенно Енезидемъ и Секстъ Емпирікъ, высказали много серьезныхъ возраженій противъ достовѣрности чувственного познанія, которыя и впослѣдствіи въ болѣе развитомъ видѣ выставлялись въ числѣ поводовъ къ идеализму. Главнымъ аргументомъ противъ истины чувственного познанія служило для нихъ разнообразіе представленій обѣ однихъ и тѣхъ-же предметахъ соотвѣтственно различію представляющихъ субъектовъ. Если-бы представлениа отображали внѣшніе предметы такъ, какъ они на самомъ дѣлѣ суть, то они у всѣхъ должны-бы быть одинаковы. Между тѣмъ мы видимъ, чтольному вещи представляются иначе, чѣмъ здоровому, дитяти иначе, чѣмъ взрослому, каждому животному иначе, чѣмъ человѣку и чѣмъ другому животному. Напр. то, что одному животному, по его относительно малой величинѣ кажется большимъ, то для другаго, большаго,—малымъ; что для одного кажется вкуснымъ, то для другаго не вкуснымъ, что для одного гладкимъ, то для другого шероховатымъ и т. д. Спрашивается, въ чѣмъ-же ручательство, что только представ-

\*) Тѣ и другіе думали найти истину путемъ эмпирическаго познанія. Отъ возникающаго въ наст., вслѣдствіе матеріального впечатлѣнія, образа или представлениа зависитъ, по мнѣнію Стойковъ, понятіе, такъ какъ оно возникаетъ отъ соединенія нашимъ разумомъ представлений; отъ понятій зависитъ познаніе (наука), такъ какъ оно происходитъ чрезъ соединеніе понятій. Основной элементъ знанія — представлениe должно происходить отъ дѣйствительно существующаго предмета и ему соотвѣтствовать; тогда оно есть ионимаемое или истинное представлениe (*φαντασία καταληπτική*). Критеріемъ для определенія, дѣйствительно-ли существуетъ предметъ и соотвѣтствуетъ ли ему представлениe, служить чувственная ясность или соединенная съ представлениемъ сила убѣдительности (*έναργεια*). Епікурейцы сводятъ истинное или правильное познаніе къ прямому или не прямому, утверждающему или отрицающему свидѣтельству внѣшнихъ чувствъ. Свидѣтельство чувствъ всегда и само по себѣ достовѣрно; не чувства обманываютъ человѣка, а его сужденіе. Что представлениe даетъ намъ вполнѣ вѣрное понятіе о вещи, они объясняли тѣмъ, что оно есть не что иное, какъ матеріальный образъ, отдѣляющийся отъ предста-та (*εἴδολον*) и входящій въ нашу душу.

ления человѣка, и притомъ здороваго человѣка, мы должны признавать истинными, а всѣ другія пѣтъ? Не правильнѣе ли думать, что для каждого индивидуума только *кажется* вѣрнымъ то представлѣніе о вещахъ, какое онъ имѣеть соотвѣтственно субъективнымъ условіямъ своей организаціи, а имѣеть-ли понятіе о дѣйствительныхъ предметахъ и ихъ свойствахъ, это въ высшей степени сомнительно.

Въ новой философіи мысль о несоотвѣтствіи нашего чувственного познанія дѣйствительности выясняется постепенно больше и больше и находитъ своихъ защитниковъ въ рядахъ не только философовъ болѣе или менѣе склонныхъ къ идеализму, но и среди эмпириковъ. Декартъ ясно различаетъ въ нашихъ представлѣніяхъ элементы субъективный и объективный. Онъ полагаетъ, что хотя представлѣніямъ вообще соотвѣтствуютъ предметы, но не всему въ представляемому нами соотвѣтствуетъ реальное вѣнѣ насть. Масштабомъ для отदѣленія въ представлѣніи истинно объективного и имѣющаго только субъективное значеніе Декартъ признаетъ большую ясность, съ какою сознается нами первое. По этому масштабу онъ признаетъ реальными представлѣнія: величины, фигуры, движения, положенія, протяженія и числа, потому что все это можетъ быть ясно познано; но онъ отказываетъ въ реальности представлѣніямъ цвѣта, ощущеніямъ слуха, вкуса и пр. Хотя послѣднія свойства мы воспринимаемъ, какъ свойства ощущаемаго предмета, но что они суть вѣнѣ самыхъ вѣщахъ, мы не можемъ опредѣлить съ точностью. Отсюда уже видно, что въ нашемъ представлѣніи предмета не все реально, и что только закоренѣлый отъ самаго младенчества предразсудокъ является виною того, что мы думаемъ, будто *все* ощущаемое нами должно существовать и вѣнѣ насть, въ вѣщахъ точно также, какъ мы знаемъ или ощущаемъ его или даже сходно съ тѣмъ\*).

Подобнымъ-же образомъ, только еще опредѣленнѣе указаны отношенія нашего чувственного познанія къ вѣщамъ у философа, по направленію противуположнаго Декарту,—у Локка. Локкъ дѣлить свойства, которыя мы обыкновенно приписываемъ вѣщамъ, на два класса: первичныя и вторичныя. Къ первымъ принадлежать слѣдующія пять свойствъ: плотность,

\* ) Princ. phil. 1 §. 67, 68, 70.

протяженіе, движеніе (и покой), число и фигура. Эти свойства всегда и неизрѣвно соединены съ тѣлами, хотя бы послѣднія и измѣнялись. Сколько напр. мы ни станемъ раздроблять хлѣбное зерно, даже и тогда, когда оно станетъ невидимымъ для невооруженнаго глаза, частицы его сохранятъ плотность, протяженіе, фигуру и пр. Итакъ въ этихъ пяти свойствахъ мы имѣемъ дѣйствительныя отображенія вещей, первоначальные образцы которыхъ существуютъ реально въ самыхъ предметахъ. Всѣ-же прочія, такъ называемыя вторичныя свойства и качества предметовъ, напр. ихъ цвѣта, запахъ, вкусъ и пр., на самомъ дѣлѣ въ вещахъ не существуютъ, какую-бы реальность по недоразумѣнію мы имъ ни приписывали. Въ самыхъ вещахъ мы, имѣя въ виду подобного рода ощущенія, можемъ признать только „способности“ возбуждать или производить подобного рода ощущенія. Эти способности основываются на извѣстныхъ свойствахъ вышеуказанныхъ первичныхъ свойствъ и ими производятся. Свѣта и жара точно также нѣтъ на самомъ дѣлѣ, какъ нѣтъ состоянія непріятности или болѣзни; что въ нашемъ представлениі кажется сладкимъ, голубымъ или теплымъ, то на самомъ дѣлѣ, въ вещахъ, есть только извѣстное видоизмѣненіе мѣры, фигуры, движенія въ элементарныхъ частицахъ тѣла. Эти видоизмѣненія намъ совершенно не доступны и мы не можемъ знать, какая фигура или какое расположеніе частичекъ въ предметѣ производить ощущеніе, напр. желтаго цвѣта, сладкаго вкуса или рѣзкаго звука, точно также какъ не можемъ знать, какимъ образомъ вообще первичныя свойства могутъ производить въ настѣ ощущенія вкуса, цвѣта или звука.

Нельзя не видѣть, что даже эмпирическая философія, какова Локка, должна была сдѣлать значительныя уступки идеализму; этими уступками не замедлилъ воспользоваться Беркли въ пользу рѣшительнаго идеализма. Прежде всего, онъ находить непослѣдовательнымъ, что изъ числа внѣшнихъ впечатленій одни признаются реальными, другія нѣтъ; онъ нападаетъ на установленное Локкомъ различіе первичныхъ и вторичныхъ качествъ. По мнѣнію Беркли, фигура, протяженіе, движеніе и проч. имѣютъ точно такое-же значеніе, какъ цвѣта, тоны, вкусы и т. п.; они существуютъ только въ нашемъ представлениі и *что* соотвѣтствуетъ имъ вѣнчашъ,

даже соответствуетъ-ли что-нибудь, мы не можемъ определить никакимъ образомъ. Дѣло не въ томъ, что эти, называемыя Локкомъ первичными, свойства принадлежать всѣмъ вообще предметамъ и пребываютъ при всѣхъ ихъ измѣненіяхъ; это еще не свидѣтельствуетъ въ пользу ихъ реальности; для этого нужно, чтобы и представлениа о нихъ оставались всегда одними и тѣми-же; но этого, очевидно, не бываетъ. Поэтому и считать представлениа даже первичныхъ качествъ отображеніями вещей, какъ онѣ суть, значитъ, какъ указали на то еще древніе скептики, запутаться въ противорѣчіяхъ; потому что въ такомъ случаѣ мы, вопреки логикѣ, одному и тому-же предмету, въ одномъ и томъ-же отношеніи, должны будемъ приписывать различные, даже противоположныя свойства. Такъ напримѣръ у каждого животнаго органы чувствъ устроены и приспособлены къ его нуждамъ. Можемъ-ли мы допустить, чтобы нога, напримѣръ, ничтожной москѣ, которая кажется намъ едва примѣтною, представлялась точно такою-же и для самаго животнаго, которому она принадлежитъ? Конечно, пѣтъ; она должна ему казаться чѣмъ-то довольно большимъ и каждому животному опять иначе, различной величины, соответственно его росту. Итакъ, какая-же изъ этихъ различныхъ величинъ есть истинная и дѣйствительная? Не должны-ли мы сказать, что нога москѣ и велика и мала,—въ чёмъ и заключается противорѣчіе. Точно также и по отношенію къ намъ самимъ: мы различнымъ образомъ воспринимаемъ, напримѣръ, величину и протяженность предметовъ, судя по тому, отдаляемся-ли отъ предмета въ двое, въ десять, во сто разъ; тоже самое имѣеть мѣсто и по отношенію къ фігурѣ и движению. Изъ всего этого видно, что ни посредствомъ первичныхъ, ни черезъ вторичныя свойства мы не можемъ узнать, соответствуетъ-ли нашимъ представлениямъ о вещахъ что-либо реальное вѣнѣнастъ. Да и сами по себѣ представлениа о материальныxъ вещахъ, какъ впечатлѣнія или отраженія этихъ вещей въ нашемъ духѣ, невозможны; ибо какимъ образомъ материальное могло-бы дѣйствовать на существо нематериальное? Ни матерія не можетъ дѣйствовать на духъ, потому что, не имѣя сама представлений, не можетъ сообщать ихъ и чему-либо другому; ни духъ не можетъ воспринимать въ себя чего-либо

матеріального. Заключеніе изъ всего этого у Берклей то, что реально такъ называемаго материального міра не существуетъ; а находящіяся въ нась представленія о внѣшнихъ предметахъ суть дѣйствія на нась другой, высшей нась, чисто духовной силы, именно Божества.

Какъ Берклей послѣдовательнѣе провелъ начала идеалистического воззрѣнія, какія нашелъ у Локка, такъ точно Спиноза и Лейбницъ рѣшительнѣе провели еще колеблющіяся у Декарта взглядъ на значеніе нашего чувственного познанія. По ученію Спинозы, чувственное познаніе (*imaginatio*) стоитъ на самой низшей степени и даетъ не адекватныя вещамъ понятія о нихъ, такъ какъ бытіе представляется здѣсь не какъ единое вѣчное и неизмѣнное (*sub specie aeternitatis*), но какъ раздѣльное и измѣнчивое \*). По мнѣнію Лейбница, истинно существующее есть только простое, невещественное, то, что онъ называетъ монадами; монады не имѣютъ никакого протяженія, фигуры или другихъ свойствъ, какія мы обыкновенно приписываемъ тѣламъ. Если же монады не протяжены и невещественны, то не могутъ имѣть въ дѣйствительности этихъ свойствъ и группы монадъ, сдерживаемыя извѣстными центральными монадами,—группы, которыя мы называемъ тѣлами. Отсюда: „ничто не можетъ быть протяженнымъ въ своемъ истинномъ существованіи“. Всякая протяженность есть нѣчто не дѣйствительно существующее, а только кажущееся такимъ; явленіе протяженности происходитъ отъ того, что наши чувственныя представленія темны и спутаны, такъ какъ не могутъ обнимать раздѣльно большое множество очень малыхъ актовъ. Здѣсь происходитъ тоже явленіе, какое бываетъ напримѣръ при представленіи зеленаго цвѣта, который кажется намъ простымъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ слагается изъ двухъ цвѣтовъ: желтаго и синяго; или напримѣръ при представленіи быстро вертяща-

---

\*) Впрочемъ взглядъ Спинозы на значеніе чувственныхъ представленій не довольно ясенъ. Напримѣръ: Eth. p. pr. 16: *Idea cuiusque modi, quo corpus humatum a corporibus externis afficitur, involvere debet naturam corporis humani et simul naturam corporis externi. Corol. 2. Ideae, quas corporum externorum habemus, magis nostri corporis constitutionem, quam corporum externorum naturam indicant.*

гося колеса, когда раздѣльныя спицы сливаются въ одинъ кругъ.

Но не одни философы съ опредѣленнымъ идеалистическимъ направлениемъ, каковы: Берклей, Спиноза, Лейбницъ, вооружались противъ достовѣрности чувственного познанія. Къ такому же заключенію анализъ этого познанія приводить часто и рѣшительныхъ сенсуалистовъ. По Гоббсу, реально существующими и постоянными свойствами вещей мы должны признать только тѣ, за уничтоженіемъ которыхъ перестаетъ существовать самое тѣло,—это протяженіе и фигура. Всѣ прочія свойства, каковы: покой, движение, цвѣтность, плотность и т. п. могутъ измѣняться, тогда какъ тѣ существуютъ; поэтому онѣ не реальны и не тѣлесны и составляютъ только способы познанія, посредствомъ которыхъ мы воспринимаемъ тѣла; онѣ не имѣютъ предметности, но суть извнутри нашего я происходящія движенія\*). По мнѣнію Кондильяка, не только различныя свойства вещей, „но и протяженіе мы воспринимаемъ только въ нашихъ собственныхъ ощущеніяхъ, изъ чего слѣдуетъ, что мы не видимъ тѣлъ, какъ они сами по себѣ суть. Можеть быть они и дѣйствительно протяжены, имѣютъ какой-либо вкусъ, звукъ, краску, запахъ, а можетъ быть и ничего изъ всего этого. Я не утверждаю ни того, ни другаго; я ожидаю только, чтобы мнѣ представили доказательства, что тѣла суть то, чѣмъ они намъ являются, или нечто другое. Но если-бы даже не было и никакого протяженія, то это не давало-бы еще намъ права отвергать самое существованіе тѣлъ. Все, что разумнымъ образомъ можно-бы и должно заключить отсюда, было-бы только то, что тѣла суть предметы, которые возбуждаютъ во мнѣ ощущенія и имѣютъ свойства, о которыхъ мы не можемъ знать ничего опредѣленного“\*\*).

Такъ мало-по-малу съ разныхъ сторонъ подрывалась въ новой философіи твердо признаваемая непосредственнымъ сознаніемъ достовѣрность чувственныхъ представлений. Кантъ повелъ дѣло идеализма по отношенію къ чувственному познанію гораздо дальше. Открывши въ каждомъ представленіи

\* ) О Гоббсѣ, см. Lange, Gesch. d. Materialismus I. 246, 248.

\*\*) О Кондильякѣ.—Beneke, Metaph. 58.

два элемента,— субъективный, принадлежащий нашей познавательной силѣ, и объективный, приносящий въ нашу душу впечатлѣніе отъ предмета, онъ на этомъ основаніи отвергъ соотвѣтствіе нашихъ представлений дѣйствительности. Что есть нѣчто вѣнѣ наскъ, производящее на насъ впечатлѣніе, это несомнѣнно; но несомнѣнно также и то, что производимое впечатлѣніе не есть точное отображеніе предмета, такъ какъ оно слито съ элементомъ субъективнымъ, съ формами пространства и времени, принадлежащими нашей чувственно-познающей способности, а не самимъ предметамъ; вещей самихъ по себѣ мы не знаемъ. Но этого мало; Канту показалось какъ-бы неподѣдовательностью идеализма, что онъ до сихъ поръ простирался только на представленія вѣнѣшнихъ чувствъ,— на представленія предметовъ вѣнѣшняго міра. Самая воззрѣнія внутренняго чувства,— представленія нашихъ психическихъ актовъ и состояній, заключаютъ въ себѣ туже двойственность элементовъ: субъективного и объективного, такъ какъ и они возможны только подъ условиемъ приложенія къ нимъ субъективного воззрѣнія: времени. Слѣдовательно, и въ представленіяхъ внутренняго чувства точно также, какъ и въ представленіяхъ чувствъ вѣнѣшнихъ, мы не познаемъ вещей, какъ они сами по себѣ суть. Внутреннее восприятіе точно также, какъ и вѣнѣшнее чувство, даетъ намъ только одни *феномены*, т. е. познанія о предметахъ, какъ они намъ являются или кажутся при субъективныхъ условіяхъ нашего познанія, а не какъ они сами по себѣ суть. Итакъ, по мнѣнію Канта, бытіе дѣйствительное одинаково недоступно нашему познанію, какъ по отношенію къ міру вѣнѣшнему, такъ и по отношенію къ внутреннему міру психическихъ явлений.

Но даже и при такомъ расширѣніи идеалистического воззрѣнія былъ возможенъ шагъ еще дальше. Кантъ вмѣстѣ съ познающимъ субъектомъ оставилъ еще и познаваемый объекѣтъ, какъ нѣчто дѣйствительно существующее вѣнѣ наскъ, но только недоступное нашему познанію, потому что оно создается не въ своей объективной чистотѣ, но въ смѣшаніи съ субъективными формами, налагаемыми на него нашимъ познаніемъ. Вещь сама по себѣ была для него неопределеннымъ *x*, которое для насъ совершенно неизвѣстно, но существование котораго вѣнѣ всякаго сомнѣнія. Кантъ прямо называлъ

скандаломъ здраваго смысла и философіи то, что она признаетъ существованіе предметовъ, внѣ наась находящихся, на вѣру и что когда кто-нибудь начинаетъ сомнѣваться въ томъ, она не въ силахъ представить никакого достаточнаго доказательства въ пользу этой увѣренности; поэтому онъ старался даже найти такое доказательство \*). Но никакое подобнаго рода доказательство не могло быть удачнымъ, какъ скоро все разнообразіе внѣшнихъ представленій вовлекалось въ субъективный кругъ нашего *я*, какъ скоро самыя категоріи бытія, небытія, внутренняго, внѣшняго, причины, дѣйствія, объявлялись субъективными формами нашего разсудка. Съ другой стороны, то неизвѣстное *x*, которому одному приписывалась дѣйствительность, какъ внѣшнему мотиву нашихъ представлений, было слишкомъ безсодержательно, пусто и ничтожно, чтобы слѣдовало дорожить имъ и отстаивать его право на самостоятельность. Оно и дѣйствительно, какъ нѣчто совершенно ненужное для объясненія нашего познанія и не дающее для него никакого положительнаго содержанія, было скоро отброшено въ системахъ слѣдовавшихъ за Кантомъ философовъ — Фихте и Гегеля, у которыхъ отрицаніе реальности внѣшняго міра и истины чувственнаго познанія о немъ достигло крайнихъ предѣловъ, разрѣшившись въ полный, абсолютный идеализмъ. Неизвѣстнос *x*, — міръ внѣшній, какъ бытіе самостоятельное, у нихъ исчезаетъ; то, что мы называемъ предметами внѣшними, по мнѣнию Фихте, есть только самоограниченіе нашего *я*, — границы, которая оно само себѣ полагаетъ. Для Гегеля бытіе чувственное, конкретное, есть бытіе не истинное, кажущееся (*Schein*), отрицательный моментъ бытія истиннаго. Но и не зависимо отъ крайностей идеализма мысль о несоответствіи чувственнаго познанія о вещахъ подлинному бытію ихъ, постепенно выяснявшаяся въ теченіе вѣковъ въ философскомъ мірѣ, въ паше время въ той или иной формѣ раздѣляется почти всѣми философами, не смотря на различіе ихъ направленій. Здѣсь сходятся идеалисты Шопенгауеръ и реалисты Гербартъ, новѣйшиe ново-кантіанцы (на-примѣръ Лянге) и философствующие естествоиспытатели, ка-

---

\*.) „Критика чистаго разума“, пер. Владиславлева; предисл. ко второму изданію, стр. XXX и сл.

ковы, напримѣръ: I. Мюллеръ, Дюбуа—Реймонъ, Гельмгольцъ и др. Въ виду этого можно пожалуй согласиться съ замѣчаніемъ одного философа, что „положеніе: эмпиріческій міръ есть феноменъ нашего сознанія, въ настоящее время принадлежитъ къ числу loci communes философіи“ \*).

Мы прослѣдили по всей почти исторіи философіи постепенное развитіе того воззрѣнія на чувственную дѣйствительность, которое можно назвать идеалистическимъ, хотя оно, какъ мы видѣли, вовсе не составляетъ исключительной принадлежности только философовъ-идеалистовъ, но встрѣчается и у мыслителей совершенно иного направленія, каковы, напримѣръ, въ древности атомисты и скептики, въ новой философіи Локкъ, Гоббсъ и Кондильякъ. Самая устойчивость этого воззрѣнія и авторитетъ философовъ болѣе или менѣе склонявшихся къ нему, ясно показываютъ, что есть какіе нибудь очень важные и сильные мотивы, заставлявшіе философскую мысль относиться подозрительно къ такой для непосредственнаго сознанія очевидной истинѣ, какъ достовѣрность бытія и познанія находящихся вънѣ насъ предметовъ, и допускать воззрѣніе на вѣнчшнюю дѣйствительность, столь рѣзко противоположное обычному мнѣнію о ней, какое встрѣчаемъ, напримѣръ, и у идеалистовъ.

Поэтому мы должны теперь внимательнѣе пересмотрѣть эти мотивы, подвергнуть анализу наши представленія о вѣнчшнемъ мірѣ, чтобы опредѣлить истинное значеніе нашего познанія о немъ.

Прежде всего замѣтимъ, что если-бы даже у насъ не было никакихъ поводовъ сомнѣваться въ объективной вѣрности нашихъ чувственныхъ представлений, если-бы мы предположили, что вѣнчшіе предметы отражаются въ нашемъ сознаніи такъ чисто и точно, какъ въ зеркалѣ, то и въ такомъ случаѣ мы выразѣ были-бы заподозрить абсолютную вѣрность познанія, получаемаго нами при помощи чувствъ о вѣнчшемъ мірѣ. Положимъ, наша душа есть вѣрное зеркало вѣнчшняго міра; однако же зеркало даетъ только нѣчто отъ предмета и притомъ немногое, — вѣнчшній его обликъ. Этотъ обликъ далеко не исчерпываетъ всегда содержанія предмета, всѣхъ его свойствъ;

\* ) Liebmann, Zur Analysis d. Wirklichkeit. 1876, p- 36.

по отношению къ этимъ свойствамъ, къ богатству содержания дѣйствительного предмета, онъ даетъ очень скучное и одностороннее познаніе. Если теперь предположимъ, что и наши чувства суть не что иное, какъ своего рода зеркало для отображенія разныхъ сторонъ внѣшней дѣйствительности, то наскѣ никакъ не можетъ оставить мысль, что эта дѣйствительность на самомъ дѣлѣ несравненно богаче содержаніемъ, чѣмъ отраженный, хотя-бы то и вѣрный образъ ея въ нашей душѣ, что наше эмпирическое познаніе обнимаетъ собою только обликъ міра видимаго, а не самое существо его. Но на самомъ дѣлѣ такое воззрѣніе на отношеніе нашего чувственного познанія къ дѣйствительности не можетъ быть принято. Образъ внѣшняго міра не есть точное, хотя-бы то и неполное отображеніе его. Самый этотъ образъ слагается изъ двухъ элементовъ: субъективнаго, намъ принадлежащаго, и объективнаго, привходящаго отнѣ путемъ впечатлѣнія. Внѣшніе предметы не влетаютъ цѣликомъ въ нашу душу, не отражаются въ ней, какъ въ безчувственномъ зеркалѣ, и не рисуются, какъ на фотографической пластинкѣ. Чтобы ощущать, — знать ихъ, мы сами должны при этомъ нѣчто сдѣлать, должны приложить нашу собственную силу къ образованію воззрѣнія или представлениія. Вслѣдствіе приложенія этого субъективнаго элемента къ образованію эмпирическихъ представлений, эти представлениія совершенно справедливо и точно называются актами психическими, а не отраженіями только или отисками предметовъ въ нашей душѣ.

Такой общий характеръ нашего познанія уже самъ по себѣ дѣлаетъ очень подозрительною полную объективность нашего представлениія о внѣшней дѣйствительности. Если наше познаніе дѣйствительно слагается изъ двухъ элементовъ — внутренняго и внѣшняго, то мы имѣемъ передъ собою не предметы, какъ они сами по себѣ суть, но произведеніе двухъ фактovъ: субъективнаго и объективнаго, — произведеніе, не дающее въ чистомъ и настоящемъ видѣ ни того, ни другаго.

Чтобы выяснить справедливость этого вывода относительно нашего чувственного познанія, мы должны теперь прослѣдить въ немъ этотъ субъективный элементъ, препятствующій полной его объективности. Для этой цѣли достаточно будетъ

подвергнуть анализу тотъ актъ эмпирическаго познанія, который, повидимому, имѣеть самое близкое отношеніе къ виѣшней дѣйствительности и представляетъ ея предметы съ наибольшею точностью,—говоримъ о воспріятіи или *воззрѣніи*. Что въ образованіи *понятій* о виѣшнихъ предметахъ принимаетъ много участія субъективная дѣятельность нашего разсудка, отвлекающаго и обобщающаго только нѣкоторыя существенные черты отъ представлений, это ясно. Что слѣдующій за понятіемъ второй, низшій актъ эмпирическаго познанія,—*представленіе*, также много зависитъ въ своемъ образованіи отъ субъективной дѣятельности познавательной силы, обобщающей въ немъ частныя впечатлѣнія отъ предметовъ и объединяющей ихъ въ одинъ цѣльный образъ,—это также ясно. Но вотъ мы имѣемъ передъ собою третій, самый первоначальный актъ познанія, который, повидимому, даетъ намъ самое чистое отображеніе виѣшнихъ предметовъ,—это непосредственное чувственное *воззрѣніе*. Что чувственное воззрѣніе передаетъ намъ точнѣе, живѣе, истиннѣе виѣшній объектъ, чѣмъ первые два акта познанія, въ этомъ, повидимому, рѣшительно убѣждено наше непосредственное сознаніе. Не говоримъ о понятіи, какъ болѣе далекомъ отъ дѣйствительности продуктѣ нашего познанія; если сравнимъ воззрѣніе съ представленіемъ, то легко замѣтимъ, что они хотя даютъ намъ одинъ и тотъ-же предметъ, но не въ одинаковомъ видѣ и не въ одинаковой точности. Иное дѣло, смотримъ-ли мы непосредственно на предметъ или представляемъ его, когда самаго предмета нѣть уже передъ глазами. Въ первомъ случаѣ мы говоримъ, что видимъ предметъ яснѣе, точнѣе, вѣрнѣе,—и чѣмъ больше смотримъ на предметъ, тѣмъ больше обогащается наше представленіе о немъ. И хотя-бы мы смотрѣли на него безчисленное множество разъ, никогда наше представленіе не уравняется съ предметомъ; никогда въ нашемъ представленіи онъ не будетъ существовать такъ живо и отчетливо, какъ въ воззрѣніи; всегда будетъ различие между представленіемъ и воззрѣніемъ относительно предполагаемой адекватности ихъ и близости къ виѣшней дѣйствительности.

Но дѣйствительно-ли въ воззрѣніи мы воспринимаемъ предметы вѣрно и точно? Дѣйствительно-ли въ немъ нѣть уже

того субъективного элемента, который дѣлаетъ подозрительнымъ полное соотвѣтствіе дѣйствительности понятія и представленія? На первый разъ можетъ показаться, что познаніе внѣшнихъ предметовъ въ чувственномъ воззрѣніи есть самосточное познаніе ихъ, потому что оно еще ничего не откинуло отъ предмета и ничего не прибавило къ нему (какъ въ представлениі и понятіи), но имѣеть его передъ собою во всей объективной истинѣ. Но ближайшій анализъ разувѣряетъ насъ въ этомъ.

Что мы почитаемъ объективнымъ, получаемымъ отъ предмета въ воззрѣніи? Прежде всего, различная физическая свойства предметовъ, воспринимаемыя посредствомъ различныхъ органовъ чувствъ, напр. цветъ, запахъ, вкусъ, звукъ предмета, его плотность, форму, величину и пр. Затѣмъ мы отличаемъ извѣстное объединеніе этихъ свойствъ въ одно цѣлое, отдѣльное отъ другихъ цѣлостей,—отличаемъ одинъ предметъ отъ другаго, какъ этотъ именно, а не другой. Такое отличие, также какъ и физическая свойства, мы считаемъ принадлежащимъ самой дѣйствительности; мы говоримъ, что реально существуютъ отдѣльные *предметы* въ насъ.

Но имѣемъ-ли мы основаніе и право замѣчаемыя нами свойства предметовъ, а затѣмъ и самые отдѣльные предметы считать чѣмъ-то реальнымъ, въ насъ находящимся?

Сначала о такъ называемыхъ физическихъ свойствахъ предметовъ.

Мы видѣли, что уже въ древности, на основаніи одного простаго наблюденія, некоторые философы (скептики) приходили къ сомнѣнію относительно объективного характера тѣхъ свойствъ, какія мы приписываемъ внѣшнимъ предметамъ. Они замѣчали напр. случаи, когда то, что одному кажется сладкимъ, другому (напр. при разстройствѣ печени) представляется горькимъ, что для страдающаго желухою предметы кажутся желтыми, что одинъ и тотъ-же предметъ кажется и большимъ и малымъ, судя по близости его или удаленности отъ насъ, или отъ различія въ величинѣ воспринимающаго субъекта и т. п. Отсюда для нихъ естественно возникало сомнѣніе: вкусъ, цветъ, величина предметовъ, есть ли что-либо принадлежащее предметамъ или извѣстное только отношеніе къ нимъ нашего воспринимающаго организма? Но

то, что оставалось только подъ сомнѣніемъ для древнихъ скептиковъ, перешло въ несомнѣнную истину въ новой философіи, благодаря болѣе глубокому психологическому анализу чувственныхъ впечатлѣній,—анализу, которому въ новѣйшее время пришли на помощь, вполнѣ подтверждающія его, физиологическая наблюденія. Мы не станемъ здѣсь въ подробности излагать этого анализа, которому мѣсто въ эмпирической психологіи. Укажемъ только на окончательные выводы его въ примѣненіи ихъ къ вопросу о достовѣрности чувственныхъ нашихъ воззрѣній.

Чувство осозанія въ двухъ его формахъ, какъ чувство температуры и какъ осозаніе въ точномъ смыслѣ слова, даетъ намъ понятіе о теплѣ и холодѣ, о гладкости и шероховатости, о твердости и мягкости предметовъ. Но имѣютъ ли реальную значимость эти свойства, приписываемыя нами вещамъ, внѣ ощущающаго субъекта? Мы въ полной увѣренности въ объективномъ значеніи познаваемаго нами свойства предмета говоримъ: такой-то предметъ горячъ, холоденъ. Но на самомъ дѣлѣ оказывается, что тепло и холодъ суть только субъективныя ощущенія нашего организма, зависящія отъ состоянія нашей крови, нервовъ, кожи. Въ лихорадкѣ мы зябнемъ или чувствуемъ жаръ, между тѣмъ какъ человѣкъ здоровый не чувствуетъ ни того, ни другаго. Вообще, что касается до степени тепла и холода, то въ опредѣленіи ихъ играетъ главную роль субъективное состояніе нашего ощущающаго организма, такъ что, собственно говоря, въ природѣ нѣтъ ни горячаго, ни холоднаго и, говоря объ этихъ свойствахъ вещей, мы на самомъ дѣлѣ говоримъ лишь о нашихъ собственныхъ ощущеніяхъ. Мы называемъ далѣе предметы гладкими, шероховатыми; но подъ микроскопомъ самый гладкій предметъ оказывается очень шероховатымъ и неровнымъ; да и обыкновенное осозаніе при известной нѣжности кожи можетъ находить шероховатымъ то, что для другаго кажется гладкимъ. Гладкость и шероховатость, такимъ образомъ, не свойства вещей самихъ по себѣ, по известнымъ отношеніямъ ихъ къ нашему осозанію. Наиболѣе реальнымъ представляется намъ изъ свойствъ, познаваемыхъ осозаніемъ, свойство плотности или твердости предмета. Это свойство кажется намъ до такой степени реальнымъ, что мы готовы считать его вѣрнейшимъ критеріемъ достовѣрности внѣш-

няго бытія; что мы ощупали, въ чёмъ осязательно убѣдились, то несомнѣнно кажется таковимъ, каково оно есть. Но и здѣсь новѣйшія наблюденія показали сильное присутствіе субъективнаго элемента, такъ какъ въ сужденіе наше о плотности или твердости предмета необходимо входитъ субъективное ощущеніе, такъ называемаго, мышечнаго нашего напряженія. Среда, въ которой движеніе (напр. нашей руки) требуетъ наименьшаго усиленія, представляется намъ пустою; среда, движеніе въ которой требуетъ усиленія,— болѣе или менѣе наполненною, плотною, судя по степени нашего усиленія, такъ что не будь въ нась внутренняго ощущенія мускульнаго усиленія, для нась не существовало-бы представлениія о плотномъ и неплотномъ.

Свойства вещей, о которыхъ мы получаемъ понятія посредствомъ чувствъ обонянія и вкуса, также въ сущности суть субъективныя наши ощущенія, условливаляемыя раздраженіемъ оболочекъ носовой полости и языка; въ дѣйствительности вещи сами по себѣ ни горьки, ни сладки, ни пахучи.—При помощи слуха мы воспринимаемъ звукъ различныхъ тѣлъ. Но что такое звукъ? Звукъ самъ по себѣ есть ни что иное, какъ извѣстный родъ движенія, называемый вибраціею или дрожаніемъ тѣла. При помощи самыхъ точныхъ опытовъ наука вычислила отношеніе между числомъ колебаній или дрожаній звучащаго тѣла и высотою воспринимаемаго звука. Дрожательное движение тѣла посредствомъ воздуха, который и самъ есть вибрирующее тѣло, доходитъ до уха, органа искусно устроенного для того, чтобы собирать и передавать воздушныя вибраціи акустическому нерву. Здѣсь только прискрашается механическій звукъ и замѣняется звукомъ ощущенія,—звукомъ въ собственномъ смыслѣ; движение здѣсь преобразуется въ ощущеніе. Но есть-ли какое-нибудь сходство между движениемъ и его ощущеніемъ, называемымъ звукомъ? До того самого момента, пока акустический нервъ не началъ дѣйствовать, вибрь нась несть ничего подобнаго звуку, а есть только вибрационное движение тѣла, такъ что если мы на мгновеніе предположимъ, что слушающій исчезъ, что нервъ, способный воспринимать звукъ, уничтоженъ или парализованъ, что несть на землѣ никакого живаго существа, способнаго слышать, то не будетъ вибрь нась рѣшительно ничего, что имѣло-бы какое бы то ни было сходство съ тѣмъ, что мы называемъ звукомъ; все погрузилось-бы въ мертвое молчаніе.

Самымъ обычнымъ и самымъ достовѣрнымъ источникомъ нашихъ свѣдѣній о виѣшней дѣйствительности мы почитаемъ важнѣйшее изъ чувствъ,—зрѣніе. Не напрасно окружающей насъ міръ называется *видимымъ міромъ* по преимуществу. Но наука показала, что и даныя чувства зрењія — различные оттѣнки цвѣта и цвѣтовъ, также субъективны, какъ и даныя чувства слуха. То, что существуетъ на самомъ дѣлѣ виѣ нась и что для насъ является свѣтомъ, имѣетъ ближайшее сходство съ тѣмъ, что производитъ звукъ; но оно также мало имѣетъ сходства съ нашими ощущеніями свѣта, какъ и съ ощущеніями звука. Это существующее въ дѣйствительности, какъ причина свѣтовыхъ ощущеній, есть тоже своеобразное движеніе, таже вибрація тѣлъ, отличающаяся отъ звуковой, кромѣ своей быстроты, тѣмъ, что она передается намъ не черезъ дрожаніе волпъ воздуха, но черезъ дрожаніе болѣе тонкой эластической среды—ээира \*). Отсюда видно, что виѣ ощущающаго субъекта, виѣ глаза, который видѣть, свѣтъ есть не что иное, какъ колебательное движеніе вещества; свѣтовое ощущеніе есть не болѣе, какъ субъективный феноменъ, который можетъ имѣть мѣсто только въ организованныхъ и имѣющихъ глаза существахъ и исчезаетъ вмѣстѣ съ ними. Но наука идетъ еще дальше; она не безъ основаній предполагаетъ, что и ощущенія тепла и холода суть не болѣе, какъ субъективный отзвукъ на то-же дрожательное движеніе матеріальныхъ частицъ, какъ свѣтъ и звукъ. Повидимому, что можетъ быть различнѣе, какъ эти два разряда феноменовъ?

---

\*) Различіе тоновъ, какіе можетъ воспринимать наше ухо, заключается между 20 и 36000 колебаній въ секунду. Въ природѣ, конечно, могутъ быть колебанія и выше и ниже этихъ цифръ, но для насъ они не существуютъ, потому что мы не можемъ ихъ слышать. Колебанія волнъ ээира, чрезъ посредство котораго распространяется свѣтъ, представляютъ гораздо болѣе поченныя цифры. Такъ ощущеніе ярко-краснаго цвѣта производится въ насъ 476 билліонами колебаній въ секунду; ощущеніе темно-фіолетового цвѣта требуетъ 757 билліоновъ; ощущенія всѣхъ прочихъ цвѣтовъ заключаются въ срединѣ между этими крайними цифрами. (Подробности см. въ Empir. Psychologie v. DrbaI, p. 61—73). Нѣть никакого сомнѣнія, что есть въ природѣ колебанія ээира и выше и ниже этихъ цифръ; но мы ихъ не ощущаемъ. Но крайней мѣрѣ не ощущаемъ, какъ свѣтъ и цвѣта. Думаютъ, что лучи ниже краснаго ощущаются нами, какъ тепло, а тѣ, которые выше фіолетового или сильно преломлены, ощущаются, какъ химическое дѣйствіе.

Я могу чувствовать жаръ въ темнотѣ (напримѣръ въ рудникахъ) и холодъ при яркомъ освѣщеніи (напримѣръ въ верхнихъ слояхъ воздуха). Но не смотря на это кажущееся различіе, опыты естествоиспытателей до такой степени умножили аналогіи между свѣтомъ и тепломъ \*), что наука готова заключить къ ихъ тожеству и признать, что тепло и свѣтъ суть различныя обнаруженія одного и того-же лученія эаира; различіе ихъ можетъ происходить только отъ различія видоизмененій, какія можетъ испытывать подвергающійся дѣйствію этой вибраціи ощущающій субъектъ. Падая на зреініе, это лученіе даетъ впечатлѣніе свѣта; падая на осозаніе, даетъ впечатлѣніе совершенно иного рода \*\*).

Итакъ наблюденія надъ звукомъ, свѣтомъ, тепломъ показали намъ, что виѣ ощущающаго субъекта, въ самой природѣ нѣть ни горячаго, ни холоднаго, ни свѣта, ни темноты, ни шума, ни тишины, есть только разнообразныя движенія матеріи или того, что мы называемъ матеріею,—движенія, законы и условія которыхъ опредѣляетъ физика и которыя не имѣютъ ничего общаго съ ощущеніями, вызываемыми этими движеніями въ насъ.

Физіология здѣсь приходитъ на помощь физикѣ, чтобы доказать и съ своей стороны субъективность нашихъ ощущеній.

---

\* ) Жаръ, какъ и свѣтъ, движется по прямой линіи съ тою же скоростію; тепло также отражается, какъ и свѣтъ; подобно свѣту оно преломляется и по тѣмъ-же законамъ; оно проходить и передаётся чрезъ различныя тѣла также, какъ и свѣтъ. Какъ черезъ сложеніе (addition) двухъ токовъ свѣта можно произвести темноту, такъ точно чрезъ комбинацію двухъ источниковъ тепла можно произвести холодъ, что доказали замѣчательные опыты Меллони, Физо и Фуко. P. Janet, Materialisme contemporaine. 1864. p. 39. 40.

\*\*) „Представляются-ли намъ солнечные лучи, говорить известный физіолог Гельмгольцъ, лучами свѣта или тепла, это зависитъ единственно отъ того, ощущаемы-ли мы ихъ зрительными нервами или нервами кожи. Что-же касается до того, почему эти лучи кажутся намъ красными или голубыми, слабыми свѣтомъ или сильнымъ, жгучею или приятною теплотою, то это хотя зависитъ отъ рода самыхъ лучей, но вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ состоянія самого зрительного аппарата. Качество чувственного ощущенія никоимъ образомъ не тождественно съ качествомъ объекта, которымъ оно вызвано; въ физическомъ отношеніи оно есть только дѣйствіе виѣшняго качества на особенный первый аппаратъ и для нашего представлѣнія качество ощущенія есть только символъ, познавательный значекъ (Erkennungszeichen) объективнаго качества“. (Слова Гельмгольца—у Ульрици въ его Leib und Seele, p. 86. 87).

Здесь особенно имѣеть для насъ значение физиологической законъ такъ называемой специфической энергии каждого чувства \*). Этотъ законъ состоить въ томъ, что а) различныя чувственныя раздраженія, не смотря на ихъ различіе, ощущаются однако-же, какъ однородныя, какъ скоро ими поражается одно и тоже чувство; б) одно и тоже чувственное раздраженіе, не смотря на свое тожество, ощущается нами совершенно различно, какъ скоро оно одинъ разъ поражаетъ одно, другой разъ другое чувство. Такъ при раздраженіи зрительного нерва мы всегда чувствуемъ свѣтъ, отъ чего-бы ни происходило раздраженіе,—отъ грубо механическаго давленія или толчка на глазное яблоко, отъ воспаленія сѣтчатой оболочки, отъ разрѣза или отъ электризациіи зрительного нерва или отъ прираженія волнъ эаира, какъ именно бываетъ при нормальному свѣтовомъ раздраженіи. Точно также нашъ слухъ всегда ощущаетъ звукъ или шумъ, будетъ ли дѣйствовать на нашъ слуховой нервъ дрожаніе волнъ воздуха, передаваемое черезъ дрожаніе барабанной перепонки уха, какъ въ обыкновенномъ слышаніи, будетъ-ли раздражать и давить этотъ нервъ воспаленіе крови въ капиллярныхъ сосудахъ, или это раздраженіе будетъ произведено гальваническимъ токомъ. Съ другой стороны, тоже самое раздраженіе, идущее отъ одного и того же предмета, возбуждаетъ въ зрительномъ нервѣ ощущеніе свѣта, цвѣтовъ, блеска, въ слуховомъ нервѣ — шума или звона или извѣстнаго звука, въ нервахъ чувствованія—боли или ощущенія тепла, на языке—ощущеніе вкуса. Такъ тотъ-же самый гальванический токъ на языке ощущается, какъ кислый вкусъ, въ глазѣ, какъ красная или голубая свѣтовая полоса, нервами кожи, какъ щекотанье, слухомъ, какъ звукъ; тѣ же самыя колебанія эаира, которыя глазъ ощущаетъ, какъ свѣтъ и цвѣта, въ осязаніи возбуждаютъ ощущеніе теплоты. Вообще изъ этихъ фактовъ очевидно, что качествомъ ощущенія не есть свойство ощущаемаго объекта, но видоизмѣненіе чувства въ ощущающемъ субъектѣ. Каждый нервъ отъ природы имѣеть способность, чѣмъ-бы и когда-бы онъ ни былъ возбужденъ, отвѣтывать однимъ, совершенно опре-

\*) Открытие этого закона принадлежитъ извѣстному физиологу Іоанну Мюллеру. Liebmann, Zur Analysis d. Wirk. p. 40. 41.

дѣленнымъ классомъ ощущеній; этими и только этими ощущеніями упорно онъ отвѣчаетъ всегда и повсюду, чтѣ бы его ни раздражало, почти также, какъ натянутая струна извѣстной длины, толщины, эластичности и настроя всегда отвѣчаетъ однимъ и тѣмъ-же тономъ, ударимъ-ли мы по клавишу, проведемъ-ли смычкомъ, возьмемъ-ли ее пальцами, или она будетъ приведена въ дрожательное состояніе вѣтромъ или со-звучиемъ съ другими струнами. Совокупность нашихъ чувствъ есть какъ-бы клавіатура, на которой играетъ вѣнчаній міръ; тоны этой клавіатуры—качественно различные ощущенія возникаютъ собственно въ нашей чувственной способности и не имѣютъ ни малѣйшаго сходства съ играющими на ней со-вѣнчанными предметами; они опредѣляются самобытною натурою или специальной способностью (специфическою энергіею) каждого чувства.

Такимъ образомъ субъективность большей части свойствъ, приписываемыхъ нами вѣнчанимъ предметамъ, можно считать доказанною. Міръ, при болѣе внимательномъ анализѣ получаемыхъ отъ него впечатлѣній, вдругъ лишается именно тѣхъ свойствъ, которыя составляли всю живость, богатство и разнообразіе его явлений; богатство красокъ, цвѣтовъ, звуковъ исчезаетъ и оказывается существующимъ не вѣнч., а внутри насъ. „Чувственные ощущенія, какъ говорить одинъ изъ извѣстнѣйшихъ физіологовъ нашего времени—Гельмгольцъ, суть не образы, а только символы предметовъ и процессовъ вѣнчанаго міра; они походятъ на нихъ также мало, какъ буквы, написанныя черты или звуки произносимыхъ нами словъ—на обозначенные ими вещи; они хотя даютъ намъ свѣдѣнія объ особенностяхъ вѣнчанаго міра, но не лучше того, какъ если-бы кто-нибудь слѣпорожденному, посредствомъ словеснаго описанія, захотѣлъ дать понятіе о цвѣтахъ“ \*).

Кромѣ тѣхъ свойствъ, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, можетъ быть есть еще другія, имѣющія болѣе объективный характеръ и потому сообщающія намъ болѣе адекватное понятіе о вѣнчанемъ мірѣ? Дѣйствительно, мы знаемъ, что

\* ) Тоже воззрѣніе на свойство чувственныхъ ощущеній раздѣляютъ И. Мюллеръ, Фикъ, Рокитанскій и друг. Цитаты, сюда относящіяся, см. у Либмана въ его *Analysis d. Wirklichkeit*, 42, 43; также Ульрици, *Leib und Seele*, p. 87 et sq.

нѣкоторые философы, напримѣръ Локкъ, различали въ предметахъ два рода свойствъ: тогда какъ одни, называемыя ими вторичными (цвѣта, звуки, запахи и пр.), они признавали субъективными, относительно другихъ, называемыхъ ими первичными, утверждали, что они суть дѣйствительные свойства вещей, таковы: плотность, протяженность, фигура, движение, покой, число. Но уже Берклей замѣтилъ, что эти свойства слишкомъ тѣсно соединены въ нашемъ познаніи съ упомянутыми выше вторичными свойствами, чтобы можно было раздѣлять тѣ и другія слишкомъ рѣзкою гранью. Не входя въ подробный анализъ этихъ свойствъ, укажемъ на признаки субъективнаго элемента въ важнѣйшихъ, основывающихся на этихъ свойствахъ, представленияхъ о величинѣ, мѣрѣ, разстояніи и движеніи предметовъ.

Мы называемъ предметы большими, малыми, далекими, близкими и опредѣляемъ мѣру величины и протяженности. Но выражаемъ-ли мы подобного рода представлениемъ что-либо реальное? Величина и малость суть понятія чисто условныя, опредѣляющія не свойства предметовъ, а ихъ отношенія къ намъ. Предметъ малый для исполина и взрослого человѣка будетъ казаться большимъ для карлика и дитяти. Тотъ-же предметъ вблизи кажется большимъ, въ отдаленіи малымъ. Сравнивая далѣе человѣка съ другими ограническими существами, находимъ, что понятія величины и малости должны измѣняться соответственно условіямъ ихъ организаціи. Нога мошки, какъ говорить Берклей, для человѣка кажется чѣмъ-то ничтожно малымъ, для самой мошки довольно большимъ, а для животнаго меныше мошки (напримѣръ, для инфузорії) чѣмъ-то огромнымъ. Какая-же величина ея есть истинная и чье представлениe о ней будетъ безусловно вѣрнымъ?

То, что сказано о величинѣ предметовъ, прилагается и къ измѣренію ихъ по разстоянію и протяженію. Всѣ наши измѣренія также мало принадлежать природѣ, какъ землѣ межевые знаки и верстовые столбы, разставленные человѣкомъ на ея поверхности. Что наши представления о разстояніи принадлежать намъ, а не составляютъ отраженія дѣйствительныхъ свойствъ вещей, свидѣтельствуетъ тотъ психологический фактъ, что способность судить о разстояніи и относительномъ положеніи предметовъ приобрѣтается навыкомъ и довольно сложными

приемами психической познавательной деятельности. Дитя тягается къ лунѣ и дуетъ на отдаленный огонь, думая затушить его также легко, какъ пламя свѣчи, которую задуть ему удалось. Опыты надъ слѣпорожденными, получившими посредствомъ операциіи зрѣніе въ лѣтахъ зреѣлыхъ, показываютъ, что всѣ внѣшніе предметы отражаются въ глазѣ планиметрически, а не стереометрически, кажутся лежащими на одной плоскости, какъ-бы на картинѣ; понятія-же объ относительномъ положеніи предметовъ слѣпорожденные, также какъ и дѣти, образуютъ уже при помощи разсудка \*).

То, что мы сказали о субъективности нашихъ пространственныхъ измѣреній, можно сказать и объ измѣреніяхъ и определеніяхъ времени. Всѣ они означаютъ не дѣйствительное какое-либо качество вещей, а наше субъективное отношеніе къ нимъ. Напримеръ, мы говоримъ: теперь десятый часъ; но на самомъ дѣлѣ теперь столько-же десятый часъ, сколько первый, второй, пятый, двѣнадцатый, потому что по отношенію къ движению земного шара, обращеніе котораго около солнца мы принимаемъ за мѣру времени, всѣ часы одновременно существуютъ въ природѣ; ибо въ то время, когда у насъ десятый часъ, на другомъ пунктѣ земного шара третій, на иномъ—пятый, двѣнадцатый и т. д. Который-же часъ теперь на самомъ дѣлѣ не для насъ, а для находящейся въ насъ природы? Объективно мы имѣемъ право сказать, что всѣ часы суть въ каждый моментъ и, наоборотъ, что на самомъ дѣлѣ нѣть часовъ,—утверженія противорѣчачія, которыхъ разрушаютъ истину самаго понятія измѣренія времени \*\*).

Если-же мы скажемъ, что подобными эмпирическими пред-

\*.) Точно также отъ участія познавательной силы зависить и то явленіе, что предметы, отражающіеся на глазной сѣткѣ въ превратномъ видѣ, мы видимъ прямо, отражающіеся вдвойнѣ,—въ двухъ глазахъ видимъ какъ одинъ предметъ.

\*\*) Подобному-же анализу можно подвергнуть и другія эмпирическія представлія, въ которыхъ входитъ определеніе времени. Напримеръ: теперь день, зима и т. п. Теперь день,—но на другомъ полушаріи теперь не день, а ночь; еще въ иной точкѣ земного шара теперь сумерки, разсвѣтъ. Теперь зима,—но въ другихъ странахъ свѣта теперь не зима, а весна, лѣто или осень. Слѣдовательно, и здѣсь эмпирическое представліе не выражаетъ объективной истины и понятія: день, ночь, весна, зима и т. п. выражаютъ только наше отношеніе къ природѣ, а не реальная свойства вещей.

ставлениями мы все-таки можемъ выразить объективную истину, но для этого нужно добавить определение времени больше точнымъ определениемъ пространства, — сказать *гдѣ* какой часъ, — то и этимъ мало поможемъ дѣлу. Положимъ, мы говоримъ точнѣе: теперь *здѣсь* десятый, двѣнадцатый часъ. Но сейчасъ-же оказывается, что мы ничего этимъ не выиграли, что эта точность мнимая и что опредѣляющее понятіе мѣста также шатко, субъективно, какъ и понятіе времени. Что такое *здѣсь*, что такое *мѣсто* вообще? Не успѣли мы сказать *здѣсь*, какъ *здѣсь* уже исчезло. Принимая во вниманіе непрерывное движение земли около солнца, съ которою движемся и мы, узнаемъ, что пока мы говорили *здѣсь*, мы вмѣстѣ съ кажущимся намъ неподвижною точкою, на которой стояли, очутились не *здѣсь*, а *инуды*, за нѣсколько географическихъ миль отъ того математического пункта, где были прежде. Такимъ образомъ обозначенія, повидимому, самыя точные и реальныя, употребляемыя для определенія пространства и времени, на самомъ дѣлѣ не имѣютъ той истины, какую мы имъ приписываемъ.

Но если не реальны точные определенія времени и мѣста, то можетъ быть больше объективно то самое понятіе, которое дѣлаетъ ихъ неточными, — именно понятіе движенія. Но и *здѣсь* при ближайшемъ анализѣ мы находимъ ту-же неточность, ту-же субъективность въ определеніи того, что называть покоящимся и что движущимся. Земля намъ кажется неподвижною, а между тѣмъ она быстро движется; по отношенію къ землѣ солнце неподвижно, а по отношенію къ называемымъ неподвижными звѣздамъ также движется. Но и неподвижныя звѣзды по всей вѣроятности неподвижны только для насъ, а не сами по себѣ. Но если мы ограничимся даже земнымъ шаромъ, то увидимъ, что и *здѣсь* понятія движенія и покоя относительны. Человѣкъ, который идетъ по палубѣ плывущаго внизъ по рѣкѣ судна отъ бугшприта къ рулю (т. е. въ противоположную сторону), по отношенію къ судну находится въ движеніи, а по отношенію къ берегу можетъ быть въ покое. Шаръ, брошенный нами по направлению къ востоку, кажется намъ движущимся съ известною быстротою по этому направлению. Но если-бы онъ летѣлъ также быстро, какъ въ тоже время земля по направлению противоположному отъ востока на западъ, то для нашего глаза этотъ летящій шаръ

при обратномъ движениі земли около своей оси показался-бы покоющимся. Вообще, понятія покоя и движенія относительны и что въ извѣстномъ отношеніи кажется намъ движеніемъ, то въ другомъ есть покой.

Но какъ скоро оказались субъективными и относительными такія, повидимому, прочныя и реальныя свойства предметовъ, какъ протяженіе, величина, мѣсто, движеніе, то что-же осталось объективнаго отъ чувственнаго предмета? Не исчезаетъ-ли и самъ онъ, какъ нѣчто реальное и самостоятельное, за исчезновеніемъ всѣхъ его свойствъ? На этотъ вопросъ идеалистическая философія считаетъ себя вправѣ отвѣтить утвердительно и заключеніе о субъективности свойствъ вѣшнихъ предметовъ переносить и на самые предметы. Эти предметы и цѣлая совокупность ихъ, —чувственный міръ, для нея столь-же мало реальны, какъ и свойства ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, что мы называемъ вѣшнимъ реальнымъ предметомъ? Объединенную совокупность различныхъ качествъ и свойствъ, которыя мы предполагаемъ принадлежащими одному цѣлому, какъ чему-то постоянному и неизмѣнному. Постоянство и пре-бываемость мы считаемъ характеристическимъ признакомъ предмета, вещи, отличающимъ ихъ отъ явленія, какъ чего-то переходящаго и мимолетнаго. Но справедливо-ли это предположеніе? Есть-ли въ предметѣ что-либо постоянное, что дѣлало-бы его именно *этимъ предметомъ*, вещью, а не постоянною смѣною неуловимыхъ явлений?

Уже древній философъ Гераклитъ вѣрно опредѣлилъ сущность вѣшняго бытія формулой: „все течетъ, подобно рѣкѣ“, —т. е. въ природѣ все постоянно измѣняется и никогда нѣть ничего постояннаго. Опытъ вполнѣ подтверждаетъ это положеніе. Въ природѣ, этомъ текущемъ бытіи, нѣть ничего постояннаго, какъ бы постояннымъ что-либо ни казалось намъ. Въ каждомъ отдельномъ предметѣ непрерывно дѣйствуютъ физическіе, химическіе, а въ существахъ живыхъ, кромѣ того, органическіе процессы и постоянно измѣняютъ его, не оставляя ни на одну даже секунду такимъ, какимъ онъ былъ въ предыдущую секунду. Если что въ природѣ представляется намъ неизмѣннымъ и неподвижнымъ, то это или обманъ чувствъ, или неизмѣнность только относительная; покой есть въ сущности только болѣе медленное движеніе. Камень, символъ неизмѣн-

ности, постоянно подверженъ химическимъ процессамъ разложения, вывѣтритианія, которые непрерывно, хотя совершенно незамѣтно для нашего наблюденія, измѣняютъ его.

Но если это такъ, если текучая измѣнчивость есть законъ виѣшняго бытія, то могутъ-ли выражать что-либо объективное наши представлениа о конкретныхъ предметахъ, какъ о чёмъ то постоянномъ и одинаковомъ? Мы представляемъ какой-нибудь предметъ, какъ этотъ именно, а не иной предметъ. Но если-бы мы другой разъ захотѣли-бы сравнить наше представление съ тѣмъ предметомъ, съ котораго оно снято, то увидѣли бы, что самый предметъ сталъ уже не тѣмъ предметомъ, какимъ былъ прежде. Постоянное измѣненіе, составляющее сущность чувственного бытія, уже коснулось его. Наше представление выражаетъ уже не *этотъ* предметъ, а иной; тотъ предметъ существовалъ только въ то мгновеніе, въ которое мы взглянули на него. Предъ нами собственно и былъ не предметъ, а мгновенное, мимолетное явленіе постоянно текучаго и неподловимаго бытія. Не успѣло впечатлѣніе отъ предмета дойти до насъ, не успѣли мы сказать о немъ слова, какъ *этотъ* предметъ сталъ уже не этимъ, а инымъ, такъ какъ незамѣтное для насъ измѣненіе уже коснулось его. Отсюда видно, что наше представление о конкретномъ предметѣ, какъ о чёмъ-то имѣющемъ самостоятельное, устойчивое бытіе, не есть представление какого-либо дѣйствительного предмета. Въ представлении о конкретномъ предметѣ мы выражаемъ не *этотъ* предметъ, какъ онъ есть, но нѣчто другое; говоря о немъ, мы говорили не о реальномъ предметѣ, но о нашемъ субъективномъ представлениіи, которое только въ насъ и для насъ имѣть постоянное бытіе.

Объяснимъ сказанное нами примѣрами. Мы взглянули на какой-нибудь конкретный предметъ, напр. дерево; въ насъ составилось представление этого именно дерева. Согласимся, что наше представление (что, впрочемъ, на самомъ дѣлѣ невозможно) такъ ясно, полно и точно, образъ дерева въ нашемъ сознаніи такъ индивидуаленъ, что относится дѣйствительно къ этому только дереву, а не къ какому другому. Что пользы? Не успѣли мы представить *это* дерево, какъ оно уже измѣнилось. Вѣтеръ-ли перемѣнилъ положеніе его вѣтвей и листьевъ, солнечный-ли лучъ иначе освѣтилъ его, или,—что существен-

нѣе,—непрерывно совершающійся въ немъ процессъ усвоенія и выдѣленія различныхъ веществъ прибавилъ и убавилъ въ немъ нѣчто, но все это нѣсколько измѣнило его, сдѣлало его не тѣмъ точно деревомъ, которое было, когда мы взглянули на него, но инымъ, и наше мнимо конкретное представлѣніе уже не годится. Предъ нами листъ бумаги. Кажется, наше представлѣніе о немъ самое конкретное и вѣрное; мы указываемъ на предметъ пальцемъ,—говоримъ: этотъ предметъ, этотъ листъ бумаги. Но мы и здѣсь не удерживаемъ чувственной дѣйствительности, не смотря на то, что хочемъ, такъ сказать, схватить ее руками. Не успѣли мы указать на этотъ листъ бумаги, какъ въ немъ произошло уже нѣкоторое, конечно, неуловимое для насъ измѣненіе; онъ сталъ не совсѣмъ уже тѣмъ листомъ, который былъ предъ нами за секунду прежде, но инымъ. Захочемъ-ли мы сказать что-нибудь объ этомъ листѣ и, подробно описавъ его, удержать для себя его бытіе? Но это невозможно; во время дѣйствительной попытки описать его, онъ истлѣлъ-бы и, начавъ свое описание, мы не могли-бы кончить его и должны-бы признаться, что говоримъ о вещи, которой на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Это знаетъ и обыкновенная логика, которая учитъ насъ, что чѣмъ меньше объемъ понятія, тѣмъ шире его содержаніе и наоборотъ, и что, слѣдовательно, предметъ индивидуальный представляетъ такое безчисленное множество признаковъ, что передать ихъ въ опредѣленіи мы не въ состояніи. Метафизика можетъ прибавить къ этому, что признаки конкретнаго предмета безчисленны не только отъ количества ихъ, но и отъ постоянной измѣнчивости предмета; тѣ признаки, которые были въ немъ въ сию секунду, измѣнились въ другую. Какъ мало наше представлѣніе конкретныхъ предметовъ выражаетъ ихъ дѣйствительное бытіе, показываетъ даже самый нашъ языкъ: въ немъ нѣть словъ для обозначенія конкретныхъ предметовъ. Чтобы приблизить наше понятіе къ такому предмету, мы употребляемъ сочетанія словъ, прибѣгаемъ къ описанію. Но это описание, какъ мы видѣли, никогда не можетъ быть равнымъ предмету, хотя-бы продолжалось такъ долго, какъ существуетъ предметъ; съ каждымъ此刻омъ онъ будетъ меняться, становиться инымъ и истиннаго бытія его посредствомъ чувственного представлѣнія мы не уловимъ.

Такой текучий, неуловимый для нашего познания характеръ эмпирической дѣйствительности подаетъ идеализму поводъ заключать, что и самыя, такъ называемыя, конкретныя вещи, какъ нѣчто постоянное, существуютъ не въ насъ, а въ насть самихъ, или точнѣе,—существуютъ только представления или мысли о конкретныхъ вещахъ, имѣющія постоянное бытіе только въ насть и для насть,—представлениія, которымъ вовсе не соответствуетъ дѣйствительность.

Мы представили болѣе важныя данныя философскаго анализа чувственной дѣйствительности, начиная отъ фактовъ физическихъ, физиологическихъ и психологическихъ и кончая дialectическою критикою понятія о конкретномъ предметѣ въ идеалистической философіи \*). Теперь мы должны, на основаніи этихъ данныхъ, попытаться решить вопросъ: существуетъ ли такъ называемый чувственный міръ и въ какой степени достовѣрно наше эмпирическое познаніе о немъ.

Мы видѣли, что по отношению къ этому вопросу существуетъ самое рѣзкое, повидимому, непримиримое противорѣчіе между непосредственнымъ нашимъ сознаніемъ и воззрѣніемъ, можно сказать, большинства философовъ. Эта противоположность въ исторіи мышленія написала свое выраженіе въ двухъ противоположныхъ воззрѣніяхъ на эмпирическую дѣйствительность,—*материализмъ* и *идеализмъ*.

Основываясь на непосредственной, повидимому, несокрушимой никакими научными соображеніями, увѣренности въ реальности чувственного бытія и достовѣрности нашего познанія о немъ, материализмъ утверждаетъ реальность какъ чувственныхъ вещей, такъ и вещественнаго міра вообще, точно также, какъ и истину нашего эмпирическаго познанія о немъ. Но этого мало; эту реальность онъ почитаетъ до такой степени очевидною и истинною, что утверждаетъ ее, какъ абсолютный признакъ какого-бы то ни было реального бытія, съ исключеніемъ всякаго другаго. Это воззрѣніе материализма коротко можно выразить въ слѣдующей онтологической формулѣ: существуетъ только материальное бытіе, и ничего болѣе.

\*) Основная мысль ея и примѣры взяты изъ Феноменологіи духа Гегеля. Довольно подробное изложеніе его анализа „чувственной достовѣрности“,— см. у В. Соловьева, въ его „Критикѣ отвлеченныхъ началъ“. 1880, стр. 209—220.

Основываясь на данныхъ критического анализа эмпирическаго познанія, идеализмъ отрицає истину бытія чувственаго міра въ томъ видѣ, въ какомъ даетъ знать о немъ наше чувственное познаніе. Но этого мало; это отрицаніе онъ распространяетъ не только на чувственный міръ, въ какой мѣръ онъ отражается въ нашемъ познаніи, но и на самое существование его, какъ дѣйствительности виѣшней намъ и отъ насъ независимой. Матеріальное бытіе и вообще не существуетъ; все, кажущееся намъ чувственнымъ, матеріальнымъ, на самомъ дѣлѣ феноменъ единаго, нематеріального бытія. Это возврѣніе идеализма кратко можно выразить въ слѣдующей онтологической формулу: существуетъ *только* бытіе духовное и ничего болѣе.

Въ какой мѣрѣ справедливы и согласны съ изложеннымъ нами анализомъ чувственного познанія эти исключающія другъ друга онтологическія формулы матеріализма и идеализма? Рѣшеніе этого вопроса составитъ дальнѣйшую задачу нашего изслѣдованія\*).

1. Исходнымъ началомъ матеріализма служить, какъ мы сказали, непосредственное наше сознаніе и увѣренность въ существованіи виѣшнихъ предметовъ въ томъ видѣ, въ какомъ они познаются нашими чувствами. Въ этой увѣренности заключается главное право его на существование и психологическое оправданіе этого существованія. Дѣйствительно, въ непосредственномъ нашемъ сознаніи мы встрѣчаемъ неизбѣжное, почти неискоренимое никакими отвлечеными умствованиями стремленіе представлять не только бытіе виѣшнихъ чувственныхъ вещей, но и всякое вообще бытіе въ формахъ бытія матеріального. Исторія языка показываетъ, что всѣ почти слова (за исключеніемъ образовавшихся въ сравнительно новое время), для обозначенія абстрактныхъ понятій и предметовъ,

---

\* ) Отсюда уже видно, что какъ матеріализмъ, такъ и идеализмъ мы будемъ разсматривать здѣсь только въ онтологической точкѣ зрѣнія, а не въ отношеніи къ положительному решенію имъ различныхъ философскихъ вопросовъ, напримѣръ, о первой причинѣ бытія, о происхожденіи міра и т. п. Критическому разбору этого решенія мѣсто въ дальнѣйшихъ частяхъ метафизики,—въ рациональной теологии, космологіи и психологіи. Здѣсь мы должны исключительно отвѣтить только на вопросъ: вѣрны-ли понятія матеріализма и идеализма о чувственномъ или виѣшнемъ бытіи,—абсолютное утвержденіе его, какъ единствено истинного бытія въ первомъ, и отрицаніе его въ посаѣднемъ.

почитаемыхъ нами нематеріальными, духовными, заимствованы отъ представленій чувственныхъ и что, поэтому, первоначально духовные объекты были понимаемы, какъ объекты чувственные. Такъ, напримѣръ, самыя выраженія: духъ, душа, духовный, по коренному значенію ихъ во всѣхъ почти языкахъ означаютъ вѣтеръ, дыханіе, дымъ, испареніе, тѣнь и проч. \*). Но эта необходимость материализаціи, такъ сказать, духовныхъ объектовъ и состояній не есть явленіе извѣстного только момента въ исторіи человѣческой культуры. И при дальнѣйшемъ развитіи мышленія нась не оставляетъ неизбѣжное стремленіе представлять духовное по образцу чувственного и въ чувственныхъ формахъ, не смотря на утверждаемую нашимъ разумомъ неадекватность этой формы содержанію. Силу этого стремленія и опредѣляющее вліяніе его даже на ходъ философскаго мышленія испытывали иногда философы, не принадлежавшіе къ числу материалистовъ. Такъ, напримѣръ, Тертулліанъ решительно признавалъ немыслимость чего-либо нематеріального и пришелъ отсюда къ убѣждѣнію въ тѣлесности Божества и души; Гассенди чистосердечно признавался, что онъ, о Богѣ не можетъ мыслить иначе, какъ представляя его въ материальной формѣ. Изъ этого врожденного, такъ сказать, стремленія представлять духовное по образцу чувственного объясняется отчасти устойчивость материалистического ученія, не смотря на постоянную и повидимому побѣдоносную борьбу съ нимъ рационализма. Отсюда объясняется отчасти нерасположеніе, даже отвращеніе нѣкоторыхъ къ философіи и къ метафизикѣ, какъ такой области познанія, которая совершенно удалаетъ насъ изъ привычной сферы представленій въ сферу неосуществимаго для многихъ, абстрактнаго мышленія.

Но напрасно сталь-бы материализмъ въ свое оправданіе ссыльаться на непосредственную увѣренность въ достовѣрности нашего познанія объ окружающемъ нась чувственномъ бытіи и на врожденное стремленіе понимать и все существующее въ материальной формѣ. Больѣ внимательный анализъ даже нашего непосредственнаго сознанія тотчасъ покажетъ намъ, что, не смотря на увѣренность въ реальности чувственного

---

\*.) Подробности см. въ статьѣ Шерпля: „Начало религій и слѣды монотеизма въ язычествѣ“. Прав. Обозр. 1884, октябрь, стр. 275—276.

бытія, въ общемъ сознаніи въ тоже время существуетъ другаго рода увѣренность въ существованіи иной дѣйствительности, не чувствами постигаемой, но не менѣе реальнай, чѣмъ первая. Съ первымъ проявленіемъ сознательного мышленія человѣкъ всегда отличалъ и противополагалъ свое внутреннее невидимое бытіе, начало своей жизни окружающимъ его видимымъ предметамъ и эту именно противоположность, при скучности языка, старался выразить въ представлениі чегото тонкаго, неуловимаго, совершенно непохожаго на грубые, вещественные предметы, что онъ и называлъ дуновеніемъ, паромъ, тѣнью и т. п. Что предѣлы этого невидимаго, нематеріального бытія онъ не ограничивалъ собственною душою, доказательствомъ служить его твердая, исконная увѣренность въ существованіи высшихъ невидимыхъ существъ, духовъ. Самое представлениe о Богѣ, въ какойбы грубой и чувственной формѣ оно первоначально ни выражалось, не возможно безъ увѣренности въ существованіи бытія совершенно отличнаго отъ окружающаго настѣн міра. Вообще, непосредственное сознаніе не только твердо признавало дѣйствительность не открывающагося внѣшнимъ чувствамъ бытія, но всегда готово было думать, что это-то бытіе есть внутренняя, истинная основа бытія чувственно намъ являющагося. Такъ въ предшествующихъ философскому мышленію миѳологіяхъ, въ которыхъ мы видимъ первые опыты возвышенія мысли надъ эмпирическою дѣйствительностью, всѣ предметы природы, — свѣтила, рѣки, деревья, горы и проч. олицетворяются, представляются одушевленными, подобно намъ людямъ чувствующими, имѣющими волю, желанія. Въ существованіи этой невидимой стороны чувственного бытія, олицетворенной въ видѣ различныхъ боговъ, общее сознаніе народовъ увѣрено было также твердо, какъ и въ существованіи самыхъ чувственныхъ предметовъ.

Если дальнѣйшее развитіе мышленія разрушило эту, основанную на инстинктивномъ чувствѣ высшей истины и высшей дѣйствительности бытія духовнаго сравнительно съ чувственнымъ, иллюзію ума, указавъ ей законное мѣсто въ области поэзіи, то въ замѣнѣ этого тоже мышленіе съ древнѣйшихъ временъ, не удовлетворяясь данною видимостю вещей, всегда стремилось отыскать за видимыми предметами ихъ невидимое

начало и сущность. Это стремление искать за чувственнымъ, физическимъ лежащаго за нимъ вышечувственного метафизического бытія и было исходнымъ пунктомъ всѣхъ философскихъ изслѣдований, какъ-бы ни расходились они въ опредѣлении этого истинно сущаго.

Такимъ образомъ, и въ непосредственномъ сознаніи, и въ дальнѣйшемъ движениіи мышленія мы находимъ два параллельные направленія, которыя мы, конечно, можемъ назвать материалистическимъ и идеалистическимъ въ томъ смыслѣ, что наравнѣ съ признаніемъ истины и достовѣрности вышеупомянутаго бытія и съ стремлениемъ представлять все сущее по образу этого бытія, въ насть существуетъ признаніе бытія нематериальнаго, духовнаго, съ стремлениемъ понимать все истинно сущее по образу этого бытія. Если въ виду первого стремленія можно назвать человѣка урожденнымъ материалистомъ, то съ не меньшимъ правомъ, на основаніи втораго, мы должны назвать его урожденнымъ идеалистомъ.

Итакъ голосъ общаго сознанія не говорить ничего въ пользу материалистического воззрѣнія на сущность бытія. Основываясь на показаніяхъ этого сознанія, иначе, — того здраваго смысла, на который такъ часто любить ссылаться материализмъ въ противовѣсь будто-бы философской абстракціи, какъ источнику идеализма, мы должны-бы признать одинаковую реальность какъ бытія чувственнаго, вышеупомянутаго, материальнаго, такъ и бытія духовнаго, внутренняго, нематериальнаго. Задача философіи должна-бы состоять лишь въ опредѣлениі взаимнаго отношенія того и другаго и, если возможно, въ объединеніи ихъ въ какомъ-либо высшемъ и единомъ ихъ началѣ и въ объясненіи возможности ихъ существованія.

Но материализмъ упорно отстаиваетъ одну половину свидѣтельства нашего сознанія, отрицаю истину другой. Достовѣрно познается и истинно существуетъ только одно бытіе — материальное.

Но что такое бытіе материальное? Вульгарный материализмъ скажетъ, что этотъ вопросъ такъ простъ, что и задумываться долго надъ решеніемъ его нельзѣ ни малѣйшей нужды. Материальное бытіе — все то, что мы видимъ, слышимъ, осязаемъ, — вообще познаемъ при помощи нашихъ чувствъ; это и есть именно то бытіе, въ реальномъ существованіи котораго такъ

непоколебимо увѣрено наше обыкновенное сознаніе. Но здѣсь-то и приходитъ намъ на помощь тотъ анализъ чувственного представлениа, который изложенъ нами выше; онъ до очевидности ясно показываетъ намъ, какъ мало можно полагаться здѣсь на простое свидѣтельство нашего сознанія. Онъ показываетъ памъ, что вопросъ: что такое бытіе материальное, не такъ простъ, какъ кажется на первый взглядъ, что если и существуетъ то бытіе материальное, о которомъ говорить материализмъ, то въ сущности оно вовсе не то и не сходно съ тѣмъ бытіемъ, о которомъ даютъ знать намъ наши чувства и которое мы получаемъ въ ихъ ощущеніяхъ. Изъ этого анализа физическихъ, физиологическихъ и психологическихъ данныхъ, котораго не можетъ отвергнуть материализмъ, если хотѣть стоять на научной и при томъ эмпирической точкѣ зрѣнія, оказывается, что подлежитъ, по-крайней мѣрѣ, сильному сомнѣнію, дѣйствительно ли существуетъ на самомъ дѣлѣ то, что материализмъ называетъ материальнымъ. Мы видѣли, что тѣ самыя свойства, которыя для непосредственного сознанія представляются самыми наглядно ясными признаками реальности чувственного бытія, исчезаютъ и являются не реальными свойствами вещей въ нась существующихъ, а субъективнымъ продуктомъ нашего ощущающаго *я*, таковы напр., звуки, цвѣта, плотность, тепло, холодъ и др. Оказывается, что то, что непосредственное сознаніе, а съ нимъ и материализмъ, признавало истинно и реально сущимъ въ вещахъ, есть не болѣе, какъ ощущеніе и представление, принадлежащее ощущающему субъекту. Конечно, мы ясно сознаемъ, что это ощущеніе и представление не исключительно принадлежитъ намъ; оно вызывается дѣйствіемъ и прираженіемъ къ намъ окружающей нась и вѣнчайшей намъ дѣйствительности и составляетъ, такъ сказать, отвѣтъ нашего ощущающаго субъекта на это дѣйствіе. Но этотъ самый характеръ нашего ощущенія уже ясно показываетъ его отличие отъ дѣйствительнаго предмета, сго вызывающаго; то, что вызываетъ въ нась это ощущеніе, очевидно, не имѣеть никакого сходства съ тѣмъ, что вызывается имъ въ нашей душѣ. Вызывающая ощущеніе дѣйствительность сама по себѣ не имѣеть ни цвѣта, ни звука, ни вкуса, ни плотности, потому что именно эти свойства и составляютъ субъективный результатъ воздействиа ея на нась,

отвѣтъ на него со стороны нашего *я*. Переходя теперь отъ отдельныхъ впечатлѣній къ общей сложности ихъ, къ представлению всей совокупности чувственного бытія, къ тому, что мы называемъ внѣшнимъ міромъ, мы необходимо приходимъ къ убѣжденію, что это представление, этотъ существующій въ насъ міръ есть сложный продуктъ, съ одной стороны, дѣйствія на насъ неизвѣстной намъ пока внѣшней дѣйствительности, съ другой—отзыва на нее нашего собственнаго ощущающаго *я*; этотъ міръ обязанъ своимъ существованіемъ столько-же нашему *я*, сколько и внѣшнему объекту,—не *я*.

Но та точка зре́нія, по которой материальными признается все чувственно являемое, именно въ томъ видѣ, въ какомъ оно является нашимъ чувствамъ, принадлежитъ, говорить намъ, низшему, вульгарному или, какъ принято въ настоящее время называть его, наивному материализму \*). Стоящій на научной точкѣ зре́нія материализмъ допускаетъ вообще указанные нами результаты анализа чувственного представленія, столь разрушительные для материализма обыкновеннаго. Истинно сущимъ материальнымъ бытіемъ мы должны почитать не тѣ чувственные предметы, или лучше сказать—представленія о нихъ, о которыхъ говорить намъ наше сознаніе, но то начало или бытіе, которое скрывается за этими представленіями и которое, дѣйствуя чрезъ чувства на наше *я*, производить эти, не имѣющіе объективности, образы физическихъ свойствъ. Положимъ, цвета, запахи, вкусы и пр. не суть что-либо материальное, а феноменъ нашего сознанія; но за этимъ феноменомъ скрывается-же что-нибудь и вѣдь нашего сознанія, что

---

\*) Хотя на самомъ дѣлѣ эта точка зре́нія далеко не такъ вульгарна и наивна, какъ-бы можно предположить. На самомъ дѣлѣ оказывается, что и въ определенія матеріи, имѣющія притязанія на научный и философскій характеръ, входятъ предикаты, основанные на предположеніи объективности чувственныхъ свойствъ. Такъ, напр. по Молешотту, сущность матеріи совершенно ясна и понятна; она для насъ не что иное и ничего болѣе, какъ совокупность (complex) свойствъ, которая мы воспринимаемъ чувствами; за этими свойствами не скрывается ничего болѣе. Особенно часто въ определеніи матеріи встречается, основанный на осозаніи, признакъ плотности. Такъ, Фехнеръ матерію и материальныи называетъ то, что дѣлается намъ замѣтнымъ посредствомъ чувства осозанія, что можно ощупать руками. (Handgreifliche Atomenlehre. 2 Aufl. 105 sq.).

дѣйствуетъ на него и вызываетъ субъективные образы вещей. Но это самое *нѣчто*, необходимость существованія чего мы допустили, говоря о воздѣйствующей на нашъ духъ виѣшней причинѣ, и есть *матерія*.

Если-бы только этимъ признаніемъ *нѣчто*, скрывающагося за видимостію явленій, ограничилъся материализмъ, то конечно противъ него мы ничего не имѣли-бы возразить, точно также, какъ не имѣли-бы ничего сказать и противъ названія этого *нѣчто* матеріею, въ смыслѣ отличенія этого дѣйствующаго посредствомъ чувствъ на нашъ духъ начала отъ воспринимающаго это дѣйствие начала, называемаго духовнымъ, *духомъ*. Но въ такомъ случаѣ самое существованіе материализма, какъ определенного философскаго направлениія, потеряло-бы смыслъ и значеніе. Дѣйствительный смыслъ материализма въ томъ и состоить, что а) онъ признаетъ это *нѣчто* (матерію), составляющее основу виѣшняго міра, именно за бытіе, имѣюще чувственныя свойства, называемыя общимъ сознаніемъ материальными,—свойства, объективный характеръ которыхъ онъ, повидимому, согласился отвергнуть, допустивъ выводы анализа чувственаго представлениія; что б) онъ признаетъ это бытіе единственно истинно сущимъ, отвергая возможность всякаго другаго.

а) Чтобы показать, что, утверждая первое, мы вовсе не навязываемъ такъ называемому научному материализму воззрѣній наивнаго материализма, которыхъ онъ, повидимому, чуждается, посмотримъ на то понятіе о матеріи, которое онъ даетъ намъ. Матерія, по согласному опредѣленію новѣйшихъ материалистовъ, есть совокупность безчисленнаго множества первоначальныхъ недѣлимыхъ, абсолютно малыхъ, невѣсомыхъ частичекъ вещества, называемыхъ *атомами*. Относительнымъ положеніемъ этихъ атомовъ и движеніемъ ихъ условливается все разнообразіе бытія и все разнообразіе нашихъ представлений объ этомъ бытіи, такъ какъ и самъ представляющей въ сущности есть комплексъ тѣхъ-же атомовъ. Мы не станемъ входить здѣсь въ разборъ атомической теоріи вещества. Обратимъ лишь вниманіе на то, возможно-ли самое представлениe *материальнаго* атома (ибо, очевидно, только такой атомъ можетъ имѣть значеніе для материализма) безъ представленія

тѣхъ самыхъ чувственныхъ свойствъ, который самъ материализмъ вынужденъ быть признать субъективными? При сколько-нибудь внимательномъ взглѣдѣ на дѣло оказывается, что нѣть, и что замѣненія видимое нами чувственное бытіе нѣвидимый, лежащими въ его основе атомами, материализмъ нѣсколько неуничтожилъ всѣхъ прежнихъ результатовъ критического анализа эмпирической дѣйствительности, но только замаскировалъ ихъ и отодвинулъ на задній планъ, въ абстрактную область. И атомы, если дѣйствительно желаемъ представить здѣсь нѣчто материальное, мы необходимо должны мыслить имѣющими всѣ тѣ свойства и признаки, какіе мы приписываемъ вѣшнимъ предметамъ и которые оказались субъективными. Такъ атомъ, какъ-бы онъ малъ ни былъ, мы необходимо должны представлять имѣющимъ извѣстную величину, плотность, очертаніе, движеніе; слѣдовательно, и атому мы должны приписать по крайней мѣрѣ важнейшія изъ тѣхъ физическихъ свойствъ, какія мы приписываемъ видимымъ нами тѣямъ. Итакъ; если мы признаемъ вѣрными вышеупомянутые нами результаты анализа этихъ свойствъ, то должны будемъ признать, что въ представлѣніи атома мы имѣемъ предъ собою не образъ самого по себѣ существа бытія, служащаго основаніемъ извѣстныхъ физическихъ свойствъ, но тоже самое бытіе феноменальное, въ представлѣніе котораго входитъ тотъ-же субъективный элементъ, какъ и въ представлѣніе прочихъ чувственныхъ вещей. Но этого мало; если желаемъ быть послѣдовательными, то должны будемъ приписать атому и тѣ, такъ называемыя Локкомъ, вторичные свойства, которые оказались явно субъективными; напр. цветъ, окраску и т. п. Эта мысль наша на первый разъ можетъ показаться парадоксальною; но она не покажется такою, если мы нѣсколько абстрактнее понятіе атома сведемъ къ эмпирической наглядности. Представимъ себѣ, что какая-нибудь неизвѣстная намъ сила или усилила наше зрѣніе, или увеличила невидимый по своей чрезвычайной малости атомъ въ миллионъ, положимъ, и болѣе разъ,—словомъ настолько, что онъ изъ невидимаго сдѣлался доступнымъ нашему наблюденію. Какимъ-бы онъ представлялся намъ? Что онъ оказался-бы имѣющимъ фигуру, плотность, извѣстную мѣру протяженности,—это несомнѣнно и этого не отвергнутъ материалисты, приписывающіе эти свойства мате-

рії самой по себѣ. Но онъ кромѣ того оказался-бы дѣйствующимъ и на всѣ органы нашихъ чувствъ, подобно всѣмъ вѣнчанимъ предметамъ; мы-бы его увидали, а это возможно только подъ условiemъ свѣтовыхъ ощущеній въ нашемъ зрѣніи; какъ тѣло плотное, онъ при ударѣ долженъ-бы издавать звукъ; онъ долженъ-бы производить извѣстное ощущеніе на осязаніе, быть гладкимъ или шереховатымъ, долженъ вызывать ощущеніе температуры и пр. Иначе, если-бы онъ не производилъ въ насъ этихъ ощущеній, онъ и не существовалъ-бы для насъ, какъ виѣшній объекѣтъ; мы-бы его и не видали. Но если такъ, то между вульгарнымъ материализмомъ, называющимъ материальными окружающія насть и чувствами, постигаемыя вещи, и материализмомъ, различающимъ субъективный феноменъ—ощущаемыя нами свойства и матерію саму по себѣ, какъ основу этого феномена (т. е. атомы),—не будетъ никакого различія. И допуская атомы или матерію саму по себѣ, мы никакъ не можемъ почитать ихъ единственно сущими бытіемъ, такъ какъ и самое понятіе атома при его анализѣ необходимо ведеть насть также, какъ и анализъ обыкновенного чувственного бытія, къ предположенію двухъ слагающихъ это бытіе элементовъ—субъективнаго и объективнаго. Что такое этотъ объективный элементъ чувственного бытія, мы не знаемъ и не касаемся этого вопроса; ясно только одно, что этотъ элементъ, это истинно сущее, а не являющееся только въ чувственномъ бытіи, не есть *та матерія*, о которой говорить материализмъ, потому что всѣ тѣ свойства, которыми материалистъ характеризуетъ свое понятіе о матеріи, суть неизбѣжно тѣ самыя чувственныя свойства, субъективнаго значенія которыхъ не можетъ не признать и самый материализмъ.

б) До сихъ поръ мы останавливали наше вниманіе на той сторонѣ реальнаго бытія, которая и общимъ сознаніемъ и материализмомъ безспорно признается материальною. Мы видѣли, что эта сторона бытія, будемъ-ли имѣть въ виду отдельные вещи и ихъ физическія свойства, или предполагаемое начало этихъ вещей (матерію, атомы), если и можетъ быть названа материальною, то никакъ не въ смыслѣ материализма, такъ какъ то, что собственно материализмъ признаетъ матерію, въ сущности все почти слагается изъ завѣдомо субъ-

ективныхъ опредѣлений и признаковъ. Теперь мы обратимъ вниманіе на другую сторону реальнаго бытія, которая общимъ сознаніемъ обыкновенно противополагается бытію материальному, но которую материализмъ, вопреки его голосу, старается включить въ свое общее понятіе абсолютной материальности всего сущаго, въ своей формулѣ: не существуетъ ничего кроме материальнаго. Посмотримъ, можетъ-ли эта сторона бытія быть подведена подъ это понятіе и носить-ли она на себѣ тѣ признаки, которые материализмъ считаетъ существенными признаками материальнаго бытія?

Какой существенный признакъ материальнаго бытія? Материальнымъ мы называемъ, и материалисты согласны съ нами, въ смыслѣ онтологическомъ все то, что можетъ быть механически или химически разложено на части, которая въ послѣдней инстанціи разрѣшаются на неразложимые уже атомы. Въ смыслѣ гносеологическомъ материальнымъ мы называемъ то, о чёмъ получаемъ или можемъ получить познаніе посредствомъ внѣшнихъ чувствъ, что можемъ видѣть, слышать, осязать и проч. Но все-ли существующее въ мірѣ такого рода, чтобы къ нему могли быть приложены оба эти признака?

Обратимся сначала къ міру физическому. Мы видимъ, напримѣръ, дѣйствіе силы тяготѣнія; знаемъ, что вслѣдствіе этой силы всѣ тѣла на землѣ стремятся къ ея центру. Реальности этой силы никто не отвергаетъ; никто не скажетъ, что она не существуетъ. Но приложимы-ли къ этой силѣ два упомянутые признака материальности: онтологической и гносеологической? Можетъ-ли кто сказать, что силу тяготѣнія къ центру земли можно механически раздѣлить на части, химически разложить, что эта сила слагается изъ атомовъ? Можно-ли саму по себѣ эту силу видѣть, осязать, слышать? Очевидно, подобной нелѣпости никто не скажетъ. Если-бы мы докопались до центра земли, то и тамъ конечно не нашли-бы никакого материальнаго предмета, о которомъ могли-бы сказать: этотъ-то предметъ и есть сила тяготѣнія. Итакъ, мы здѣсь признаемъ дѣйствительно существующимъ нечто такое, что очевидно не носитъ признаковъ материальнаго бытія. Что сказали мы о силѣ тяготѣнія, то, очевидно, должны сказать и о всякой другой силѣ природы. Мы видимъ, слышимъ и проч. перемѣнны, производимыя тою или другою силою въ окружающихъ насъ

предметахъ, но не видимъ, но ощущаемъ виѣшими чувствами самой этой силы. Этотъ нечувственный, не материальный характеръ каждой силы до такой степени ясенъ для непосредственного разумнаго сознанія, что мы сочли бы нелѣпостью такого рода, напримѣръ, выраженія, что силу можно раздѣлить на нѣсколько кусковъ, что ее можно увидѣть или ощутить, что она сложена изъ такого-то количества атомовъ и т. п. Между тѣмъ съ строго материалистической точки зре-нія подобнаго рода выраженія должны-бы быть ничуть не странными и самыя дѣйствія ничуть не невозможными.

Возьмемъ теперь другое понятіе, прилагаемое къ области бытія материальнаго,—понятіе закона. Извѣстно, что всѣ явленія природы совершаются по опредѣленнымъ законамъ; изучаютъ эти законы различныя эмпирическія науки: химія—законы сложенія и разложенія веществъ, физика—законы механическіе и физические, физіология—законы органической жизни и проч. Существуютъ - ли эти законы на самомъ дѣлѣ, или нѣтъ? Кажется, смѣшно-бы и спрашивать о томъ; за реальное ихъ бытіе ручается уже самое существованіе наукъ, которыя занимаются ихъ опредѣленіемъ, и очевидныя явленія природы, совершающіяся по этимъ законамъ. Но прилагаются-ли къ нимъ тѣ признаки материальнаго бытія, какіе указаны нами выше? Очевидно, нѣтъ; законы химического сродства выражаются въ очень опредѣленныхъ комбинаціяхъ вещества; но самыхъ законовъ никто не можетъ ни видѣть, ни взвѣсить, ни разложить на части. Самое приложеніе подобныхъ выражений къ слову: законъ природы, кажется намъ въ высшей степени страннымъ.

Итакъ, въ понятіяхъ силъ и законовъ природы мы нашли въ самой области материальнаго бытія нѣчто такое, что необходимо признаемъ существующимъ, что изучаемъ, какъ реально сущее, но чому приписать признаки материальнаго бытія было-бы рѣшительнымъ насилиемъ разуму, дѣломъ немыслимымъ.

Какъ-же теперь материализмъ устраниетъ это рѣшительное противорѣчіе собственному принципу, и при томъ въ той его области, которую обыкновенно и безспорно считаютъ материальной. Для этого мы имѣемъ готовыя формулы, которыми материализмъ думаетъ сладить указанное затрудненіе и . вклю-

чить понятія силы и законовъ природы подъ тоже понятіе матеріального бытія, какъ единственно сущей реальности: силы природы, говорять одни, тожественны съ матерію; силы природы имманентны веществу; силы и законы природы не суть что либо отличное отъ матеріи, по ея свойства или качества.

Что касается до первой формулы, то не смотря на то, что она, повидимому, всего послѣдовательнѣе выражаетъ матеріалистический принципъ: не существуетъ ничего кромъ матеріи, она сама по себѣ принадлежитъ къ числу самыхъ неудачныхъ и потому сами материалисты не особенно сильно отстаиваютъ ее. Въ самомъ дѣлѣ, если выражение: сила тожественна съ матерію, понимать въ точномъ и буквальномъ смыслѣ, то мы въ понятіи силы получаемъ, только въ другихъ словахъ, тоже понятіе матеріи. А если такъ, то сила, которая въ сущности тожественна съ матерію, есть тоже самое, что и она, должна носить на себѣ и всѣ тѣ признаки, которыми характеризуется матерія. Въ онтологическомъ значеніи она должна слагаться изъ частей, состоять изъ атомовъ; въ гноссологическомъ— должна быть познаваема чувствами, видима, осязаема и проч. Мы придемъ къ тому, совершенно немыслимому, представлению, о которомъ говорили выше и принять которое стѣснится самый материализмъ.

Но положимъ, скажетъ материалистъ, первая формула не удачна. Сила не есть тоже, что матерія, но она имманентна матеріи и немыслима безъ нея, какъ нѣчто само по себѣ сущее, слѣдовательно, противоположное матеріи. Совершенно вѣрно, что силы и законы физической природы не существуютъ сами по себѣ безъ вещества, въ которомъ обнаруживаются и въ этомъ смыслѣ могутъ быть названы имманентными веществу, немыслимыми самобытно существующими, безъ него. Но дѣло въ томъ, что этою формулой ровно ничего не выигрываетъся для доказательства материалистического принципа: нѣть ничего кромъ матеріального. Понятіе имманентности силы матеріи говоритъ только объ ихъ необходимой взаимной связи и отношеніи, но никакъ не говорить объ ихъ тожествѣ или единствѣ. Два предмета въ своемъ существованіи могутъ вполнѣ зависѣть одинъ отъ другаго, но отъ этого они не сольются въ одинъ предметъ, а все-таки останутся двумя предметами, хотя они въ своемъ бытіи и неразрывно связаны другъ съ

другомъ и существование одного немыслимо безъ существования другаго. Электричество, напримѣръ, свѣтъ, теплота, звукъ, движение не могутъ существовать, конечно, безъ матеріи, въ которой они обнаруживаются; однакоже они це суть тоже самое, что вещества, въ которомъ они дѣйствуютъ. Такъ, кусокъ желѣза можетъ существовать и безъ тѣхъ магнитическихъ явлений, который въ немъ обнаруживаются при намагничиваніи. Камень существуетъ и безъ толчка, который заставилъ его катиться; сила механическаго движения, хотя и не можетъ обнаружиться, если-бы ей не попался камень или другое вещество, но не есть еще самъ этотъ камень. Точно также и сила магнитическая, хотя не можетъ обнаружиться безъ желѣза, но не есть это самое желѣзо, въ которомъ она обнаружилась. Органическая жизнь не можетъ существовать безъ данной комбинаціи материальныx элементовъ, составляющихъ то, что мы называемъ органическимъ тѣломъ, но она не есть тоже, что самое это тѣло, какъ известный агрегатъ мертвыхъ физико-химическихъ элементовъ. Вообще, всѣ силы и законы, которые мы видимъ въ природѣ, хотя не могутъ обнаруживаться безъ вещества, въ которомъ дѣйствуютъ, и въ этомъ смыслѣ, пожалуй, могутъ быть названы имманентными матеріи, но не суть тоже, что вещества, въ которомъ дѣйствуютъ, и по своему существу отличны отъ вещества, не материальны.

Это различие ихъ отъ вещества уже показываетъ, что онъ не можетъ быть и свойствами или качествами матеріи, какъ гласить третья материалистическая формула. Если-бы онъ были свойствами или качествами матеріи, то онъ а) должны-бы быть по своему существу однородными съ матеріею, иначе—материальными, потому что свойство, конечно, не можетъ быть чѣмъ либо противодолжнымъ тому, чего свойство оно: составляетъ; б) онъ должны-бы быть постоянной, неотъемлемою принадлежностью матеріи. Но ни того, ни другаго мы не можемъ сказать объ отношеніи силы къ матеріи. Напротивъ, почитая силу свойствомъ матеріи, мы допускаемъ прямое логическое противорѣчие. Это противорѣчие состоится въ томъ, что одному и тому-же объекту — матеріи, мы должны приписывать противорѣчашіе и взаимно исключающіе себя предикаты. Существенный признакъ матеріи, согласно усвояемый ей всѣми материалистами, есть инерція; но въ тоже время сїи принципы-

вастся другой, также существенный признакъ—сила, т. е. дѣятельность, активность. Какимъ-же образомъ возможно совмѣщеніе въ одномъ объекѣ обоихъ этихъ признаковъ, отрицающихъ одинъ другой? Какъ одинъ объекѣ можетъ быть въ тоже время и недѣятельнымъ и дѣятельнымъ, какъ ему могутъ принадлежать и инерція и сила? Какъ онъ въ тоже время можетъ быть и субстратомъ дѣйствія силы (т. е. матерію въ точномъ смыслѣ) и силою, дѣйствующею на этотъ субстратъ? — Далѣе, какъ мы сказали, если сила есть существенное свойство матеріи, то она должна быть постояннымъ свойствомъ ея. Но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Можемъ-ли мы сказать, что магнетизмъ, обнаруживающійся въ этомъ кускѣ желѣза, есть качество или свойство этого желѣза? Что движение камня, катящагося вслѣдствіе толчка отънѣ, есть существенная принадлежность этого камня? Очевидно, нѣтъ; потому что существенные свойства предмета суть постоянная принадлежность его природы, а не явленія, въ немъ производимыя внѣшнею ему причиною. Кусокъ желѣза можетъ вовсе и не обнаруживать магнитности, камень—не двигаться. Всѣ эти явленія возникаютъ не изъ самой природы этихъ предметовъ, не суть, слѣдовательно, ихъ качества или свойства, но только явленія въ нихъ вызванныя дѣйствіемъ на нихъ внѣшнихъ силъ. О самыхъ этихъ предметахъ или веществахъ, въ которыхъ обнаруживаются силы, можемъ сказать только то, что они имѣютъ возможность или способность, при дѣйствіи на нихъ извѣстныхъ силъ, обнаруживать извѣстныя явленія, желѣзо, напримѣръ, намагничиваться, камень катиться. Обобщая теперь и распространяя все сказанное нами на всѣ силы и законы природы, мы очевидно не имѣемъ права утверждать, что они суть атрибуты, качества или свойства матеріи, а имѣемъ право сказать только то, что матерія имѣетъ возможность или способность обнаруживать извѣстныя явленія подъ воздействиемъ извѣстныхъ силъ и опредѣляющихъ ихъ дѣйствія законовъ. Но этимъ самымъ уже предполагается, что силы и законы суть нечто самостоятельное, не производное изъ матеріи и не могущее быть простымъ ея свойствомъ \*).

\*) Что понятіе силы природы не можетъ быть выведено изъ понятія матеріи, что сила не можетъ быть свойствомъ матеріи, съ этимъ вынуждены согласиться и сами материалисты. „Сумма силъ, которую мы называемъ духомъ,

Такимъ образомъ, не жёлая признавать истинно существующимъ ничего кромѣ вещественного, материализмъ запутываетъ въ безвыходныхъ противорѣчіяхъ себѣ даже въ той области, которую считаетъ самою безспорною своею принадлежностью — въ области бытія вѣнчанаго, чувственного. Чтобы вырваться изъ этихъ противорѣчій, некоторые материалисты прибегаютъ къ послѣднему; героическому средству — къ уничтоженію тѣхъ самыхъ понятій, которыя порождаютъ такое противорѣчіе, не смотря на то, что они составляютъ краеугольныѣ, такъ сказать, камни его ученія,—это понятія силы и матеріи. Въ этомъ уничтоженіи они основываются на авторитетѣ известныхъ естествиспытателей. Такъ, по словамъ известнаго физика нашего времени Дюбуа-Реймона, понятіе силы есть не что иное, какъ не имѣющая реальности абстракція нашего ума. „Сила есть не что иное, какъ тайное исчадіе непреодолимаго стремленія нашего къ олицетворенію. Это какъ-бы реторическая уловка нашего ума, хватающагося за троны, когда у него для точнаго названія нѣть яснаго представлѣнія“. Не лучшаго мнѣнія Дюбуа-Реймона и о матеріи; и она также, какъ и сила, есть только условное отвлеченіе отъ реально существующаго. „Если идти до конца“, говорить онъ, „то легко убѣдиться, что ни матеріи, ни силь не

---

душею, мыслю“, говоритъ Бюхнеръ, „точно также не можетъ быть непосредственно воспринята нашими чувствами, какъ всякая другая сила природы;—магнетизмъ, электричество и т. д.; о силѣ можно заключать только по ея обнаружению. Мы опредѣлили силу, какъ свойство вещества, и видѣли, что та и другое нѣраздѣльны: однако-же, по понятію (*begreiflich*), та и другое далеко не сходны между собою; въ извѣстномъ смыслѣ они даже прямо отрицаютъ одна другое. По-крайней мѣрѣ мы не знаемъ, какъ можно иначе определить и представить себѣ духъ, силу природы, иначе, какъ чѣмъ-то нематериальнымъ, такимъ, что само по себѣ исключаетъ матерію, еї противоположную“. (Цит. у Мейера въ его *Philosop. Zeitfragen*. 1874, 20; 21). Но тѣмъ не менѣе считая нѣмыслимымъ отожествление силы и матеріи и выведеніе первой изъ послѣдней, Бюхнеръ въ тоже время, въ интересѣ своего міросозерцанія, считаетъ необходимымъ определить силу, какъ свойство матеріи, потому что иначе, какъ замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, „мы должны бы признать нѣчто нематериальное“,—что, само собою разумѣется, невозможно. Итакъ материалистической предразсудокъ, упорно отрицающей бытіе чего-либо нечувственного, оказывается до такой степени подавляющеее вліяніе на мышеніе матеріалистовъ, что заставляетъ немыслимое въ сущности и непонятное признавать истиннымъ и допускать явное логическое противорѣчіе.

существуетъ; то и другое—абстракціи, взятыя съ различныхъ точекъ зрѣнія отъ вещей, какъ онѣ суть на самомъ дѣлѣ\*. Съ этими словами вполнѣ согласенъ Бюхнеръ; ихъ съ сочувствіемъ приводить и Молешоттъ \*).

При такомъ неожиданномъ оборотѣ дѣла, спрашивается, изъ за чего-же хлопочетъ матеріализмъ, усиливаясь доказать, что существуетъ только матеріальное бытіе? Неужели онъ доказываетъ существованіе предметовъ (матерія и сила), понятія о которыхъ самъ-же признаетъ лишенными всякаго реальнаго значенія?

Что въ интересахъ извѣстныхъ естествоиспытателей было нѣкоторое основаніе почитать понятія силы и матеріи безсодержательными абстракціями,— это понятно. Признавая ихъ таковыми, они ближайшимъ образомъ желали устранить изъ области естествознанія бесплодный для чисто эмпирической науки разсужденія объ основныхъ началахъ бытія, устранить такъ называемую ими метафизику, какъ науку, разсуждающую о недоступныхъ опыту отвлеченностяхъ. Этому остракизму у нихъ одинаково подвергаются и идеализмъ (признающій началомъ бытія силу) и матеріализмъ (признающій такимъ началомъ матерію); истинно существующее для науки и научно изучаемое ею,—это *явленіе*. Право или нѣть въ этомъ случаѣ естествознаніе, дѣйствительно-ли въ такъ называемыхъ имъ абстрактныхъ понятіяхъ нѣть никакого реального содержанія, это вопросъ для насъ теперь сторонній \*\*). Замѣтимъ только, что при одинаковой опалѣ, которой подвергаются иногда въ естествознаніи какъ матерія, такъ и сила, матеріализму слѣ-

\*) Слова Дюбуа-Реймона у Lange въ его *Geschichte des Materialismus.* 2 B. 204. Büchner, *Kraft und Stoff.* 1, 2. Съ мнѣніемъ Дюбуа согласенъ и извѣстный физиологъ Гельмгольцъ; и онъ считаетъ понятія силы и матеріи „необходимымъ вымысломъ (*Dichtung*), съ психологическою неподобающію возникающимъ въ нашемъ умѣ олицетвореніемъ“. Если несправедливо считать силу чѣмъ-либо самостоятельно сущимъ, то „столько же же ошибочно считать и матерію чѣмъ-либо дѣйствительнымъ, а силу, наоборотъ, простымъ понятіемъ, которому ничего въ дѣйствительности не соответствуетъ. Оба понятія скорѣе суть абстракціи отъ дѣйствительности, образовавшіяся совершенно одинаковымъ образомъ; мы никогда не можемъ понять матеріи самой по себѣ, но только при помощи ея силъ“. Lange, ib. p. 216.

\*\*) Отвѣтъ на него отчасти данъ нами въ критикѣ позитивизма, съ гносеологическими воззрѣніями которого сходятся мнѣнія упомянутыхъ натуралистовъ. См. статью: „Возможна-ли философія?“ въ *Сочиненіяхъ В. Д. Кудрявцева-Платонова*, т. 1. вып. 1. стр. 41 и слѣд. Сравн. также статью: Нужнали философія?“ ibid. стр. 86 и слѣд.

довало-бы ссыльаться на подобного рода воззрѣніе съ большою осторожностью и не ставить его во главу своего міросозерцанія, какъ то дѣлаетъ, напримѣръ, Бюхнеръ. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы материализмъ принялъ это воззрѣніе серъезно и искренно, то онъ, очевидно, этимъ подписалъ-бы свой смертный приговоръ. Материализмъ, какъ философское ученіе, очевидно, есть ученіе о сущности бытія; его задача въ томъ именно и состоить, чтобы показать, что такое дѣйствительно существуетъ за психическими и физическими явленіями, и онъ решаетъ ее такъ, что существуетъ только матерія; противоположное воззрѣніе онъ объявляетъ неистиннымъ. Но если ни матерія, ни сила на самомъ дѣлѣ не существуютъ, то что же собственно существуетъ? Что такое вещи, какъ онъ на самомъ дѣлѣ суть, о которыхъ упоминаетъ Дюбуа-Реймонъ и съ которыхъ сняты, не имѣющія реального значенія, понятія силы и матеріи? Такъ какъ абстракціи сняты съ дѣйствительно существующихъ и чувствами постигаемыхъ явленій, то, очевидно, единственно истинно сущимъ и могутъ быть только явленія, какъ таковыя; ибо за ними нѣтъ ничего. Съ обычною материализму непослѣдовательностью онъ съ большою охотою готовъ признать этотъ выводъ (Молешоттъ), забывая, что этимъ онъ совершенно уничтожаетъ свой философскій характеръ, потому что научное изученіе явленій, какъ явленій, вполнѣ исчерпывается естествознаніемъ и, если не можетъ быть вопроса о лежащемъ за явленіями, то не можетъ быть и никакой философіи, материалистической также, какъ и всякой другой.

Но признавая одни только явленія истинно существующими и въ тоже время желая удержать свой материалистический принципъ, материализмъ запутывается въ повы, безвыходныя противорѣчія. Прежде всего, явленіе, по самому понятію своему, съ одной стороны, предполагаетъ нѣчто, что является, т. е. его причину или начало; съ другой—субъектъ, которому что-либо является; явленіе есть явленіе чего-нибудь и для кого-нибудь. Но причину или основу явленій, т. е. матерію, материализмъ самъ-же уничтожилъ, признавъ ее нереальнымъ, абстрактнымъ понятіемъ нашего ума. Итакъ, у него явленіе виситъ на воздухѣ, есть явленіе неизвѣстно чего, есть противологическое дѣйствіе безъ причины. Но явленіе, какъ мы сказали, есть явленіе кому-нибудь или для кого-нибудь. Итакъ, материализмъ

долженъ признать субъектъ, которому что-либо является, т. е. паше *я*, — и этотъ субъектъ, очевидно, не можетъ самъ быть материальнымъ, такъ какъ понятіе материальности уже уничтожено. Такимъ образомъ, истинно существующимъ и реальнымъ мы собственно должны признать нематериальный субъектъ, которому является *нъчто*, не имѣющее само никакой реальной основы, — субъектъ, на который дѣйствуютъ не корениящіеся ни на чёмъ феномены. Но если мы теперь вспомнимъ результаты анализа чувственного представлѣнія и обратимъ внимание на то, что въ такъ называемомъ чувственномъ явленіи, данномъ намъ въ представлѣніи, главный элементъ есть субъективный, то при отрицаніи реальности матеріи и силы природы, съ одной стороны, и при немыслимости явленія, феномена безъ реальной какой-либо основы или причины — съ другой, мы должны будемъ остановиться на мысли, что такъ называемая явленія суть явленія ощущающаго субъекта, феномены нашего *я*. Такимъ образомъ съ признаніемъ матеріи и силы абстрактными (въ смыслѣ нереальности) понятіями, матеріализмъ не только разрушаетъ самъ себя, но и пролагаетъ прямую дорогу крайнему идеализму.

Далѣе, въ самомъ признаніи матеріи и силы природы нереальными, абстрактными понятіями, заключается новое противорѣчіе. Въ какомъ смыслѣ матеріализмъ называетъ эти понятія абстракціями? Если въ смыслѣ необъективности, честности этихъ понятій (что, какъ мы видѣли, и дѣйствительно имѣется здѣсь въ виду), то онъ, очевидно, становится здѣсь на скользкую и очень опасную дорогу. Эта дорога прямо ведетъ къ уничтоженію истины всякаго познанія, въ томъ числѣ и эмпирическаго. Ибо въ чёмъ и состоить задача научного познанія природы, какъ не въ открытии и опредѣленіи силы и законовъ природы, общихъ для всѣхъ частныхъ предметовъ и явленій? Если понятія обѣ этихъ силахъ и законахъ суть не болѣе, какъ пустыя отвлеченності въ смыслѣ нереальности, то наука занимается не чѣмъ-либо существующимъ, но пустыми миражами нашего субъективнаго познанія. Истинно существующимъ будетъ одно конкретное, индивидуальное, но оно, будучи предметомъ чувственного воззрѣнія, не имѣть интереса для науки, которая не изучаетъ, да и не можетъ изучить конкретнаго по его безпредѣльной множественности, но

стремится къ изслѣдованию общаго, общихъ законовъ явленій,—того самаго, что материализмъ называетъ отвлеченнымъ\*). Но если достоинство науки и самое ея существованіе запрещаютъ намъ понимать отвлеченностъ понятій въ смыслѣ ихъ неистини и нереальности, то остается одно, и при томъ, единственно вѣрное мнѣніе, что въ общемъ и отвлеченномъ понятіи содергится элементъ реальный, обозначающей истинное въ бытіи. Если въ понятіи нашъ разумъ отвлекается что либо отъ реальнаго, то это самое отвлекаемое не есть пустой вымыселъ воображенія, но дѣйствительно реальный элементъ знанія, и при томъ элементъ для науки важнѣйшій, такъ какъ изъ многообразія явлений мы здѣсь беремъ важнѣйшее и существенное. Поэтому, и въ отношеніи къ разматриваемымъ нами понятіямъ силы и матеріи, абстрактный характеръ этихъ понятій нисколько не можетъ служить доказательствомъ ихъ нереальнаго значенія, такъ какъ, отвергая такое значеніе абстрактныхъ понятій, мы отвергали бы смыслъ и объективную истину всякаго научнаго познанія. И каждая наука занимается не конкретными предметами и мимолетными ихъ явленіями, но тѣмъ, что въ нихъ есть общаго и существеннаго, или что тоже,—имѣть дѣло не съ чувственными воззрѣніями, а съ понятіями, изъ которыхъ каждое необходимо есть абстрактное. Большая-же или менышиа степень отвлеченностіи сама по себѣ не можетъ служить мѣриломъ объективной истины, или неистини содержанія понятій; она можетъ лишь опредѣлять гносеологическій способъ изслѣдованія данного понятія и мѣсто, какое должно занимать это понятіе въ ряду научныхъ знаній. Такъ напр. основныя и наиболѣе общія понятія: матеріи, силы, закона и пр., могутъ быть предметомъ философскаго изслѣдованія, тогда какъ понятія болѣе конкретныя — содержаніемъ эмпирического знанія. Рѣшающе-жѣ значеніе въ сужденіи объ истинѣ или неистинѣ понятій должна имѣть не степень ихъ отвлеченностіи, но то, вѣрно-ли логически составлено понятіе и съ дѣйствительныхъ-ли предметовъ сняты тѣ признаки, которые вошли въ составъ его. Но что понятія силы и матеріи

\*.) Въ этомъ отношеніи можно согласиться съ замѣчаніемъ Гегеля, что конкретное не можетъ быть научно познаваемо потому, что начавъ описание какого либо конкретшаго предмета, мы не успѣли бы его кончить, такъ какъ самый предметъ истлѣль-бы, пока мы его описывали.

суть логически правильно составленныя и рационально необходимыя абстракціи, что онѣ сняты съ дѣйствительныхъ отличій, свойствъ предметовъ и явлений,—съ этимъ, какъ мы видѣли, вынужденъ согласиться и самый материализмъ. Но въ такомъ случаѣ абстрактность понятій матеріи и силы не только ничего не говоритъ въ пользу материализма, но несомнѣнно опровергаетъ его, предполагая, по крайней мѣрѣ, существованіе двухъ, не сводимыхъ одинъ на другой рядовъ явлений, или свойствъ противоположного характера,—явлений, съ которыхъ снято понятіе матеріи и которыхъ можно назвать материальными,—и явлений противоположного свойства, не сводимыхъ къ понятію матеріи, которая должно поэтому называть не материальными и съ которыхъ снято понятіе силы.

До сихъ поръ мы имѣли въ виду одно виѣшнее, чувственное бытіе и, надѣемся, показали, что даже въ этомъ бытіи, повидимому, безспорно признаваемомъ материальнымъ, находятся элементы, которые не имѣютъ признаковъ бытія материального, но которые тѣмъ не менѣе и самый материализмъ вынужденъ признать реально-сущимъ бытіемъ. Теперь перейдемъ къ другой сторонѣ бытія, которую общее сознаніе противополагаетъ бытію материальному, какъ совершенно отличный отъ него, но тѣмъ не менѣе, реальный видъ сущаго. Это область бытія психического, куда входятъ всѣ обнаруженія психической жизни какъ у человѣка, такъ и у другихъ живыхъ существъ. Въ противорѣчіе общему сознанію, материализмъ не признаетъ принципіального различія между психическими и физическими явленіями, и подводитъ ихъ подъ одно общее понятіе бытія материальнаго въ указанной пами формулѣ: все существующее материально. Посмотримъ теперь, могутъ ли быть приложены къ обнаруженіямъ духовнаго бытія тѣ признаки материальности, которые материализмъ считаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и признаками всего реально сущаго.

Прежде всего, предложимъ себѣ простой вопросъ: существуютъ-ли реально психическая явленія, напр., надежда, гпѣвъ, мысль объ извѣстномъ предметѣ, представлениe, печаль и т. п.? Повидимому, странно и спрашивать объ этомъ. О дѣйствительномъ существованіи этихъ явлений удостовѣряетъ насъ не только наше сознаніе, точно также и съ такою-же силою убѣдительности, какъ и о явленіяхъ физическихъ, но и чисто

осознательные, материальные, такъ сказать, признаки ихъ дѣйствительности, — именно, дѣйствія и видоизмѣненія какъ въ нашемъ организмѣ, такъ и въ окружающихъ насъ материальныхъ предметахъ, происходящія отъ этихъ явлений. Разгневанный человѣкъ можетъ ударить, опечаленный — заплакать, возникшая въ умѣ мысль можетъ перейти въ дѣйствительность въ видѣ дома, устроенного по мысленному плану, книги, машины, извѣстнаго поступка. Все это осознательныя, эмпирическія доказательства реальности психическихъ фактовъ; отъ не реальнаго, не истинно существующаго не можетъ произойти дѣйствительное. Итакъ, психические факты реально существуютъ. Но теперь спросимъ: могутъ ли быть приложены къ нимъ признаки материального существованія, какъ гносеологической (доступность чувствамъ), такъ и онтологической (вещественность)? Можемъ-ли мы сказать, что такое-то представленіе, мысль, чувство можно видѣть, слышать, схватить рукою, взвѣсить и пр.? Можемъ-ли мы сказать, что такая-то мысль, чувство, понятіе состоится изъ такихъ-то атомовъ или материальныхъ частицъ? Что это невозможно, — для каждого очевидно. Самый рѣшительный материалистъ не скажетъ этого; онъ скажетъ только то, что причина, производящая эти явленія, напр., мозгъ, материальна (въ какой мѣрѣ онъ имѣеть на это право, сейчасъ увидимъ), но, не рискуя сказать очевидной нелѣпости, не рѣшится сказать, что произведенія этой причины, напр., мысль, чувство гнѣва, зависть, надежда есть что-либо вещественное, имѣющее качества вещества: вѣсъ, дѣлимость, плотность и пр. Отъ чего-же это происходитъ? Повидимому, если вѣренъ материалистический принципъ: существуетъ только материальное и ничего болѣе, то должно сказать одно изъ двухъ: или что указанные нами факты, какъ не подходящіе подъ условія материального бытія и не существуютъ реально,—но этому противорѣчитъ здравый смыслъ; или мы должны сказать, что эти факты суть предметы материальныя, имѣющіе дѣлимость, плотность и другія свойства вещества, или, по крайней мѣрѣ, суть явленія, имѣющія материальный характеръ, по примѣру явленій физическихъ, которыхъ мы видимъ, слышимъ, ощущаемъ,—но этому опять противорѣчитъ здравый смыслъ. Итакъ, если материализмъ хочетъ быть послѣдовательнымъ, необходимо долженъ допу-

стить ту или другую нелѣпость: или признать психические факты не существующими, или материальными, объектами-либо или явлениями.

Какъ поступаетъ материализмъ съ представленною нами дилеммою? Устранить ее онъ думаетъ тѣмъ, что, не отвергая ни реальности психическихъ фактовъ (что не мыслимо), ни ихъ отличія отъ фактовъ чисто материального свойства, онъ старается представить такое отличие вовсе несущественнымъ и потому полагаетъ вполнѣ возможнымъ вывести эти факты, точно также какъ физическая явленія, изъ одного общаго понятія матеріи, какъ единственно истинно сущаго бытія. Съ указаніями на психические элементы онъ поступаетъ точно, также, какъ съ указаніемъ на нематериальные элементы (силы) въ области природы; онъ старается подвести ихъ подъ общее понятіе материального бытія, уничтоживъ ихъ самостоятельное значеніе и этого уничтоженія думаетъ достигнуть тремя способами, которые можно выразить въ трехъ формулахъ, вполнѣ аналогичныхъ съ вышеупомянутыми формулами, въ которыхъ онъ выражаетъ отношеніе силы къ матеріи: психическая явленія, или душа, какъ предполагаемое начало, ихъ, а) тождественна съ матерію; б) неотдѣлма отъ нея и ей имманентна; в) составляетъ свойство или проявленіе матеріи.

О формулѣ: душа тождественна съ матеріею, т. е., есть нечто материальное, должно сказать тоже, что мы сказали выше о формулѣ: сила тождественна съ матеріею. По своему содержанію эта формула должна-бы быть самымъ точнымъ и послѣдовательнымъ проведениемъ материалистического принципа, но на самомъ дѣлѣ она самая неудачная, и потому материалисты стараются обѣгать ее. Въ самомъ дѣлѣ, если душа тождественна съ матеріею, то она должна-бы иметь всѣ свойства материального бытія, должна-бы иметь вѣнчнее очертаніе, плотность, дѣлимость и пр. Мы имѣли-бы право требовать, чтобы намъ указали въ человѣкѣ на это материальное что-то, называемое душою, мыслю, понятіемъ, чувствомъ. Но это, очевидно, невозможно. Только поверхностный материализмъ древняго міра могъ утверждать, въ лицѣ, напр., Демокрита, что душа состоитъ изъ круглыхъ, огненныхъ атомовъ; или подобнаго-же рода материализмъ нѣкоторыхъ новѣйшихъ послѣдователей этого ученія, утверждавшихъ, что душа есть

своего рода невесомая, невидимая жидкость (Seelenfluidum). Такое воззрение принадлежитъ, очевидно, къ числу самыхъ поверхностныхъ, какъ потому, что ни огненныхъ шариковъ, ни психической жидкости никакое наблюдение не открывало, да и открыть не можетъ, такъ и потому, что въ самомъ предположеніи такой материальной души нѣтъ ни малѣйшей ни нужды, ни пользы для материализма. Чтобы объяснить, при помощи подобной фракціи, отличие психическихъ явлений отъ физическихъ, нужно-бы предположить какое-либо исключительное, особое вещества, совершенно отличное отъ всѣхъ другихъ веществъ природы и способное поэтому производить совершенно особыя и не встречающіяся въ физической природѣ явленія. Но такого вещества, отличного отъ всѣхъ известныхъ веществъ, не знаетъ и не можетъ допустить естествознаніе. Поэтому всего естественнѣе для материализма предположить, что, нѣтъ никакого особенного материального субстрата психическихъ явлений (материальной души), а что эти явленія производятся тѣми наличными материальными элементами, которые известны наукѣ. Что-же касается до особенной формы проявленія этихъ элементовъ (явленія психической въ отличіи отъ физическихъ), то эта особенность зависитъ только отъ особенной комбинаціи ихъ; такая комбинація и имѣеть мѣсто, въ томъ, материальномъ цѣломъ, которое мы называемъ организмомъ. Итакъ, человѣческий организмъ и есть реальное начало психическихъ явлений, совокупность которыхъ мы называемъ душою: душа не имѣетъ самостоятельного бытія, составляя одно изъ проявленій организма, наравнѣ съ другими его проявленіями, зависящими отъ химического состава его и дѣйствій въ немъ физическихъ и физиологическихъ законовъ.

Фактическое подтвержденіе этого воззрѣнія материализмъ, какъ известно, думаетъ находить въ многочисленныхъ фактахъ, такъ называемой, зависимости души отъ тѣла и черезъ посредство тѣла—отъ вышнихъ физическихъ вліяній. Логический выводъ, который долженъ слѣдовать отсюда, состоить въ томъ, что такъ какъ психическая явленія находятся въ существенной зависимости отъ организма (преимущественно мозга), который есть объектъ материальный, то самъ по себѣ они не могутъ имѣть никакого самостоятельного производящаго ихъ начала. Очевидно, это, умозаключеніе аналогично

съ тѣмъ, какое было выставляемо противъ самостоятельности силь и законовъ природы въ формулѣ: сила имманентна матеріи. Какъ тамъ, существенная связь силы съ материальнымъ субстратомъ ея дѣйствія выставлялась какъ доказательство несамостоятельности силы, такъ и здѣсь существенная связь психической силы съ организмомъ выставляется какъ аргументъ въ пользу несамостоятельности души. Но тѣ-же самыя основанія, которыя заставили насъ признать этотъ выводъ несостоятельнымъ тамъ, имѣютъ значеніе и въ настоящемъ случаѣ. Какъ имманентность силы матеріи говорила только о зависимости обнаруженій первой отъ существованія послѣдней, но нисколько не о тожествѣ ихъ, такъ точно и здѣсь связь души съ организмомъ, и въ этомъ смыслѣ имманентность души организму, можетъ говорить только о необходимости послѣдняго для обнаружепія психической жизни и ни о чёмъ болѣе. Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ фактъ связи психическихъ явлений съ органическими не только такъ, какъ онъ существуетъ въ дѣйствительности, но даже въ тѣхъ размѣрахъ, какіе желаетъ придать ему материализмъ, — именно, что эта связь такъ существенна и всеобща, что нѣть ни одного психического явленія, которое не сопровождалось бы соотвѣтствующимъ измѣненіемъ въ организме, что не можетъ быть никакой психической функции безъ органической, никакой души безъ тѣла. Что будетъ логически слѣдоватъ изъ этого факта? Ничего болѣе, кромѣ того, на что уполномочиваетъ насъ фактъ, — именно, что жизнь души вполнѣ условливается существованіемъ организма и невозможна безъ него. Положимъ, эта мысль не вѣрна, потому что выведена изъ неѣрной посылки объ абсолютной связи души съ организмомъ и полной зависимости отъ послѣдняго. Но для насъ въ настоящемъ случаѣ важно не это, а то, что указанный нами выводъ, даже при предположеніи его правильности, ни сколько не ведетъ къ мысли о несамостоятельности психического начала, а говоритъ только о тѣсномъ соединеніи его съ организмомъ. Чтобы доказать несамостоятельность этого начала, нужны какіе-либо другіе аргументы, а никакъ не указаніе на простой фактъ связи его съ организмомъ. Самъ материализмъ признаетъ существованіе конкретныхъ вещей, ихъ взаимодѣйствіе и взаимоусловливаемость; однакоже, это взаимодѣйствіе

не препятствуетъ ихъ самостоятельному существованію и не уничтожаетъ ихъ существенныхъ различій. Такъ, напримѣръ, химія различаетъ атомы элементарныхъ веществъ и признаетъ за каждымъ специфическое свойство (атомы кислорода, водорода, азота и пр.); но это не мѣшаетъ имъ вступать въ извѣстное соединеніе другъ съ другомъ и производя чрезъ то болѣе сложные продукты (сложныя тѣла), они не теряютъ отъ этого своей самостоятельности и при извѣстныхъ условіяхъ снова могутъ быть выдѣлены какъ простые элементы сложнаго тѣла. Точно также взаимная зависимость души и тѣла нисколько не говоритъ о несамостоятельности какого-либо одного изъ этихъ элементовъ нашей природы, хотя-бы они точно также были необходимы для произведенія чрезъ свое соединеніе психической жизни, какъ соединеніе, напримѣръ, атомовъ кислорода и водорода для образованія воды. Вообще и въ области болѣе сложныхъ явлений природы мы найдемъ множество примѣровъ взаимозависимости вещей и связи ихъ, но эта связь не уничтожаетъ ни ихъ самостоятельности, ни ихъ существенного различія. Растеніе, напримѣръ, вполнѣ зависитъ отъ почвы, на которой растетъ и соками которой живеть, но оно не есть продуктъ самой почвы и не могло бы вырасти безъ сѣмени и безъ другихъ еще условій, независимыхъ отъ почвы. По отношенію къ душѣ и тѣлу здѣсь достаточно припомнить старое, указанное еще Платономъ, но тѣмъ не менѣе, удачное сравненіе ихъ съ музыкою и музыкальнымъ инструментомъ (у Платона,—лирою). Звукъ, напримѣръ, скрипки, вполнѣ, повидимому, зависитъ отъ скрипки и не можетъ существовать самъ по себѣ безъ скрипки; но въ тоже время онъ не есть и продуктъ скрипки; чтобы скрипка издавала звуки, и притомъ гармонические, нуженъ музыкантъ, не зависящій отъ скрипки. Такъ и психическая явленія зависятъ, положимъ, отъ организма и безъ него невозможны; но производить ихъ не самъ организмъ, но независимое отъ него начало ихъ вызывающее, наше самостоятельное я.

Еще болѣе несостоятельна, чѣмъ указаніе на связь психическихъ и органическихъ функций, третья формула, которою материализмъ думаетъ устранить самостоятельность психического бытія и которая прямо утверждаетъ, что психическая явленія суть свойство, качество, феноменъ матеріи въ той

определенной ся формѣ, которую мы называемъ организмоmъ, конкретиmъ, — мозгомъ. Здѣсь заключается самое грубоe насилие опыта и логики. Опытъ показываетъ, что свойства, качества, проявленія предмета всегда однородны съ тѣмъ предметомъ, котораго свойства или проявленія они составляютъ и не могутъ быть ему противоположны. Логика говоритъ, что въ слѣдствіи не можетъ быть большиe, чѣмъ сколько дано въ основаніи, и что поэтому дѣйствіе или произведеніе должно быть соотвѣтственно своей причинѣ. Отсюда, — если бы причина или начало психическихъ явлений была вещественна, то и явленія или произведенія ихъ должны-бы быть также вещественными, имѣть всѣ качества и свойства вещественности. Это мы и видимъ въ предметахъ физическихъ; мы воспринимаемъ ихъ свойства и обнаруживаемъ глазомъ, слухомъ, осязаніемъ и пр. Въ отношеніи же къ явленіямъ психическихъ мы не замѣчаемъ ничего подобнаго, — и нѣтъ ничего неудачнѣе, какъ параллели и аналогіи, которая здѣсь выставляютъ материалисты для уравненія отношенія явленій физическихъ къ предметамъ ихъ производящимъ съ отношеніями явленій психическихъ къ мнимо-производящей ихъ причинѣ — мозгу. Такъ говорятъ: какъ печень выдѣляетъ желчь, какъ мочевые сосуды — мочу, какъ слюнные железы — слону, такъ мозгъ выдѣляетъ мысли, представление, сознаніе и пр. Въ томъ-то и дѣло, что эти примеры доказываютъ совершенно противное тому, что при помощи ихъ хотятъ доказать. Желчь, моча, слюна суть продукты чисто вещественные; и если-бы мы по этимъ выдѣленіямъ, не зная напр. о существованіи печени, мочеваго пузыря, слюносотдѣлительныхъ железъ, захотѣли заключать о свойствѣ этихъ органовъ, то, конечно, имѣли-бы полное право сказать: поему эти выдѣленія материальны, то и органы ихъ производящие должны быть такими-же. И наоборотъ, — предполагая, что мы ничего не знаемъ объ этихъ выдѣленіяхъ, а знаемъ только органы ихъ производящие, мы имѣли-бы право заключать: такъ какъ эти органы вещественны, то и продукты ихъ должны быть такими-же. Но очевидно, что по отношенію къ явленіямъ психическихъ такого рода умозаключеніе отъ дѣйствій къ причинѣ и отъ причины къ дѣйствію должно быть совершенно обратное.

Если психические феномены, напр., мысли, чувства, желания противоположны явлениямъ вещественнымъ, то, очевидно, и причина ихъ производящая должна быть таковою же. И наоборотъ,—если-бы причина ихъ была действительно материальною, то и эти самые явления должны-бы быть такими-же. Напр., если-бы мозгъ былъ причиною психическихъ явлений, то они должны-бы быть однородны съ нимъ, имѣть тѣ-же физические свойства видимости, осваемости, запаха, вкуса, какъ жеичь однородна по этимъ свойствамъ съ печенью, или слюна—съ железами, ее выдѣляющими.

Такимъ образомъ беспристрастный анализъ существующаго какъ въ физической, такъ, тѣмъ болѣе, въ психической области бытія \*) показалъ намъ несостоятельность онтологического положенія матеріализма: не существуетъ ничего кроме матеріального. Этотъ анализъ привелъ насъ къ заключенію, что существуетъ нечто, реальное бытіе чего вынужденъ признать и самъ матеріализмъ, но къ чему однако-же не можетъ быть приложенъ ни онтологический, ни гносеологический критерій реально сущаго, такъ какъ оно не имѣетъ свойствъ физическихъ и не можетъ быть познано посредствомъ чувственного наблюденія.

Однакоже матеріализмъ считаетъ себя въ правѣ отвергать ясные показанія опыта и общаго сознанія о коренному различіи явлений матеріальныхъ и нематеріальныхъ. Какія-жോ онъ имѣеть основанія объединять тѣ и другія въ одномъ принципѣ матеріального бытія? Какой логическій процессъ мышленія могъ привести его къ подобному выводу? Такъ какъ понятіе о недоступной непосредственному познанію сущности бытія мы можемъ получить не иначе, какъ посредствомъ умозаключенія отъ явлений къ ихъ причинѣ, то тѣмъ же самымъ единственно возможнымъ для насъ путемъ идеть и матеріализмъ и ходъ его умозаключеній кратко можетъ быть формулированъ такъ:

\*) Такъ какъ ближайшая наша цѣль—критика онтологического принципа матеріализма, то мы ограничились только краткимъ указаніемъ тѣхъ особенностей бытія физическаго и духовнаго, которые не могутъ быть подведены подъ этотъ принципъ и потому разрушаютъ его. Болѣе обстоятельное раскрытие понятій о сущности, силахъ и законахъ природы и о сущности духовнаго начала принадлежить специальнымъ философскимъ изслѣдованіямъ о бытіи физическомъ (космология) и духовномъ (раціональная психологія).

Все, что мы ни знаемъ, какъ о себѣ самихъ, такъ и объ окружающихъ часть предметахъ, знаемъ только посредствомъ чувствъ; но всѣ познаваемыя виѣшними чувствами явленія вещественны; если-же явленія предметовъ вещественны, то, очевидно, и сущность или причина явленій можетъ быть только веществомъ; итакъ, истинно существуетъ только материальное бытіе.

Съ формально-логической стороны это умозаключеніе могло-быть названо правильнымъ; но если обратимъ вниманіе на содержаніе его посылокъ, то легко примѣтимъ, что онъ представляютъ рядъ ложныхъ и ошибочныхъ мыслей, ведущихъ къ ложному заключенію.

Что касается до первой посылки материализма, имѣющей гносеологический характеръ,—именно, что всѣ познанія наши происходятъ не иначе, какъ отъ чувствъ, или, выражаясь формулой родственного материализму сенсуализма: *nihil est in intellectu, quod non ante fuerit in sensu*, то полный разборъ этого ученія въ настоящемъ случаѣ былъ бы преждевременнымъ. Слѣдующій за анализомъ чувственного познанія анализъ дѣятельности разсудка, затѣмъ ума, покажетъ намъ, что, вопреки мнѣнію сенсуалистовъ, въ нашемъ разсудкѣ есть понятія, а въ нашемъ умѣ идти, происхожденіе которыхъ не зависитъ отъ одного чувственного опыта. Здѣсь ограничимся только замѣчаніемъ, что то самое понятіе, которое лежитъ въ основѣ всего материалистического воззрѣнія,—именно понятіе матеріи, опровергаетъ его ученіе о происхожденіи всѣхъ нашихъ познаній изъ опыта. Единственно вѣрный и несомнѣнnyй критерій достовѣрности бытія есть опытъ и наблюденіе; истинно существуетъ только то, что мы можемъ знать посредствомъ чувственного опыта, видѣть, слышать, ощущать. Иного завѣренія въ истинѣ бытія для него быть не можетъ, такъ какъ онъ отвергаетъ достовѣрность въ этомъ случаѣ всякаго рода познанія, кроме чувственного. Но видѣлъ-ли кто матерію саму по себѣ? достигъ-ли посредствомъ наблюденія или эксперимента, посредствомъ механическаго раздробленія или химическаго разложенія, до того, что мы называемъ атомами и въ чёмъ, по его мнѣнію, сущность матеріи? Ни матеріи, ни атомовъ никто не видалъ, не осязалъ; поэтому никакой материалистъ, если желаетъ быть вполнѣ вѣрнымъ своей гносеологии,

ческой теорії, не имѣть права сказать, что существуютъ атомы или матерія. Очевидно, то, что онъ называетъ матеріей, не есть такой реальный предметъ, о существованіи котораго сказали ему чувства, но чистое понятіе ума,— понятіе субстанціи видимыхъ вещей, принимаемое имъ для объясненія бытія частныхъ предметовъ и явлений. Но понятіямъ ума, не основаннымъ на наблюденіи, онъ не придаетъ никакого реальнаго значенія. Итакъ, въ самомъ принципѣ материализма мы находимъ противорѣчіе. Онъ не хочетъ признавать истинно существующимъ ничего, о бытіи чего не даютъ намъ знать виѣшнія чувства, а между тѣмъ признаетъ бытіе матеріи или атомовъ, о которыхъ ничего не даютъ и не могутъ дать знать чувства. Онъ утверждаетъ, что существующимъ можетъ быть названо только то, бытіе чего удостовѣряется опытомъ и наблюдениемъ, а между тѣмъ называется существующимъ и при томъ единственно существующимъ такой объектъ, къ понятію о которомъ онъ доходитъ путемъ не опыта, а умозаключенія, составленного на основаніиaprіорнаго понятія о субстанціи (сущности).

Итакъ, первую гносеологическую посылку материализма: „все, что мы ни знаемъ, знаемъ только посредствомъ чувствъ“, мы должны признать новѣрною. „Но все познаваемыя посредствомъ чувствъ явлений“, продолжаетъ материализмъ, „вещественны; если-же явления предметовъ вещественны, то, очевидно, и причина ихъ или сущность можетъ быть только веществомъ“. Эта послѣдняя мысль могла-бы быть справедливою, если-бы материализмъ успѣлъ предварительно доказать, что все, что ни является нашему сознанію, вещественно. Но мы видѣли совершенно иное; мы указали въ области явлений много такихъ, которые никакъ не подходятъ подъ понятіе материальности, таковы напр. всѣ феномены психические. Но и помимо этихъ феноменовъ, въ самыхъ чувственныхъ явленияхъ материализмъ вынужденъ допустить элементъ нечувственный. Въ самомъ дѣлѣ, материализмъ, по крайней мѣрѣ тотъ, который считаетъ себя выше, такъ называемаго, наивнаго материализма, признающаго реальность чувственного міра въ томъ именно видѣ, въ какомъ онъ кажется нашимъ чувствамъ непосредственно,—на основаніи фактовъ анализа чувственного представлія соглашается, что это представление не выражаетъ

собою истинно сущаго бытія, что въ немъ преобладаетъ субъективный элементъ, что на счѣтъ этого элемента должна быть отнесена большая часть физическихъ свойствъ вещей, цвѣтъ, напр., запахъ, вкусъ и пр. Онъ противополагаетъ этотъ субъективный элементъ, какъ не дающій понятія о дѣйствительномъ бытіи вещей, элементу объективному. Но въ такомъ случаѣ, что-же будетъ значить этотъ субъективный элементъ, привозпѣдшій въ представлениѣ, и откуда онъ возникъ? Онъ не можетъ быть, что и допускаетъ матеріализмъ, реальнымъ обнаружениемъ истинной природы вещей; не можетъ быть, слѣд., продуктомъ матеріи или ея объективнымъ феноменомъ. Слѣд., по самому существу своему онъ не матеріального свойства и не произвѣденіе матеріальной причины; для своего объясненія онъ необходимо предполагаетъ иное противоположное начало, которое вызываетъ извѣстнаго рода феномены по поводу реальнаго дѣйствія на него предметовъ физическихъ,— феномены, называемые нами представлениями. Словомъ, какъ скоро матеріализмъ призналъ субъективный элементъ въ нашемъ представлениіи о внѣшнемъ мірѣ, какъ скоро противоположилъ его элементу объективному, онъ тѣмъ самымъ допустилъ существование начала субъективнаго, нематеріального бытія, на ряду съ называемымъ имъ объективнымъ, матеріальнымъ.

Но если даже самыя представления о вещественныхъ предметахъ указываютъ на существованіе элемента невѣщественнаго, то, очевидно, не можетъ быть признано вѣрнымъ и общее заключеніе матеріализма о сущности бытія: „существуетъ только матеріальное“. Если мы имѣемъ право умозаключать отъ дѣйствій къ причинамъ, бѣтъ явленій къ сущности, обнаружения которой они составляютъ, то анализъ явленій приводитъ насъ къ такого рода заключенію: явленія міра внѣшняго, доступныя намъ въ чувственномъ представлениі, различаясь существенно отъ явленій чисто психическихъ, заставляютъ насъ предполагать некоторую особую причину или сущность ихъ условливающую, которую мы называемъ матеріею; явленія психической и аналогичныя съ ними въ природѣ внѣшней (напр. органическія) заставляютъ насъ предполагать иное начало ихъ происхожденія; называемое нами нематеріальнымъ, духовнымъ. Это заключеніе основывается на томъ логическомъ

законъ, что дѣйствіе не можетъ быть противоположно своей причинѣ по своимъ качествамъ, и что въ причинѣ не можетъ быть менѣшѣ того, что есть въ произведеніи; причина или основаніе должно быть достаточнымъ для объясненія слѣдствія основаніемъ. Этотъ законъ прямо нарушается материализмомъ, который, признавая матерію истинно и единственно сущимъ бытіемъ, долженъ приписать предполагаемымъ ея произведеніямъ такія качества и свойства, которыя ей совершенно чужды; таковы напр. всѣ тѣ свойства, которыми характеризуется духовное бытіе и которыя, какъ мы видѣли, никакъ не выводимы изъ матеріи.

До сихъ поръ мы занимались обсужденіемъ онтологического принципа материализма независимо отъ тѣхъ выводовъ, которые могутъ быть сдѣланы изъ него въ примѣненіи къ знанію и жизни. Теперь обратимъ вниманіе на теоретическіе и практическіе результаты, къ какимъ необходимо должно привести послѣдовательное проведеніе этого принципа; эти результаты тѣмъ яснѣе покажутъ намъ его несостоятельность.

Прежде всего, послѣдовательно проводя материалистическое воззрѣніе, мы неминуемо придемъ къ уничтоженію всякаго знанія,—философскаго въ особенности, включая сюда и самый материализмъ, какъ философскую теорію. Если истинно существуетъ только материальное и познаваемое при помощи чувствъ, если все материальное подчинено въ своемъ обнаруженіи необходимымъ законамъ, то можетъ-ли быть при этомъ воззрѣніи на сущность бытія и знанія какое-либо различіе между истинною и ложью, какая-либо объективная оцѣнка знаній по ихъ достоинству и степени достовѣрности? Какъ безразсудно съ точки зрѣнія материализма говорить объ истинномъ или неистинномъ сочетаніи материальныхъ частицъ въ мозгу, объ истинной или неистинной желчи, выдѣляемой печенью, такъ-же точно безразсудно говорить и объ истинѣ или неистинѣ представленій, понятій, выдѣляемыхъ мозгомъ. Если процессъ мышленія и познанія есть точно такой-же естественный и необходимый процессъ, какъ и внѣшніе процессы видимой природы, совершающіеся неизбѣжно такъ или иначе при данныхъ условіяхъ, то говорить о качествѣ этого процесса по отношенію къ истинѣ также непозволительно, какъ называть, напримѣръ, такое-то химическое соединеніе хорошимъ, справедли-

вымъ, разумнымъ, а другое—дурнымъ, истииннымъ. Всѣ мысли, всѣ понятія, всѣ умозаключенія должны имѣть равное естественное право существованія и быть равно законопосообразными; ни одному изъ нихъ не можетъ быть дано предпочтенія предъ другими. Поэтому и материалистъ противорѣчитъ самъ себѣ, когда отдаетъ превимущество своей теоріи предъ другими, свои мысли считаетъ истинными, а мысли своихъ противниковъ ложными. Если наши мнѣнія и воззрѣнія различаются между собою, то причина этого можетъ заключаться только въ различіи обстоятельствъ и условій, которыя содѣйствовали ихъ возникновенію. Внутренней, самостоятельной цѣлности, какъ невольныя, естественные порожденія этихъ условій, онѣ имѣть не могутъ.

Правда, материализмъ можетъ здѣсь сдѣлать различіе между благопріятными и неблагопріятными условіями возникновенія мысли и понятій, и мысли, выдѣленныя мозгомъ при первыхъ, назвать нормальными, естественными, или, что тоже,—истинными; при послѣднихъ—ненормальными, не истинными. Но имѣеть-ли онъ право, съ своей точки зрѣнія, говорить о нормальности или ненормальности чего-либо и противополагать первую послѣдней по достоинству? Понятіе нормальности предполагаетъ понятіе о совершенствѣ; но можетъ-ли имѣть мѣсто такое понятіе при одинаковой естественности и необходимости всѣхъ явлений? По принципу материализма въ дѣйствительности все можетъ быть только нормальнымъ, потому что все совершается по нормѣ, по необходимымъ законамъ природы, уклоненіе отъ которыхъ невозможно. Далѣе, различеніе благопріятныхъ и неблагопріятныхъ условій и обстоятельствъ происхожденія мыслей въ мозгѣ для объясненія различія ихъ нормальности и ненормальности, или, что тоже,—истинности и ложности, рѣшительно противорѣчитъ опыту. Мы видимъ, что при совершенно одинаковыхъ обстоятельствахъ и условіяхъ, тотъ-же самый предметъ различно обсуждается и понимается различными людьми.. Отсюда слѣдуетъ, что различіе нашихъ мыслей должно зависѣть не отъ неизвѣстныхъ благопріятныхъ или неблагопріятныхъ обстоятельствъ, но отъ различного состоянія и свойства мозга каждого отдельного лица, — что и допускаетъ также материализмъ. Мы должны признать, что нормальные, т. е. истинные мысли и теоріи (въ томъ числѣ

разумѣется и материалистическая) создаются или, точиѣ, — выдѣляются нормальнымъ мозгомъ, всѣ-же другія, ложныя, ненормальнымъ. Но имѣеть-ли опять право материализмъ съ своей точки зрењія называть одинъ мозгъ нормальнымъ, другой нѣтъ? Всѣ мозги, со всѣми ихъ отправлениями, какъ за-  
копосообразные продукты организма, должны быть одинаково нормальны; какое-либо уклоненіе отъ законовъ природы здѣсь невозможно. Далѣе, такое воззрѣніе противорѣчить опыту и ведетъ къ страннымъ, нелѣпымъ заключеніямъ. У одного и того же лица, у самаго материалиста, у котораго, по его теоріи, мозгъ долженъ находиться въ самомъ нормальномъ состояніи, постоянно смѣняются мысли истинныя ложными и, наоборотъ, постоянно проходятъ въ головѣ понятія очень различного достоинства и цѣнности. Отсюда должно слѣдовать, что одинъ и тотъ-же мозгъ находится постоянно то въ нормальномъ, то въ ненормальномъ, то въ полунормальномъ состояніи, такъ какъ производить мысли то вѣрныя, то невѣрныя, то сомнительныя; иначе: такъ какъ нормальной мозгъ есть здоровый, ненормальный — больной, то человѣкъ находится периодически то въ болѣзненномъ, то въ здоровомъ состояніи мозга.

Какъ не можетъ материализмъ объяснить смѣны истинныхъ и ложныхъ мыслей въ отдѣльныхъ лицахъ, также точно не можетъ объяснить ни существованія, ни распространенія, ни общеобязательности истины между людьми.

Прежде всего, и здѣсь материалистическое опредѣленіе истины, какъ выраженія нормального, и лжи, какъ ненормального состоянія мозга и его функций, оказывается такою-же противорѣчашею опыту фикცію, какъ и въ приложеніи этого объясненія къ отдѣльнымъ лицамъ. Физіологію доказано, что часто не бываетъ никакого различія въ составѣ и строеніи мозга даже у идиотовъ и разумныхъ людей, тѣмъ болѣе въ мозгахъ одинаково даровитыхъ людей. Между тѣмъ не только между умными и глупыми, но даже между самыми умными и даровитыми людьми, между учеными существуетъ величайшее разнообразіе мнѣній и взглядовъ, изъ которыхъ необходимо одни должны быть истинными, другіе ложными.

Сгладить эти различія мнѣній, устранивъ заблужденія есть постоянная задача науки, стремящейся къ открытію истины;

и таково чудесное свойство истины, что, будучи разъ открыта и познана, она неудержимо покоряетъ себѣ умы, исправляетъ заблужденія и становится достояніемъ всеобщимъ. Спрашивается, можетъ-ли материализмъ объяснить это могущественное и для всѣхъ обязательное дѣйствие истины на умы? Такъ какъ, по его теоріи, всѣ мысли суть одипаково естественные и необходимые продукты мозга, который у каждого индивидуума по природѣ различенъ, то для него не можетъ быть никакой общеобязательной истины и совершенно необъяснимо ся вліяніе и могущество истины на умы, равно какъ и исправленіе, при помощи ея, заблужденій. По крайней мѣрѣ никакъ нельзя понять, да материализмъ и не дѣластъ никакой попытки къ объясненію этого явленія, какимъ образомъ раздраженіе нервовъ въ органахъ чувствъ, будетъ-ли то посредствомъ звука произнесенныхъ словъ, или посредствомъ взгляда на буквы книги или рукописи, хотя-бы оно и побуждало мозгъ къ выдѣленію новыхъ мыслей,—вмѣстѣ съ тѣмъ въ состояніи было-бы возбудить сознаніе или представленіе, что прежняя мысль была ложною, а вновь появившаяся есть истинная. Далѣе,—для материализма прогрессъ наукъ, устраненіе вкоренившихся предразсудковъ и заблужденій, зависитъ отъ улучшения мозга людей. Но какимъ образомъ, пока истина еще не открыта, дурной и пока не улучшенный мозгъ можетъ произвести однакоже мысль болѣе нормальную, которая должна улучшить и самый мозгъ? Точно также совершенно непонятно, какимъ образомъ мысль, возникшая въ головѣ, напримѣръ, Нѣмца, можетъ быть воспринята, т. е. понята мозгомъ Француза, Русскаго, Китайца, Негра,—людей, голова и мозгъ которыхъ образовались при совершенно другихъ естественныхъ вліяніяхъ и условіяхъ, и притомъ не только воспринята, но и признана какъ истинная? Наконецъ, какимъ образомъ при постоянной сменѣ вещества мозга, при измѣнчивыхъ воздействиіяхъ природы на мозгъ и на нервную систему, мы можемъ удержать какую-либо мысль, анализировать ее, соединять и сравнивать съ другою,—словомъ, какимъ образомъ возможно для насъ условіе всякаго научнаго познанія — размышленіе, наблюденіе, обсужденіе?

Для материализма не можетъ быть поэтому никакой всеобщей, всѣми обязательно познаваемой и признаваемой истины.

Сколько различныхъ мозговъ и мозговыхъ состояній, столько же безусловно *необходимо должно* являться различныхъ, съ перемѣною состояній и внѣшнихъ воздействиій измѣняющихсяъ, мыслей, мнѣній, убѣжденій. Но этимъ уничтожается истина всякой науки, всякой теоріи, въ томъ числѣ и самаго материализма. Если онъ на основаніи фактовъ долженъ признать, что нѣтъ никакой разницы между мозгомъ идеалиста и материалиста, что оба они равно нормальны, то послѣдовательно онъ долженъ допустить и то, что и основная мысль или принципъ идеализма имѣеть однаковое право существованія, одинаковое значеніе и цѣнность, какъ и его собственный материалистический принципъ. Но признавая равноправность, вмѣстѣ съ своимъ, противоположнаго принципа, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ противорѣчитъ себѣ и разрушаетъ истину своего собственнаго воззрѣнія. Его воззрѣніе не общеобязательная истина, по случайный продуктъ специфически устроеннаго мозга; для иначе устроенной головы обязательны другія воззрѣнія; подлинной для всѣхъ одинаково достовѣрной истины нѣтъ и быть не можетъ.

Какъ уничтоженіе различія между истиной и ложью, а вмѣстѣ съ тѣмъ уничтоженіе достовѣрности знанія, есть послѣдовательный теоретический результатъ материализма, такъ точно уничтоженіе различія между добромъ и зломъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и истинной правственности, есть его естественный практическій результатъ. По теоріи материализма, добро и зло не есть дѣло свободнаго самоопределѣленія, но точно также, какъ истина и ложь, есть результатъ необходимо дѣйствующихъ физическихъ, физиологическихъ и соціальныхъ условій. Такъ называемая свободная воля, какъ выражается одинъ новѣйший материалистъ (Молешоттъ), „есть не что иное, какъ необходимое выраженіе, внѣшними вліяніями условливааемаго, состоянія мозга“, а самъ человѣкъ „только сумма родителей и кормилицы, мѣста и времени, воздуха и погоды, звука и свѣта, пищи и одежды“, или еще короче, по выраженію Фейербаха, человѣкъ „есть только то, что онъ єсть“ \*).

Что съ уничтоженіемъ свободы воли и самоопределѣляемости человѣка исчезаетъ всякая отвѣтственность его за свои по-

---

\* ) Der Mensch nur ist was er isst. Ulrich, Leib und Seele. 1866. 3.

ступки, всякое различие между правымъ и неправымъ, добродѣтелью и порокомъ, понятно само собою. Поэтому новѣйшій материализмъ поступаетъ совершенно послѣдовательно, когда прямо отрицаеть такое иєническое различие, а пороки и преступленія объявляясь обнаруженіями болѣзниенного состоянія мозга, нервной системы, и потому невмѣняемыми. Но такой взглядъ и противорѣчитъ опыту и ведеть къ нелѣпымъ, противорѣчающимъ выводамъ. Противорѣчитъ опыту, потому что физиологически несомнѣнно, что нѣтъ никакого различія между мозгомъ добродѣтельного и порочнаго, между мозгомъ отъявленаго обманщика, закоренѣлаго преступника и самаго честнаго и нравственнаго человѣка; никакихъ слѣдовъ болѣзниности или патологичнаго устройства въ головѣ первыхъ наука не открыла. Ведеть къ нелѣпому результату, потому что съ точки зреінія материализма съ равнымъ правомъ можно утверждать и то, что справедливость, честность, добродѣтель происходятъ отъ болѣзниенного строенія мозга и нервной системы, а, напротивъ, несправедливость и безнравственность означаютъ здоровое состояніе ихъ. Даже болѣе, это послѣднее мнѣніе имѣть болѣе основаній въ свою пользу, такъ какъ въ человѣчествѣ вообще несправедливость и безнравственность распространены болѣе и встречаются чаще, чѣмъ истинная добродѣтель; а такъ какъ всякая болѣзнь должна встречаться только какъ исключеніе, а здоровье какъ общее правило, то болѣе всеобщее, чаще встречающееся состояніе (т. е. состояніе порочности) мы и должны считать состояніемъ здоровья, нормальнымъ. Что эта уродливая мысль не такъ чужда материализму, какъ можетъ показаться, доказательствомъ служить не разъ высказывавшая мысли, что геніальность напр. есть собственно болѣзниенное состояніе мозга, что гений въ своемъ родѣ сумасшедший, что высшее проявленіе нравственного совершенства въ аскетизмѣ есть патологично возбужденное состояніе нервовъ и т. п. Отъ этихъ мыслей недалекъ переходъ и къ послѣдовательно вытекающему изъ принциповъ материализма заключенію, что и самая добродѣтель есть своего рода болѣзнь, не болѣе.

При указанномъ воззрѣніи материализма на свободу воли и на различіе добра и зла, кажется само собою понятно, что въ жизни практической онъ можетъ вести только къ самымъ

гибельнымъ для нравственной и общественной жизни послѣдствіямъ. Правда, материализмъ часто отрекается отъ этихъ естественныхъ своихъ выводовъ. Онъ указываетъ на системы, принадлежащія извѣстнымъ философамъ материалистамъ, какъ на доказательство, что и съ его точки зреянія вполнѣ мыслимо и возможно чистое нравственное ученіе. Такъ наиболѣе замѣчательный и вліятельный представитель древняго материализма Епікуръ, въ своей философіи, не смотря на ея идонистическій характеръ, проповѣдуетъ умѣренность во всемъ, какъ условіе истиннаго счастія. Въ новое время никто съ такимъ паѳосомъ не воніялъ противъ безнравственности своего времени, никто съ такою энергию не требовалъ коренныхъ соціальныхъ улучшеній во имя разума и нравственности, какъ энциклопедисты прошлаго столѣтія. Въ новѣйшее время лучшіе изъ материалистовъ держатся въ нравственной философіи теоріи утилитаризма, которая, благодаря растяжимости слова — *полъза* и широкому смыслу съ нимъ соединяемому, предла гаетъ часто ученіе если не въ принципѣ, то въ частныхъ правилахъ довольно согласное съ ученіемъ истинной морали. Но всѣ подобнаго рода теоріи свидѣтельствуютъ не о вѣрности теоретическаго принципа материализма, но только о томъ, что врожденное человѣку уваженіе къ нравственному закону и стремленіе къ нравственной дѣятельности не изгладимо никакими софизмами разума и что оно невольно заставляетъ материализмъ противорѣчить самому себѣ, какъ скоро дѣло доходитъ до приложения его принципа къ жизни. Всѣ подобнаго рода иєническія воззрѣнія составляютъ приставокъ къ теоретическому ученію материализма, не связанный съ нимъ логически, что вполнѣ и сознаютъ болѣе послѣдовательные материалисты, прямо проповѣдующіе эгоизмъ и безграничное удовлетвореніе чувственныхъ желаній. Въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь одно: или всѣ дѣйствія человѣка безусловно опредѣляются властивющими въ немъ и въ окружающемъ его соціальному и физическому міру законами, — тогда для него не мыслимо ни измѣненіе этихъ законовъ, ни уклоненіе отъ нихъ; или: какъ уклоненіе, такъ и измѣненіе къ лучшему какъ человѣка, такъ и окружающей его соціальной среды возможно, — въ такомъ случаѣ въ человѣкѣ есть сила дѣйствовать свободно и измѣнять по своему усмотрѣнію окружающую его дѣйствительность. При-

знавъ первое, материализмъ сталъ-бы явно противорѣчить фактамъ, указывающимъ на возможность свободныхъ частныхъ и общественныхъ усовершенствованій, на возможность при этомъ идти вопреки своихъ собственныхъ естественныхъ влеченій и увлеченій. Признавъ послѣднее, онъ долженъ разрушить свою собственную теорію безусловнаго детерминизма и признать свободу воли, которая мыслима только при предположеніи самостоятельнаго, духовнаго начала, отличнаго отъ подчиненія безусловной механической необходимости, властвующей надъ міромъ физическимъ. Но такъ какъ ни то, ни другое для материализма невозможно, то не удивительно, что когда дѣло идетъ о практическомъ примѣненіи его началъ, онъ запутывается въ безвыходныхъ противорѣчіяхъ, то утверждая безусловную неизбѣжность всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, то обращаясь къ человѣку въ своей нравственной философіи съ различнаго рода требованіями и предписаніями, въ своихъ соціальныхъ сочиненіяхъ съ убѣжденіями къ исправленію различныхъ общественныхъ недостатковъ, къ осуществленію различныхъ плановъ общественнаго благоустройства. Но какой смыслъ могутъ имѣть всѣ подобнаго рода предписанія и убѣжденія, если всѣ дѣйствія человѣка неизбѣжно предопредѣляются его материальною природою? Какая цѣль этихъ убѣжденій? Если всѣ дѣйствія человѣка одинаково необходимы и законосообразны; если какъ добродѣтель, такъ и порокъ суть явленія равно естественные и, какъ таковыя, нормальныя: то человѣкъ не можетъ иначе поступать, какъ поступаетъ; онъ не можетъ идти противъ своей природы. Заботиться о томъ, чтобы человѣкъ измѣнился къ лучшему, дѣйствовалъ иначе, чѣмъ дѣйствуетъ, убѣждать его къ тому, такая-же химера, какъ заботиться о томъ, чтобы камень не падалъ къ землѣ, или чтобы вода текла не внизъ, а вверхъ \*).

## II.

Анализъ чувственного представленія, какъ основной и первоначальной формы эмпирическаго познанія, привелъ насъ къ

\*) Въ изложеніи теоретическихъ и практическихъ результатовъ материализма мы отчасти пользовались сочиненіемъ Ульрици: *L ib und Seele*. 1866. 3--8.

убѣжденію въ несостоятельности онтологическаго принципа материализма, такъ какъ ясно показалъ намъ, что въ томъ самомъ, что обыкновенное сознаніе и, такъ называемый, наивный материализмъ почитаетъ объективнымъ и принадлежащимъ къ вѣнъ нась существующимъ вещамъ, находится нематериальный элементъ. Дальнѣйшій анализъ постигаемой вѣнѣніи и внутреннимъ чувствомъ дѣйствительности несомнѣнно показалъ намъ, что, кроме такъ называемаго материальнаго бытія, мы должны признать существованіе иного рода бытія, по своимъ свойствамъ противоположнаго первому, которое мы называемъ духовнымъ.

Но тотъ-же самый анализъ чувственного представлениія, по-видимому, ведетъ насть гораздо далѣе простаго опроверженія материалистического понятія о сущности бытія и утвержденія истины бытія духовнаго на ряду и наравнѣ съ вещественнымъ. Если мы вспомнимъ, что въ послѣдовательномъ движениі философской мысли, критически разлагающей понятіе о чувственной дѣйствительности, мало-по-малу исчезала объективность не только физическихъ свойствъ вещей, напр. цвѣта, запаха, вкуса и пр., но и самыхъ, по видимому, всеобщихъ и необходимыхъ ея опредѣленій чувственного бытія, каковы напр. величина, движеніе, пространство, время, —то невольно возникаетъ вопросъ: что же наконецъ осталось отъ такъ называемаго материальнаго, вѣнѣнаго міра и не исчезъ-ли онъ самъ, какъ реальность, за исчезновенiemъ всѣхъ своихъ свойствъ? Если вспомнимъ, далѣе, что за исчезновенiemъ міра какъ реального объекта, въ насть однако же осталось субъективное представлениe о мірѣ, принадлежащее нашему *я*, что это наше *я* принадлежитъ къ области бытія нематериальнаго, духовнаго, которое такимъ образомъ одно удержало свою само стоятельность при разрушениі иллюзіи самостоятельно сущаго материальнаго міра, то спрашивается: не есть-ли это духовное бытіе единственно сущее и реальное бытіе, а такъ называемое чувственное бытіе простой его феноменъ?

Положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ и даетъ противоположное материализму воззрѣніе, извѣстное подъ общимъ именемъ *идеализма*, ученіе котораго о вѣнѣніи, чувственномъ бытіи и подлежитъ теперь нашему изслѣдованію.

Тогда какъ материализмъ въ существенныхъ чертахъ пред-

ставляеть довольно однородное учение во всѣ времена, идеализмъ въ исторіи философіи является съ чрезвычайно разнородными оттѣнками, которые, однакоже, по отношенію къ учению о чувственномъ бытіи, удобно могутъ быть подведены подъ два главные типа: идеализмъ объективный и субъективный. Какъ тотъ, такъ и другой, одинаково отрицаютъ самостоятельное и независимое отъ нашего познающаго я существование *представляемаго* нами, на основаніи показаній нашихъ чувствъ, вещественного міра. Различіе между ними состоить только въ объясненіи происхожденія этого представляемаго нами міра. Объективный идеализмъ считаетъ его исключительнымъ произведеніемъ какой-либо духовной сущности, будеъ-ли этою сущностью паше я или абсолютная духовная субстанція. Идеализмъ субъективный, для объясненія происхожденія въ насъ субъективнаго феномена внѣшняго міра, кроме нашего я, считаетъ возможнымъ допустить бытіе реальнаго, внѣ насъ существующаго объекта, но утверждаетъ въ тоже время, что этотъ объектъ въ своей дѣйствительной сущности совершенно намъ неизвѣстенъ и недоступенъ нашему познанію; извѣстно о немъ только то, что онъ служить по-водомъ или мотивомъ къ возникновенію въ насъ различныхъ субъективныхъ представленій о вещахъ, которая въ сущности нисколько не совпадаютъ съ дѣйствительными вещами и не даютъ никакого понятія о нихъ. Но такъ какъ объ этомъ предполагаемомъ реальному объектѣ мы ничего не знаемъ, а то, что, повидимому, знаемъ, есть только наше представленіе, то, въ сущности, возврѣнія на внѣшній міръ какъ субъективнаго, такъ и объективнаго идеализма, сходятся: міръ, намъ извѣстный, есть наше только представленіе и какъ реальное и самостоятельное бытіе не существуетъ.

1. Исторія философіи представляетъ намъ различныя формы объективнаго идеализма. Общее между ними — отрицаніе истиннаго бытія внѣшней, чувствами постигаемой, конкретной дѣйствительности. Истинное бытіе полагается въ бытіи единомъ, простомъ, духовномъ. Это единое бытіе носить различныя названія у различныхъ философовъ идеалистического направления. Это — „бытіе“ Елеатовъ, абсолютная субстанція Спинозы, Божество Берклия, абсолютное я Фихте, абсолютная идея Гегеля и пр. По отношенію къ этому истинно сущему бытію

внѣшняя, чувственная дѣйствительность есть не что иное, какъ отрицаніе, ограниченіе, видоизмѣненіе или ино-бытие абсолютнаго начала. Такъ она есть призрачное произведеніе божественной воли у Берклса, самоограниченіе абсолютнаго *я* у Фихте, моментъ саморазвитія абсолютной идеи у Гегеля и пр. Истинно существуетъ для идеализма одно абсолютное; чувственно-множественное бытие, будетъ-ли оно отрицаніемъ абсолютнаго, созданіемъ его или переходнымъ моментомъ въ его-же собственномъ бытіи, уничтожаемымъ послѣдующими, во всякомъ случаѣ не имѣть самостоятельного отдѣльного бытія.

Въ какомъ отношеніи находится все вообще чувственное бытие къ бытию абсолютному, въ такомъ-же отношеніи и нами въ частности представляемое чувственное бытие находится къ нашему *я*, которое составляетъ моментъ въ *я* абсолютномъ. Чувственный міръ, мною представляемый, есть не что иное, по выражению Фихте, какъ полагаемое дѣятельностю моего *я*, — *не я*, видоизмѣненіе, ино-бытие или ограниченіе моего *я*.

Какъ ни противорѣчитъ такое воззрѣніе на чувственную дѣйствительность общему сознапію, но надобно отдать справедливость идеализму въ томъ, что онъ исходитъ не изъ какихъ-либо недоказанныхъ предположеній, но, какъ требуетъ правильный философскій методъ, изъ положеній критически проверенныхъ и рационально обоснованныхъ,—и въ этомъ его несомнѣнное преимущество предъ материализмомъ. Это исходное его начало есть та критика непосредственного эмпирическаго познанія, главные факты которой мы изложили выше и общій результатъ которой заключается въ томъ, что видимый міръ для нашего познанія существуетъ только, какъ представление, слѣдовательно—какъ нѣчто духовное, идеальное. Этого результата въ сущности не отвергаетъ и материализмъ, по-крайней мѣрѣ, научный материализмъ, имѣющій притязаніе возвышаться надъ такъ называемымъ вульгарнымъ или наивнымъ материализмомъ. Но тогда какъ онъ или игнорируетъ всю важность и силу этого вывода или продолжаетъ вопреки ему упорно держаться своего воззрѣнія на абсолютную реальность вещественного бытія и абсолютную истину чувственного познанія, идеализмъ имѣеть по крайней мѣрѣ то преимущество, что, твердо держась указаній критического анализа чувственной дѣй-

ствительности, не только не признаетъ ея абсолютной реальности, но справедливо считаетъ бытіе нашего духа, который служитъ источникомъ нашего представлениі о мірѣ, болѣе достовѣрнымъ, чѣмъ предполагаемое бытіе вещества у матеріалистовъ; потому что, какъ мы видѣли, не только представлениіе о чувственныхъ свойствахъ вещей, но и самое понятіе о матерії въ сущности есть произведеніе нашего познающаго духа. Но такъ какъ за исключениемъ изъ области виѣ наскъ сущаго бытія не только его чувственныхъ свойствъ, но и самой матерії, какъ посительницы этихъ свойствъ, въ немъ, по видимому, не остается ничего мыслимаго и представляемаго, то естественно возникаетъ вопросъ: существуетъ-ли вообще что-либо виѣ наскъ и не есть ли представлениіе объ этомъ виѣ наскъ сущемъ бытіи *только* субъективное наше произведеніе и ничего болѣе.

На утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, повидимому, уполномочиваетъ насъ анализъ чувственного познанія и неудивительно поэтому, что этотъ анализъ въ той или другой формѣ всегда служилъ самою надежною опорою идеализма, неотразимымъ, на первый взглядъ, отрицательнымъ доказательствомъ въ его пользу.

Но слишкомъ рѣзкое противорѣчие, въ какое вступаетъ здѣсь объективный идеализмъ съ нашимъ сознаніемъ, отрицая реальность чувственного міра, заставляетъ насъ въ тоже время усомниться, правильно-ли и не слишкомъ-ли поспѣшно изъ фактовъ критического анализа чувственного представлениія о виѣшнемъ мірѣ выведено заключеніе о его реальности.

Мы не станемъ здѣсь входить въ мелочной разборъ частныхъ фактовъ этого анализа съ цѣлью разъяснить, действительно-ли *всѣ* они имѣютъ тотъ разрушительный для объективности чувственного бытія смыслъ, какой приписывается имъ идеализмъ \*). Положимъ, что *всѣ* чувственные объекты или, правильнѣе сказать, *всѣ* чувственные представлениія, заключаю-

\*.) Мы имѣемъ здѣсь въ виду особенно діалектическую полемику противъ конкретнаго бытія Гегеля, которая, за исключениемъ нѣкоторыхъ вѣрныхъ замѣчаній, представляетъ вѣсколько софистической оттѣнокъ. Его указанія на относительность понятій опредѣленного мѣста и времени говорять только объ относительности этихъ понятій, но не доказываютъ несостоительности понятій времени, мѣста, величины вообще. Впрочемъ мы будемъ имѣть случай возвратиться къ этому предмету впослѣдствіи.

щіяся въ нашемъ сознаніи, при внимательномъ философскомъ анализѣ ихъ, разрѣшаются въ рядъ мимолетныхъ, неустойчивыхъ образовъ, которымъ нашъ разумъ не можетъ приписать никакой реальности. Слѣдуетъ-ли отсюда, чтобы эти образы были произведеніемъ *только моего я?* Положимъ, такъ называемый чувственныи міръ есть не болѣе, какъ миражъ, не представляющій ничего существеннаго, слѣдуетъ-ли, что этотъ миражъ, есть созданіе *только моей познающей силы?* Анализъ чувственнаго представлениія говоритъ лишь о качествѣ этого представлениія, но ничего не говоритъ еще о производящей его причинѣ. Миражъ чувственнаго міра можетъ быть столько-же миражемъ *моего сознанія*, сколько миражемъ, производимымъ *внѣ моемъ* сознаніи нѣкоторымъ реальнymъ, внѣ меня сущимъ бытіемъ, и, наконецъ, результатомъ взаимодѣйствія того и другаго. Для того, чтобы удержать одну изъ этихъ возможностей, для того, чтобы сказать положительно, что эти образы, представлениія о виѣшнемъ мірѣ суть феномены только моего *я*, нужны другія какія-либо положительныи доказательства. Доказательства отрицательныи, основанныи на одной критикѣ эмпирическаго познанія, сами по себѣ не ведутъ никуда далѣе, кроме доказательства несостоятельности грубаго, обыденнаго реализма; то-есть анализъ чувственнаго познанія показываетъ только то, что *представляемые нами* чувственныи объекты не вполнѣ соответствуютъ *дѣйствительнymъ* объектамъ, каковы они должны быть сами по себѣ, независимо отъ представляющаго ихъ объекта, что мы должны отличать представление о вещи и вещь саму по себѣ. Выводить же отсюда дальнѣйшее заключеніе, что эти вещи сами по себѣ и не существуютъ *внѣ* познающаго субъекта, что они суть феномены его, какъ дѣлаетъ идеализмъ,—значитъ, вопреки логикѣ, выводить въ слѣдствіи больше, чѣмъ дано въ посылкѣ.

Столь-же несостоятельно и другое, также отрицательное доказательство въ пользу идеализма, выставленное Берклеемъ. Это доказательство имѣеть въ виду невозможность объяснить наше чувственное познаніе при предположеніи отдаленнаго отъ насъ и отличнаго по существу материальнаго міра. При такомъ предположеніи это познаніе мыслимо только подъ условiemъ воздействиія на нашъ духъ *внѣшнихъ* материальныхъ предметовъ. Но возможно ли такое воздействиіе? Нѣть, отвѣчаетъ Берклей.

Каждое действие предполагает однородность между предметомъ, производящимъ дѣйствіе и предметомъ, его воспринимающимъ. Но такой односторонности здѣсь, очевидно, быть не можетъ. Какъ протяженное и материальное бытіе (какимъ мы мыслимъ виѣшній міръ) можетъ дѣйствовать на совершенно нематериальное и чуждое всякаго пространственного протяженія существо, какъ нашъ духъ? Для этого они слишкомъ разнородны. Ни одна вещь не можетъ дать другой того, чего сама не имѣть; следовательно и материальный міръ, который самъ по себѣ не способенъ ни къ какимъ представлениямъ, не можетъ привести и въ человѣческомъ духѣ представлений. Отсюда слѣдуетъ, что вообще не существуетъ никакого материального міра, но только души, а всѣ такъ называемыя представлія о виѣшнемъ мірѣ суть только образы духовные, производимые дѣйствіями всемогущества Божія на нашъ духъ.

Не трудно замѣтить, что и въ этой аргументаціи въ пользу идеализма въ заключеніи выводится больше, чѣмъ сколько надо въ посылкахъ. Основа ея та, что противоположныя субстанціи не могутъ дѣйствовать другъ на друга и что, поэтому, при предположеніи отличнаго отъ настѣ виѣшняго міра, нельзя объяснить себѣ познаніе о немъ. Но доказалъ ли идеализмъ предварительно истину этого основнаго своего положенія? Почему противоположныя субстанціи не могутъ дѣйствовать одна на другую? Единственный отвѣтъ здѣсь можетъ быть только тотъ, что такое дѣйствіе непонятно, необъяснимо для настѣ. Но необъяснимость извѣстнаго явленія не можетъ служить поводомъ къ отрицанію его, какъ скоро самый фактъ засвидѣтельствованъ опытомъ и сознаніемъ, утверждающимъ отличіе отъ нашего л міра виѣшняго и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ взаимодѣйствія. Не менѣе необъяснимо и дѣйствіе двухъ однородныхъ субстанцій одна на другую (что доказалъ Лейбницъ), напр. нашей души на душу другаго, но тѣмъ не менѣе мы допускаемъ его и не отрицаемъ въ силу этого существованія другихъ лицъ.

Важнѣе всего для настѣ здѣсь то, что, признавая необъяснимость, а отсюда невозможность взаимодѣйствія противоположныхъ субстанцій и отрицая на этомъ основаніи самостоятельное бытіе виѣшняго міра, Берклей допускаетъ въ то же время возможность дѣйствія Божества на нашъ духъ. Правда, воз-

можность этого дѣйствія объясняется, по видимому, тѣмъ, что Богъ и нашъ духъ принадлежать оба къ области духовнаго бытія и въ этомъ отношеніи представляютъ нечто однородное и способное къ взаимодѣйствію. Но это только повидимому. Берклей вовсе не припадлежить къ сторонникамъ абсолютнаго идеализма, отожествляющимъ и сливающимъ безконечное съ конечнымъ, но считаетъ послѣднее простою модификаціе первого. Божество имѣеть у него самостоятельное бытіе точно также, какъ имѣютъ такое же бытіе конечныя духовныя субстанціи. Но въ такомъ случаѣ Бога, какъ существо абсолютное и по бытію и по совершенствамъ, пе смотря на Его духовность мы должны будемъ представлять существомъ субстанціально противоположнымъ нашему я, пастолько противоположнымъ, насколько вообще можетъ быть противоположно конечное и безконечное, несовершенное и всесовершенное. Тѣмъ не менѣе, это не служитъ для него препятствіемъ допускать возможность воздѣйствія Божества на нашъ духъ, вызывающаго образы виѣшняго міра. Если-же Берклей скажеть, что однако-же здѣсь, не смотря на противоположность, между Богомъ и человѣкомъ есть нечто общее,—именно духовность, чѣо и условливаетъ возможность ихъ взаимодѣйствія, то мы скажемъ, что и между допускаемымъ нами физическимъ міромъ и духомъ человѣка также можетъ быть нечто общее, пе смотря на разность ихъ по существу. Возможность этого общаго предполагается уже тѣмъ однимъ, что наше духовное бытіе и бытіе физическое однапаково подпадаютъ подъ понятіе бытія *ограниченного* и что въ этомъ отношеніи они представляются болѣе однородными, чѣмъ наше я и абсолютное неограниченное существо—Богъ. Въ формѣ и законахъ этой ограниченности (пространство и время) мы удобно можемъ найти ту связь между нашимъ я и виѣшнямъ міромъ, которая объяснить ихъ взаимодѣйствіе.

Но предположимъ даже вѣрнымъ общее положеніе идеалистовъ, что двѣ существенно разнородныя субстанціи не могутъ дѣйствовать одна на другую. Что отсюда ближайшимъ образомъ будетъ слѣдоватъ по отношенію къ занимающему нась вопросу? Въ виду факта дѣйствія на насъ виѣшнихъ объектовъ и нашего воздействиа на нихъ, будетъ слѣдоватъ только то, что эти объекты, что вообще, такъ называемый, матеріаль-

ный міръ не такъ разнороденъ съ нашимъ духомъ по существу, какъ это намъ представляется и какъ то утверждали философы, проводившіе рѣзкую грань между природою и духомъ, напримѣръ, Декартъ. Очень можетъ быть, что между міромъ духовнымъ и материальнымъ есть болѣе тѣсная внутренняя связь, чѣмъ объединяющія ихъ формы пространства и времени,—связь, которая и дѣлаетъ возможнымъ ихъ взаимодѣйствіе. Можетъ быть, что между тѣмъ и другимъ міромъ вовсе нѣтъ субстанціальной противоположности, что въ основѣ обоихъ лежитъ одно и то-же бытіе, различаясь въ различныхъ существахъ только качествами и степенями совершенства. Къ такому воззрѣнію пришли, какъ известно, Лейбницъ, и Гербартъ, признавшіе основою всего бытія первый—монады, второй—простыя реальности. Вѣрны-ли ихъ воззрѣнія на сущность бытія, это вопросъ для настѣ въ настоящемъ случаѣ сторонній. Дѣло въ томъ, что для устраненія затрудненія, возникающаго будто-бы отъ признания двухъ противоположныхъ субстанцій — духа и матеріи, при объясненіи нашего познанія, нѣтъ никакой нужды жертвовать самостоятельностью вѣнчанихъ предметовъ и вѣнчанаго міра вообще. Для разрѣшенія этого затрудненія возможенья и другой выходъ—именно тотъ, на который указали Лейбницъ и Гербартъ.

Наконецъ, нужно замѣтить и то, что указаніе на невозможность объяснить наше познаніе о чувственномъ мірѣ при признаніи противоположности между духовною и материальною субстанціями (частнѣе между *я* и не *я*) и на необходимость въ слѣдствіе этого признать только одну духовную субстанцію,—указаніе, которымъ такъ охотно пользуется идеализмъ, есть въ сущности оружіе обюдоустroe, которое легко можетъ быть обращено и противъ него самого. Именно, имъ можетъ воспользоваться материализмъ въ свою пользу. Признаніе духа и матеріи, говорить идеалистъ, ведетъ къ противорѣчію; такого противорѣчія не будетъ, если мы допустимъ только одну субстанцію, духовную, а міръ, *кажущійся* материальнымъ, будемъ считать видоизмѣнениемъ этой субстанціи. Но почему-же именно духовную? скажетъ материалистъ. Такое противорѣчіе устранитъся точно также и тогда, если мы будемъ признавать и одну материальную субстанцію, а явленія, *кажущіяся* духовными, будемъ считать ея видоизмѣнениемъ. Съ вѣрностю этого замѣ-

чанія, повидимому, нельзя не согласиться и материализмъ съ указанной нами точки зрѣнія имѣть такое-же право на существованіе, какъ и идеализмъ. Правда, идсализмъ здѣсь въ свою пользу указываетъ на то, что матерія и, вообще, материальный міръ самъ по себѣ не можетъ имѣть представлений и, следовательно, не можетъ дать или возбудить въ нашей душѣ того, чего самъ не имѣть; существованіе представленій именно и показывается, что общая основа бытія есть духъ, а не матерія. Но здѣсь, очевидно, предполагается уже то, что еще требуется доказать, то есть, что матерія не можетъ имѣть или создать представлений вообще феноменовъ духовнаго бытія. На это материализмъ вправѣ сказать, что это не болѣе, какъ предразсудокъ; онъ укажетъ на факты зависимости представленій отъ воздействиія материальнаго міра. Если-же ему будутъ выставлять кореннай фактъ нашего сознанія, отличающаго психические феномены отъ материальныхъ вещей и противополагающаго ихъ, то онъ вправѣ отвѣтить также какъ отвѣтаетъ идеализмъ, когда ему указываются на тотъ-же самый фактъ, какъ на доказательство отличія материальнаго отъ духовнаго: эта утверждаемая нашимъ сознаніемъ противоположность есть только кажущаяся, а не действительная; она есть субъективное, не заслуживающее довѣрія представление; на самомъ-же дѣлѣ, все одно, — матерія съ ся различными модификаціями.

Въ отрицаніи этого кореннаго, всеобщаго и, какъ мы видѣли, не подлежащаго сомнѣнію \*) свидѣтельства нашего сознанія о различіи нашего, я и не я, міра духовнаго и называемаго нами материальнымъ, и состоитъ главный общий недостатокъ какъ материализма, такъ и идеализма. Но рѣшаясь на столь важный шагъ, какъ материализмъ, такъ и идеализмъ, не ограничивалась косвѣнными доказательствами (которыя для идеализма, какъ мы сейчасъ видѣли, не имѣютъ доказательной силы), должны намъ рационально объяснить и вывести призрачное существованіе отрицающей ими реальности, первый — духовнаго, второй — чувственного бытія изъ ихъ собственныхъ принциповъ; они должны показать, что утверждаемая нашимъ

---

\*) См. выше стр. 49 и слѣд.

сознаніемъ противоположность есть мнимая и вполнѣ объясни-  
мая при предположеніи одного начала бытія. Мы видѣли, что  
материализмъ въ этомъ отношеніи оказался вполнѣ несостоятель-  
нымъ, будучи не въ состояніи объяснить феномены духовнаго  
бытія изъ матеріи. Теперь посмотримъ, болѣе-ли удастся сдѣ-  
лать это объединеніе обоихъ видовъ сущаго идеализму, съ  
своей точки зрѣнія. Можно-ли объяснить сколько-нибудь удов-  
летворительно возникновеніе въ нашемъ сознаніи *я* и не *я*,  
мира духовнаго и матеріального? А такъ какъ наше конечное  
*я* и само есть бытіе конкретное и въ сущности есть только  
феноменъ бытія единой абсолютной субстанціи, какъ - бы  
мы ее ни называли, то идеализмъ долженъ объяснить намъ,  
почему эта единая субстанція, вопреки, повидимому, своей  
природѣ, является намъ, какъ бытіе на себя не похожее,  
—множественное, ограниченное? Почему абсолютно духов-  
ная сущность не только полагаетъ себя, какъ бытіе духовное,  
но и противополагаетъ себѣ *не я* въ формѣ бытія недухов-  
наго, чувственнаго?

На этотъ капитальной важности для идеализма вопросъ,  
отъ решенія которого зависитъ все право его на существова-  
ніе, онъ даетъ отвѣты, неудовлетворительность которыхъ указа-  
вать не трудно.

Самое полное и послѣдовательное выраженіе идеализма въ  
древнемъ мірѣ мы находимъ въ Индійской философіи \*). Въ  
сущности есть только одно абсолютно духовное бытіе—Брама.  
„Все есть Брама и Брама бываетъ всѣмъ; какъ тысячами  
выходятъ искры изъ раскаленного желѣза, когда по нему уда-  
ряютъ молотомъ, такъ исходятъ всѣ существа изъ неизмѣн-  
наго Брамы и опять въ него же возвращаются и въ немъ ис-  
чезаютъ“. Но что за причина этого раскрытия Брамы въ мірѣ

---

\*) Идеализмъ Греческихъ философовъ не можетъ быть названъ полнымъ и  
вполнѣ послѣдовательнымъ. Такъ у Елеатовъ, вопреки ихъ идсалистическому  
принципу, не совершило устранена реальность вѣшняго міра, такъ какъ и  
у нихъ существуетъ не связанныя вмѣстѣ съ общимъ принципомъ космологія,  
которая относится къ ихъ ученію о бытіи, какъ людское мнѣніе къ истинѣ.  
У Платона, который считается также представителемъ древняго идсализма,  
не исчезаетъ представлениe о самобытной матеріи, хотя онъ и старается  
утончить понятіе до *μὴ δύναται*; но это не сущее есть только относительно не  
сущес и не одно и тоже, что не существующее.

множественности и конечности, этого выступлениі абсолютнаго изъ себя самаго? Индійская философія дала нѣсколько решеній этого вопроса, но смысль ихъ одинъ и тотъ же: явленіе дѣйствительного міра въ абсолютно духовномъ бытіи есть нѣчто случайное и ложное; возникновеніе разнообразія бытія, происхожденіе міра чувственныхъ вѣщей есть внесеніе тѣни въ первобытный чистый свѣтъ и возмущеніе его чистоты. Міръ явился отъ того, что въ Брамѣ возникло недостойное его *вожделѣніе* выйти изъ себя самого, оставить свое истинное состояніе и перейти въ другое, не истинное,—вожделѣніе, котораго стыдится Брама также, какъ человѣкъ стыдится своего грѣховнаго вожделѣнія. Этого вожделѣніе есть ложное состояніе, самообольщеніе Брамы, относящееся къ его истинной природѣ также, какъ у настѣ тяжелый и исполненный грезъ сонъ къ бодрствованію. Отсюда новое представлениe о мірѣ явленій, какъ о *сновидѣніи* Божества,—сновидѣніи, не имѣющемъ никакой истины и самостоятельности: бытіе этого міра также относится къ бытію истинному, какъ грезы и сны человѣка къ дѣйствительности; такое состояніе самообольщенія и сна Брамы есть состояніе обманчивое, призрачное, *Майя*. Выражаему этимъ понятіемъ мысль о призрачности бытія дѣйствительнаго Индійская философія старается уяснить себѣ и при помощи другихъ мистическихъ представлений. Такъ, происхожденіе дѣйствительнаго міра она называетъ *самоотречениемъ, жертвою* Брамы, потому что, раздробляя себя черезъ переходъ изъ яснаго и блаженнааго единства въ темную множественность предметнаго бытія, какъ-бы отрекается отъ себя, жертвуетъ собою. Въ томъ-же смыслѣ процессъ происхожденія міра изъ Брамы называется иногда аскетическимъ его *подвигомъ* (Тапасъ), мученіемъ и самоистязаніемъ Брамы. Мученіе, которое испытываетъ мысль, когда, исходя изъ понятія чистаго единства бытія, хочетъ постигнуть множественность вѣщей или, пав-оборотъ, исполненная представлений о частныхъ предметахъ, совершенно забыть ихъ и, отрѣшившись отъ нихъ, созерцать чистое, безразличное бытіе, есть нѣкоторое подобіе того мученія, какое испытываетъ Брама, раскрываясь въ мірѣ.

Несостоятельность этихъ попытокъ древняго идеализма объяснить сущность и происхожденіе конкретнаго бытія обличается уже тѣмъ однимъ, что въ нихъ опъ вмѣсто опредѣ-

ленихъ понятій и доказательствъ даетъ намъ только сравненія и образныя представленія, очевидно, не примѣнимыя въ ихъ подлинномъ смыслѣ къ бытію абсолютному. Мы не стали-бы и упоминать обѣ нихъ, если-бы лежащая въ основѣ ихъ идея не возродилась въ той формѣ новѣйшаго идеализма, какую принялъ онъ въ философіи Гартмана. Между міросозерцаніемъ этого философа, равно какъ и его учителя Шопенгауера, и Индійскою философіею не напрасно находятъ замѣчательныя черты сходства. Это сходство выражается и въ объясненіи причинъ происхожденія міра явленій изъ абсолютнаго. Коренная причина происхожденія міроваго бытія и у нихъ заключается въ томъ моментѣ абсолютнаго бытія, который они называютъ волею,—въ непонятномъ, безсознательномъ „томлѣнії“ воли, въ стремлѣніи ея къ бытію внѣшнему. Какъ у Индійскихъ философовъ пожеланіе или вожделѣніе Брамы есть въ немъ явленіе неистинное, преходящее, такъ и у Гартмана бытіе міра есть ложное, неразумное, несчастное состояніе абсолютной воли; отсюда его пессимизмъ, отсюда его положеніе, что небытіе міра лучше его бытія, отсюда его ученіе объ уничтоженіи всего, какъ послѣдней цѣли міроваго процесса.

Что всѣ подобнаго рода возврѣнія, довольно послѣдовательно съ идеалистической точки зреія указывая на дѣйствительный характеръ міра явленій—его не истину и призрачность, и不仅仅 однажды не объясняютъ происхожденія этой призрачности въ самомъ абсолютномъ, это и съ первого раза очевидно. Для насъ совершенно непонятно, какимъ образомъ въ единомъ абсолютномъ, на которое не могло дѣйствовать ни-что внѣшнее, предметное, возбуждающее въ немъ какое-либо стремлѣніе, могло возникнуть ложное вожделѣніе, какъ учили Индійскіе мудрецы, или неразумное томлѣніе воли, о которомъ говорить Гартманъ, выразившееся въ произведеніи міра, исправленіемъ котораго должно служить его уничтоженіе? Но оно возникло, скажутъ, въ самомъ абсолютномъ, независимо отъ какихъ либо внѣшнихъ возбужденій или соблазновъ, какъ самоопредѣленіе его воли? Но такое объясненіе будетъ рѣшительно противорѣчить понятію о всесовершенствѣ абсолютнаго, которое допускаетъ идеализмъ и которое въ настоящемъ случаѣ удерживается тѣмъ самымъ, что міръ называется явленіемъ ложнымъ, несчастнымъ, слѣдовательно — несовершен-

нымъ и въ этомъ отношеніи противоположнымъ абсолютному. Но если мы даже устранимъ отъ попятія абсолютного понятіе совершенства, какъ такое, которое возможно только при возникновеніи множественности вещей, конечнаго бытія, дозволяющаго сравнивать его съ абсолютнымъ и противополагать ему по качеству, то во всякомъ случаѣ мы должны признать абсолютное существомъ (или сущностью) абсолютно необходимымъ. Но въ такомъ существѣ какъ возможно возникновеніе чего-либо случайнаго, неистиннаго, какого-либо момента, не опредѣляемаго его природою, каково, напримѣръ, незаконное томленіе воли? Всѣ проявленія его должны быть безусловно необходимыми, законосообразными и, какъ таковыя, если смотрѣть на нихъ съ качественной стороны,—разумными и совершенными. Итакъ, пессимизмъ въ объясненіи происхожденія міра не долженъ-ли превратиться въ своего рода оптимизмъ?

Отсюда несравненно раціональнѣе и послѣдовательнѣе съ идеалистической точки зрењія то ученіе, которое въ противоположность вышеизложенной теоріи считаетъ міръ вполнѣ законнымъ и необходимымъ проявленіемъ абсолютного. Таковъ взглядъ большей части новѣйшихъ идеалистовъ—Фихте, Шеллинга, Гегеля. Но на самомъ дѣлѣ изъ идеи необходимости и разумности міра также мало можно объяснить его дѣйствительное происхожденіе, какъ изъ идеи случайности и неразумія.

Такъ, по мнѣнію Фихте, не *я* или міръ виѣшній есть ограничение или предѣлы, которые полагаетъ себѣ *я* абсолютное. Абсолютное *я* не можетъ сознать себя какъ *я* до тѣхъ поръ, пока не противопоставитъ себѣ нѣчто отличное отъ себя, т. е. нѣчто такое, что будетъ уже *не я*. Точно тоже происходитъ и въ каждомъ эмпирическомъ *я*; міръ явленій, мною представляемый, есть не что иное, какъ самоограниченіе моего *я*, предѣлы, полагаемые имъ себѣ. Но, въ сущности, полагаемое какъ абсолютнымъ *я*, такъ и моимъ конкретнымъ *я*, не *я* не есть что либо отличное отъ *я*, но его собственное произведеніе, границы, полагаемыя моимъ или абсолютнымъ *я* и имъ-же снимаемыя. Но при этомъ остается совершенно не объяснимымъ, для чего-же абсолютному *я*, или абсолютной субстанції, нужно изъ своего единства и чистоты выходить въ міръ множественности, создавать призракъ неистиннаго

бытія, полагать себѣ предѣлы? Скажутъ, это нужно для возбужденія сознанія въ абсолютномъ, такъ какъ оно возможно не иначе, какъ чрезъ противоположеніе себя чему либо иному,— не *я*. Не говоримъ о томъ, что здѣсь, очевидно, смѣшился процессъ возникновенія конечнаго, эмпирическаго сознанія съ сознаніемъ абсолютнаго, которое, по самому понятію абсолютности, не нуждается для своего осуществленія въ противоположеніи себѣ какого-либо не *я*. Самое противоположеніе себѣ абсолютнымъ *я* не *я*, для возбужденія сознанія, не предполагаетъ-ли, что въ абсолютномъ уже прежде было, такъ сказать, представление о томъ, чѣмъ и какъ возбудить сознаніе, слѣд., было уже сознаніе прежде сознанія, т. с. прежде противоположенія *я* и не *я*? Значитъ, для этой цѣли вовсе и не нуженъ тотъ процессъ, который у Фихте считается необходимымъ для возникновенія сознанія. Если же представимъ, что такого сознанія въ абсолютномъ не было, что оно изначала-и по природѣ было безсознательнымъ, то придется къ нелѣпой мысли, что противоположеніе *я* и не *я*, а въ силу этого и сознаніе, возникло въ немъ какъ-то случайно, нѣжданно для него, безъ всякихъ внутреннихъ и внѣшнихъ мотивовъ и основаній.— Далѣе, письмально не объясняется возникновенія въ абсолютномъ необходимости противоположенія *я* и не *я*, идеализмъ не объясняетъ намъ и тѣхъ особенностей, съ какими представляется намъ чувственное бытіе. Если не *я* или міръ внѣшній есть только отрицаніе, границы, полагаемыя себѣ *я*, то какъ объяснить, что это отрицаніе является не простымъ отрицаніемъ, но опредѣленнымъ бытіемъ тѣхъ или иныхъ предметовъ; почему оно распадается на множество қажущихся самостоятельными предметовъ или представлений? Чистое отрицаніе *я* не заключаетъ еще въ себѣ понятія о многоразличномъ, при томъ не о количественно только многомъ, но и о качественно-разнообразномъ. Если-бы для абсолютнаго духа нужно было только отрицаніе себя какъ духа, или простая граница для сознанія своей духовности, то для него достаточно было представлія, одной простой, совершенно безформенной матеріи. Явленіе-же въ немъ представлений о столь разнообразныхъ предметахъ, совокупность которыхъ составляетъ вселенную, излишняя роскошь, совершенно необъяснимая съ идеалистической точки зрѣнія. Это

разнообразіє совершенно не нужно для той цѣли, для которой вводится противоположеніе *я* и не *я*.

Не много поможемъ дѣлу!, если съ другими идеалистами, напр. Шеллингомъ и Гегелемъ, будемъ считать виѣшній міръ не простымъ отрицаніемъ или границею, полагаемою себѣ абсолютнымъ, чтобы натолкнувшись, такъ сказать, на нее, сознать и утвердить свою абсолютность, но необходимымъ, положительнымъ въ его развитії. Правда, міръ при этомъ нѣсколько выигрываетъ для обезпеченія своей самостоятельности; различныя формы міроваго бытія суть реальныя формы или моменты развитія самаго абсолютнаго. Но па самомъ дѣлѣ эта реальность міра, особенно, чувственной стороны его, снова исчезаетъ, какъ скоро вспомнимъ, что онъ есть переходящій только, не истинный моментъ въ процессѣ его развитія. Являются же разрѣшимые вопросы: для чего нуженъ для абсолютнаго, обладающаго, по самому понятію своему, всею полнотою и цѣлостю бытія, какой-бы то ни было процессъ развитія и самоопредѣленія? И если онъ нуженъ, то почему этотъ процессъ не совершается въ области тождественнаго съ нимъ по природѣ, чисто духовнаго бытія, почему абсолютное исходитъ, такъ сказать, изъ самого себя въ область совершенно чуждаго себѣ чувственнаго бытія? Но доумѣніе наше тѣмъ болѣе усиливается, когда узнаемъ, что міръ множественности и конечности представляется, какъ переходящая и не истинная форма бытія абсолютнаго, что цѣлью міроваго процесса абсолютнаго полагается отрицаніе этого процесса, возвращеніе его къ самому себѣ и своему единству. Какой же, спрашивается, смыслъ и какая цѣль этого, такъ сказать, путешествія абсолютнаго по различнымъ стадіямъ міроваго развитія, если по окончаніи его оно возвратится туда же, откуда вышло? Почему нуженъ для абсолютнаго продолжительный процессъ отчужденія отъ себя самого, иного бытія, если въ результатахъ не получится ничего иного, кроме сознанія, что иное бытіе не есть истинное бытіе абсолютнаго? Намъ говорятъ: но абсолютное (абсолютная идея Гегеля) возвращается не просто къ прежнему состоянію, но обогащенная всѣмъ содержаніемъ, всею полнотою діалектическаго развитія. Но въ такомъ случаѣ абсолютное не было въ началѣ полнымъ и совершеннымъ абсолютнымъ, а лишь стать таковымъ неизвѣстно когда, по завершеніи полнаго цикла

своихъ опредѣленій. Но въ такомъ понятіи обѣ абсолютномъ заключается явное логическое противорѣчіе: абсолютное въ тоже время есть не абсолютное.

При всемъ этомъ не должно упускать изъ виду и того, что, утверждая, повидимому, самостоятельность виѣшняго міра, какъ извѣстнаго момента въ развитіи абсолютнаго, идеализмъ подъ именемъ этого міра разумѣеть не совсѣмъ то, что разумѣеть подъ нимъ обыкновенное эмпирическое познаніе. Правда, идеализмъ говоритъ намъ о природѣ; какъ формѣ инобытія абсолютнаго; онъ показываетъ намъ, какъ природа, начиная отъ абстрактной виѣшности въ формахъ пространства и времени, проходитъ рядъ ступеней, посредствомъ которыхъ это инобытіе абсолютной идеи восходитъ къ бытію въ себѣ, говорить о процессахъ механическомъ, химическомъ, органическомъ и о частныхъ формахъ, въ которыхъ выражаются эти процессы. Но то, что имѣеть въ виду здѣсь идеализмъ, суть только общіе законы и формы мировой жизни; самое частное, чего достигаетъ онъ здѣсь, суть только понятія родовъ и видовъ существъ. Между тѣмъ для эмпирическаго познанія ближайшимъ образомъ даны не роды существъ, не общія формы бытія природы, но конкретные предметы. Для обыкновенного сознанія существованіе вещей виѣшнихъ, конкретно-чувственныхъ, представляется всегда даже болѣе яснымъ и несомнѣннымъ, чѣмъ реальное существованіе общихъ понятій и идей, которыя въ идеалистической философіи выдаются за истинно существующую дѣйствительность. Какъ-же относится къ этому, столь ясно утверждаемому въ своей реальности конкретному, живому бытію идеализмъ? Можетъ-ли, и какимъ образомъ, объяснить необходимость его существованія, по крайней мѣрѣ, въ нашемъ сознаніи и вывести фактъ этого существованія изъ понятія обѣ абсолютномъ? Если, какъ мы видѣли, ему не удается рационально объяснить существованіе міра въ его общихъ категоріяхъ и схемахъ, то, понятно, еще труднѣе ожидать такой удачи въ объясненіи бытія конкретнаго. И дѣйствительно, не имѣя ни малѣйшей возможности вывести необходимость его изъ понятія обѣ абсолютномъ, онъ прямо отбрасываетъ его въ сторону, объявляетъ бытіемъ неистиннымъ, призрачнымъ (*Schein*). Но называть бытіе конкретное неистиннымъ, призрачнымъ, не значитъ сще со-

вершенно уничтожить его и тѣмъ разомъ устранить всѣ затрудненія въ его объясненіи. Положимъ, оно не существуетъ реально въ томъ смыслѣ, какъ существуетъ общее, признаываемое истинно дѣйствительнымъ; однако-же оно существуетъ, по крайней мѣрѣ, какъ призракъ, какъ фантомъ, признаваемый нами за что-то существенное. Откуда-же онъ возникъ и въ чемъ заключается источникъ непреоборимой силы, съ какою опь обольщаетъ насъ? Такъ какъ кромѣ абсолютного въ идеализмѣ не можетъ быть никакой внѣшней и чуждой ему причинности, то источникомъ этого фантома мы должны въ концѣ концовъ считать самое абсолютное. Мы возвращаемся къ Индійскому представлению о мірѣ множественности, какъ о Майѣ, обольщающей Браму, съ тѣмъ только разницей, что въ немъ совершенно послѣдовательно весь міръ безъ исключения обращается въ Майю, въ сповидѣніе Божества, тогда какъ въ новѣйшемъ идеализмѣ допускается при этомъ странное и непослѣдовательное раздвоеніе: одна часть единаго цѣльного міра,—общіе его законы и формы существъ признаются реальными моментами въ жизни абсолютного, другая—конкретные предметы, въ которыхъ обнаруживаются эти формы,—не реальными, призрачными. Но живой, дѣйствительный міръ представляется намъ, какъ гармоническое, нераздѣльное единство общаго и частнаго, идеального и реальнаго, и отрицать одну сторону міра, утверждая дѣйствительность другой, значитъ не объяснять, а уничтожать міръ, давая вместо него абстрактную, мертвую форму безъ содержанія.

Изъ сказаннаго нами видно, что признаніемъ міра нѣобходимъ моментъ въ развитіи абсолютного нисколько не объясняется фактъ его существованія. Не смотря на то, что въ этомъ отношеніи Индійскій и родственный съ нимъ Гартмановъ идеализмъ, повидимому, совершенно расходятся съ идеализмомъ Фихте, Шеллинга и Гегеля,—тотъ и другой одинаково сходятся въ томъ, что не указываютъ достаточной причины происхожденія чувственного міра. Признаемъ ли мы вмѣстѣ съ первымъ міръ случайнымъ или ложнымъ явленіемъ въ абсолютномъ, или вмѣстѣ со вторымъ—необходимымъ и разумнымъ проявленіемъ его, мы одинаково не найдемъ смысла въ бытіи міра; понятіе необходимости также мало оказывается пригоднымъ для объясненія его, какъ

и понятіе случайности. Для насъ одинаково непонятно какъ то, почему абсолютно совершенное и единое существо должно было необходимо раскрыть себя въ несовершенный міръ множественности, такъ и то, какимъ образомъ въ Брамѣ или въ Єсъсознательномъ Гартмана могло возникнуть случайное и ложное вожделеніе или побужденіе явить себя міромъ.

Въ предыдущихъ формахъ идеализма вопросъ о происхожденіи „призрака“ конкретно чувственного бытія рѣшался болѣе съ онтологической, чѣмъ гносеологической точки зрѣнія, обращаясь въ вопросъ о происхожденіи вообще міра явлений изъ абсолютного начала бытія. Но какое значеніе имѣетъ собственно наше представлениe о чувственномъ мірѣ по отношенію къ нашему конкретному познающему *я*? Рѣшеніе этого вопроса съ идеалистической точки зрѣнія, повидимому, представляетъ значительная затрудненія. Всего естественнѣе и послѣдовательнѣе предположить, что міръ, мною представляемый, по отношенію ко мнѣ имѣеть тоже значеніе, какъ и міръ феноменальный вообще по отношенію къ *я* абсолютному или абсолютной субстанціи; онъ есть граница, полагаемая моимъ *я* и имѣже снимаемая (Фихте), или специальный миражъ моего собственаго *я*. Но затрудненіе здѣсь вѣтомъ, что самое мое конкретное *я* для идеализма не имѣетъ самостоятельнаго значенія; оно само, какъ конкретное, стоящее на ряду со множествомъ другихъ индивидуальныхъ *я*, подпадаетъ подъ понятіе бытія неистиннаго, призрачнаго, такъ что разсматриваемое съ этой точки зрѣнія мое представлениe о внѣшнемъ мірѣ есть какой-то двойной миражъ, фантомъ, производимый фантомомъ конкретнаго *я*, который мы-же представляемъ чѣмъ-то самостоятельнымъ. Такимъ образомъ, послѣдовательно проведенный идеализмъ, запутывается въ области безвыходныхъ затрудненій; съ познаваемымъ нами міромъ исчезаетъ и самъ познающій субъектъ—наше *я*.

Это затрудненіе, повидимому, устраняется въ той формѣ идеализма, представителемъ которой служитъ Берклей. Отъ крайностей идеализма его удерживаетъ, съ одной стороны, ясное сознаніе отличія представлений о внѣшнемъ мірѣ отъ моего конкретнаго *я* и его собственныхъ обнаруженій, не допускающее мысли о томъ, что эти представлениe могутъ быть созданіями моего *я*. Съ другой стороны, ту несамостоятельность и при-

рачность, которая характеризуетъ виѣшнее бытіе, Берклей не рѣшался приписать нашему собственному, конкретно-духовно-му я, что дѣлаетъ послѣдовательный идеализмъ. Кромѣ существа абсолютнаго—Бога, онъ допускаетъ самостоятельное существованіе ограниченно-духовныхъ субстанцій, сотворенныхъ Богомъ, т. е. душъ. Но при этихъ условіяхъ какъ-же объяснить происхожденіе въ этихъ духовныхъ субстанціяхъ представлений о существующихъ реально предметахъ виѣшняго міра? Такъ какъ виновниками этихъ представлений не можемъ быть мы сами, и въ силу ограниченности нашей природы и въ силу яснаго сознанія какъ отличія ихъ отъ насъ, такъ и того, что не мы ихъ создали; такъ какъ далѣе, кромѣ Бога, нѣтъ никакой виѣшней причины, которая могла-бы ихъ произвести, потому что материальный міръ, самъ по себѣ не существуетъ, то, очевидно, остается одно—считать производящую причину ихъ само Божество. Къ такому заключенію и пришелъ Берклей. Міръ представлений о виѣшнихъ предметахъ, существующій въ нашей только душѣ, а не виѣ ся реально, есть произведеніе не нашего я, а нѣкоторой чуждой и виѣшней ему причины. Гармоническая связь этихъ представлений и ихъ законосообразность служитъ доказательствомъ, что причину ихъ должно быть существо высочайше разумное и совершенное—Богъ. То обстоятельство, что эти представления производятся не нашою душою, а только въ нашей душѣ—Божествомъ, объясняетъ то, почему они кажутся намъ представлениями вещей, виѣ нась существующихъ.

Но если теорія Берклэя лучше объясняетъ, чѣмъ другія идеалистическія теоріи, возникновеніе представлений въ нашей конкретномъ я и фактъ отличенія отъ нашего я, то никакъ нельзя сказать того-же обѣ отношеніи этихъ призрачныхъ представлений къ ихъ производящей причинѣ—Божеству. Для чего Богъ представляетъ нашему духу исполненную фантасмагорію міра материальнаго, если въ ней нѣть ничего реальнаго? Какое отношение такая фантасмагорія, такой призрачный міръ имѣеть къ самому Божеству? Есть-ли онъ его твореніе, самоограниченіе, какъ у Фихте, или моментъ саморазвитія, какъ у Гегеля? Берклей склоняется къ первому рѣшенію. Но въ такомъ случаѣ не попятно, почему область сотвореннаго распадается на бытіе дѣйствительное, каково напр. бытіе душъ, нашего

я, и на бытіе призрачноє, каковъ міръ, кажущійся намъ матеріальныемъ? Еще болѣе непонятна цѣль и значеніе такой призрачности. Скажутъ: Богъ, какъ абсолютный духъ, могъ произвести только сродное себѣ — духовное, но не радикально противоположное себѣ, каково матеріальное. Но отсюда могла бы слѣдоватъ только та мысль, что истинная сущность бытія, называемаго матеріальнымъ, есть нечто духовное (напр. монады Лейбница), но никакъ не слѣдуетъ, чтобы это бытіе было несамостоятельнымъ, призрачнымъ. Не говоримъ о томъ, что противоположность бытія матеріального духовному нисколько не служитъ препятствиемъ къ происхождешію его отъ абсолютного начала, какъ скоро міръ признается не саморазвитіемъ Божества, какъ у прочихъ идеалистовъ, по его твореніемъ, чѣмъ допускаеть Берклей. И между міромъ конкретно духовнымъ (т. е. душами) и абсолютнымъ духомъ (Богомъ) существуетъ радикальная противоположность въ томъ, что первыя конечны и условны, а послѣдній нѣть; по если это не препятствуетъ ихъ созданію, то точно также не можетъ служить препятствиемъ къ созданію дѣйствительныхъ, а не призрачныхъ матеріальныхъ вещей ихъ противоположность абсолютно-духовой субстанціи.

Изъ сказаннаго нами видно, что существованіе въ нашей душѣ представлений о вѣщахъ предметахъ точно также, какъ и существованіе чувственного міра вообще, остается совершенно необъяснимымъ для идеализма,—и въ этомъ его кореннай недостатокъ. Теперь взглянемъ внимательнѣе на это необъяснимое для идеализма представление конкретно-чувственного бытія, существующее въ нашемъ духѣ, и мы увидимъ, что оно можетъ быть объяснено не иначе, какъ при предположеніи реальнаго существованія виѣ нась и независимо отъ нась чувственныхъ предметовъ, совокупность которыхъ мы называемъ вѣшнимъ міромъ.

Прежде всего, нась встрѣчаетъ всеобщій, необходимый, и, какъ мы знаемъ, недоступный сомнѣнію фактъ противоположенія нашимъ сознаніемъ я и не я. Въ нась существуетъ ли чѣмъ неискоренимая увѣренность, что одни изъ фактовъ сознанія, одни изъ ощущеній и представлений принадлежать миѣ пепосредственно,—таковы представленія нашихъ душевныхъ состояній, образы фантазіи, мысли и сужденія о вещахъ

и пр.; а другія не зависять отъ меня, не суть создания моего *я* или его феномены,—таковы представлнія о внѣшнихъ предметахъ. Отъ чего происходитъ такое различие представлній въ нашемъ сознаніи? Въ самомъ нашемъ *я* и въ одномъ сознаніи пѣтъ никакого основанія, чтобы одни изъ своихъ произведеній считать своими, другія не своими (если предположить, что все находящееся въ сознаніи есть его произведеніе); слѣдовательно, должна быть внѣшняя причина, управляющая это различеніе и производящая своимъ дѣйствіемъ представлнія о внѣшнихъ предметахъ,—слѣдовательно, существуетъ міръ внѣшній. Безъ признанія реальности этого міра появление въ нашей душѣ образовъ предметовъ внѣшніхъ было-бы явленіемъ безпричиннымъ и необъяснимымъ тѣмъ болѣе, что многія изъ такихъ представлній посятъ на себѣ слишкомъ ясные признаки того, что они не отъ насъ происходятъ. Въ нихъ мы не только не сознаемъ, что они суть произведенія нашей мыслящей или представительной силы, но напротивъ прямо чувствуемъ, что они возникли въ нашей душѣ противъ воли нашего *я*; многія впечатлнія вторгаются въ нашу душу насильно, противъ нашего желанія. Въ высшей степени странно было-бы считать модифікацію нашего *я* такія представлнія о внѣшнихъ вещахъ, которая не только не желательны намъ, но возбуждаются въ насъ страданіе, отвращеніе, страхъ, чѣмъ слишкомъ живо и убѣдительно даютъ чувствовать всю независимость ихъ происхожденія отъ нашего *я*.

Кромѣ необъяснимаго съ точки зреінія идеализма сознанія отличія отъ нашего *я* и его психическихъ феноменовъ представлній о внѣшнихъ предметахъ, самостоятельное бытіе послѣдніхъ подтверждаетъ и сравненіе различныхъ формъ нашего сознанія по отношенію къ одному и тому-же предмету. Такъ въ нашемъ сознаніи какого-либо внѣшнаго объекта мы различаемъ: самый объектъ, непосредственное чувственное восзрѣніе его, представлніе и, наконецъ, понятіе о немъ съ различными степенями ясности, точности и правильности. Всѣ эти формы сознанія относятся къ одному и тому же предмету. Происхожденія ихъ мы никакъ не можемъ объяснить иначе, какъ тѣмъ, что содержаніемъ всѣхъ ихъ служитъ дѣйствительный, отличный отъ насъ предметъ, подѣйствовавшій на наши чувства, а что различные формы сознанія выражаютъ

только различная степень субъективного усвоения или понимания его. Такъ, напримѣръ, мы ясно сознаемъ, что впечатлѣніе отъ предмета, какъ-бы оно живо ни было, не есть самый предметъ; что въ представлѣніи его менѣе непосредственной наглядности и точности отображенія предмета, чѣмъ въ воззрѣніи, что въ понятіе о немъ входятъ не всѣ, а только некоторые существенные признаки предмета. Эти различныя формы сознанія близости или отдаленности нашего представлѣнія о предметѣ отъ самого предмета возможны только при дѣйствительномъ существованіи самого предмета виѣ нась. Далѣе, къ тому же заключенію ведетъ насть и обратное отношеніе нашего я къ виѣшней дѣйствительности. Такъ, мы различаемъ мысль и ея осуществленіе, намѣреніе и дѣйствіе, представлѣніе, вызванное нами изъ памяти или созданное воображеніемъ и предметъ ему соотвѣтствующей. Хотя-бы то и другое совершенно совпадло, дѣйствительность оказалась вполнѣ соотвѣтствующею нашему представлѣнію о ней, насть никогда не оставляетъ сознаніе, что одно принадлежитъ намъ, а другое не намъ, а миру виѣшнему, что наше представлѣніе и вещь представляемая, какъ бы сходны ни казались, въ сущности совершенно различны. Такъ, напримѣръ, мы задумываемъ какой-либо планъ, предпринимаемъ какое-либо дѣло; художникъ начертываетъ въ своей фантазіи картину, съ цѣлью перенести ее на полотно; но какъ бы точно ни исполнился въ дѣйствительности нашъ планъ, какъ бы вѣрно ни выражала созданную воображеніемъ дѣйствительная картина, въ насть никогда не исчезнетъ убѣженіе въ отличіи субъективного представлѣнія отъ реальнаго бытія представляемаго объекта. Смѣщеніе внутреннихъ произведеній нашей мысли и воображенія сть дѣйствительными вещами есть признакъ ненормального состоянія ума. Но съ точки зрењія идеализма подобного рода факты не объяснимы, даже невозможны. Если виѣшняя дѣйствительность есть произведеніе моего я, то намѣреніе и осуществленіе, представлѣніе и предметъ его должны-бы совпадать въ нашемъ сознаніи и быть тождественными. Но внутренний и виѣшний опытъ, показывая противное, свидѣтельствуетъ тѣмъ самыми, что есть отдельная отъ насть самостоятельная реальность — міръ виѣшний.

Столь же, какъ анализъ нашего сознанія и различныхъ

отношений его къ сознаваемому бытію, подтверждается это заключеніе и разсмотрѣніе содержанія нашихъ представлений о внѣшнемъ бытіи. Самое общее въ представленіи этого бытія, конечно, то, что оно представляется намъ, какъ агрегатъ различныхъ вещей количественно отдѣльныхъ и качественно различныхъ. Но въ одномъ нашемъ сознаніи, какъ таковомъ, не дано и не можетъ быть дано никакого основанія къ тому, чтобы различать, какъ опредѣленное количество вещей, такъ и различные качества и индивидуальная особенности ихъ. Такое различіе объяснимо лишь при томъ предположеніи, что реальная дѣйствія вещей, вѣнѣ нась находящихся, вынуждаютъ насъ представлять ихъ въ томъ или другомъ числѣ, съ такими или другими качествами. Иначе мы никакъ не объяснимъ, почему, напримѣръ, видя три отдѣльные вещи, мы обязаны именно представлять ихъ, какъ три, а не какъ одну или пять; почему далѣе, мы должны считать такой-то предметъ зеленымъ, а не краснымъ и пр. Если представленія конкретныхъ вещей суть субъективные произведенія нашего духа, то обязательность и принудительность для нашего сознанія именно тѣхъ, а не иныхъ, представлений исчезаетъ; для насъ не только возможно, но и вполнѣ законно, представлять вещи и такъ и иначе. Но нелѣпость такого вывода очевидна: не только мы, но и самый рѣшительный идеалистъ назоветъ безумнымъ того человѣка, который вопреки очевидности сталь-бы видѣть три вещи тамъ, где все видятъ одну, — сталь-бы называть предметъ бѣлымъ, когда другие считаютъ его чернымъ.

Всѣ эти факты нашего сознанія вполнѣ удостовѣряютъ для насъ существованіе отличныхъ отъ насъ конкретныхъ вещей, съ ихъ количественнымъ и качественнымъ различіемъ. Оставляя безъ вниманія и безъ объясненія эти, столь очевидные, факты, отрицая дѣйствительность бытія множественного и конкретного, какъ несовмѣстимаго съ понятіемъ бытія единаго, истинно-сущаго, идеализмъ неизбѣжно запутывается въ противорѣчіяхъ, показывающихъ его несостоятельность.

Прежде всего, нельзя не видѣть противорѣчія его уже въ томъ, что, отрицая множественность и качественное различіе, какъ свойства чувственного бытія, онъ въ то же время вноситъ эти самыя понятія въ область своего единаго, абсолютно духовнаго бытія, какъ реальныхъ его опредѣленія, потому что

и его абсолютное не пребывает неподвижнымъ въ своемъ абстрактномъ единстве, но представляеть количественныя и качественныя различія модусовъ-ли то, моментовъ, или формъ развитія. У Спинозы, напр., абсолютная субстанція имѣетъ безчисленное множество атрибутовъ, изъ которыхъ намъ известны только два: мышленіе и протяженіе. У Гегеля абсолютная идея проходитъ по различнымъ моментамъ самоопределѣнія и каждый моментъ по содержанію отличенъ отъ другаго. Но разъ допустилъ множественность и различие въ своемъ абсолютномъ, идеализмъ уже не имѣетъ права отрицать ее и считать явленіемъ призрачнымъ въ представлениі конкретныхъ вещей; потому что множественность и различие, допущенное идеализмомъ въ абсолютномъ (въ видѣ, наприм., моментовъ въ его развитіи), и конкретность вещей, о которой говорить наше сознаніе, различаются только степенью общности и абстрактности, а не существомъ самаго дѣла. Тамъ и здѣсь неизбѣжно является тоже понятіе раздѣльности и количества, и если въ первомъ случаѣ мы признаемъ это понятіе чѣмъ-то реальнымъ, а не субъективнымъ миражемъ нашего сознанія, то такое-же значеніе оно должно имѣть и здѣсь. Если идеализмъ признаетъ реальнымъ определеніемъ абсолютного бытія моменты его развитія, различные роды и виды существъ, какъ общія идеи ихъ, то онъ не имѣетъ никакого права отрицать реальность конкретныхъ предметовъ на томъ только основаніи, что они представляютъ собою бытіе множественное и качественно различное.

Въ общемъ идеализмъ, конечно, не уклоняется отъ этого столь послѣдовательного вывода, подтверждаемаго и неоспоримымъ свидѣтельствомъ нашего сознанія, признающаго реальность конкретнаго, — свидѣтельствомъ, которое онъ не можетъ оставить по крайней мѣрѣ безъ объясненія. Онъ вынужденъ допустить въ той или иной формѣ понятіе индивидуальности въ свою систему. Но такъ какъ это понятіе совершенно не влажется съ его принципомъ, то не удивительно, что идеализмъ не даетъ памъ ни сколько-нибудь яснаго понятія объ индивидуальности, ни сколько-нибудь удовлетворительного выведенія его изъ абсолютнаго и примиренія съ его единствомъ. Этотъ недостатокъ идеализма признаютъ сами идеалисты. Такъ, по вѣрному замѣчанію Гарт-

мана, идеализму до сихъ поръ не удалось еще примирить своего монизма съ плоралистическимъ индивидуализмомъ. Такъ Спиноза, точно также какъ и древніе идеалисты, вопросъ о множественности бытія оставляется совершенно безъ отвѣта; онъ доктринальски объявляетъ, что индивидуумы суть модусы единой субстанціи; но почему эта субстанція развивается въ извѣстныхъ модусахъ и почему каждый модусъ отличается отъ другаго и образуетъ каждый въ своемъ родѣ единичную сущность, для насъ совершенно неизвѣстно. Что касается до решенія вопроса объ индивидуальномъ бытіи у Шеллинга, то Гартманъ признается, что онъ позавидовалъ-бы тому, кто изъ относящагося сюда мѣста Шеллинга вычиталъ-бы какой - нибудь понятный смыслъ. По учению Гегеля, только общее понятіе есть истинная сущность вещей и весь процессъ развитія абсолютного есть не что иное, какъ абсолютная діалектика понятій, но, по его собственному признанію, изъ понятій никоимъ образомъ нельзя вывести единичныхъ вещей, индивидуумовъ. Конечно, въ процессъ развитія своего абсолютного на ряду съ другими категоріями, Гегель вводить и понятіе множественности; но діалектическое саморазложеніе сдинаго на многое, хотя дасть намъ множественность, какъ чистое понятіе, но не множественность, какъ принадлежность реальныхъ явлений; это понятіе не можетъ объяснить намъ саморазложенія міровой души на многія реальные индивидуумы. Реальное множество есть нечто иное,—большее, чѣмъ понятіе множественности; оно есть сумма индивидуумовъ, изъ которыхъ каждый не походитъ на другаго, каждый совершенно единиченъ и не можетъ быть выведенъ ни изъ какого понятія, но познаніе о которомъ мы можемъ получить только посредствомъ воззрѣнія \*). Что касается до самого Гартмана, то найти истинное примиреніе монизма съ индивидуализмомъ ему также мало удастся, какъ и его предшественникамъ по пути идеализма.

Но можетъ быть мы лучше объяснимъ существующее въ насъ представление о конкретной множественности вещей, если

\*.) Hartmann, Philosophie des Unbewussten. 1867. 2 В. р. 252—254. Замѣчанія о Гартмановой теоріи индивидуализаціи,—см. у Waiginger'a въ его сочиненіи: Hartmann, Dühring und Lange. 1876. р. 79—80.

не будемъ выходить за предѣлы нашего конкретнаго *я* и въ немъ одномъ будемъ искать разъясненія этого представлениѧ? Этимъ путемъ, какъ известно, идетъ идеализмъ субъективный, который, оставляя въ сторонѣ, какъ не разрѣшимый, вопросъ о возникновеніи многаго въ единомъ абсолютномъ, думаетъ объяснить эту множественность, какъ феноменъ нашего человѣческаго *я*. Но о несостоятельности такого рода попытки совершенно вѣрно замѣчаетъ Гартманъ: „субъективный идеализмъ (Кантъ, Фихте, Шопенгауеръ) полагаетъ, что онъ достаточно сдѣлалъ, когда множественность въ мірѣ объяснилъ субъективнымъ миражемъ (Schein), который возникаетъ изъ формъ субъективнаго взорѣнія—пространства и времени, и нисколько не заботится о томъ, что, во-первыхъ, при этомъ затрудненіе не уничтожается, а только переносится изъ объективной области въ субъективную и здѣсь остается столько-же неразрѣшимъ, какъ и прежде; что, во-вторыхъ, здѣсь совершенно остается безъ отвѣта вопросъ: какъ при отрицаніи множественности возможенъ этотъ самый, въ своемъ родѣ единственный, отъ каждого ему подобнаго отличающійся и созерцающій индивидуумъ (т. е. наше *я*) и какъ согласно его бытіе съ монистическимъ принципомъ? Потому что, если этотъ индивидуумъ, это *я*, мы будемъ понимать существующимъ какъ одно между многими другими *я*, то непослѣдовательно введемъ опять непонятную реальность множественнаго; если же признаемъ это *я* единственно существующимъ (допустимъ соллипсизмъ); то опять останется для насъ непоймально ограниченность этого самоединаго, созерцающаго субъекта\*).

Конечно, изъ этихъ двухъ неизбѣжныхъ выводовъ идеализмъ, не заботясь о послѣдовательности, останавливается на первомъ. Самаго завзятаго идеалиста не можетъ не смутить не лѣпая мысль, что если міръ есть *моё* представленіе, то въ дѣйствительности существую только *я* и ничего больше, таکъ какъ все окружающее меня есть только моя фикція, мое представлениѣ. Отвергая самостоятельное бытіе предметовъ вида-ния го міра, онъ не рѣшается отвергнуть самостоятельное существованіе другихъ людей, другихъ *я*, кроме своего собственнаго. Но въ этомъ заключается рѣшительная непослѣ-

\*<sup>1</sup>) Phil. d. Unbew. 2 B. 252.

довательность идеализма и противорѣчіе его себѣ самому. Въ самомъ дѣлѣ, если я отвергаю реальное существование предметовъ внѣшней природы на томъ основаніи, что они суть мои представленія, то и о другихъ людяхъ я знаю потому только, что имѣю представленія о нихъ; да и представленія эти я получаю точно такимъ-же образомъ, какъ и представленія о другихъ внѣшнихъ предметахъ; и о другихъ людяхъ я знаю потому, что о нихъ говорятъ мнѣ мои внѣшнія чувства. Итакъ, не только міръ физическихъ объектовъ, но и духовныхъ существъ есть мое представление; на этомъ основаніи я одинаково долженъ отрицать реальность какъ чувственного, такъ и духовнаго міра; истинно существующимъ остаюсь одинъ я.

Но и на этомъ странномъ воззрѣніи не можетъ остановиться идеализмъ. Онъ неизбѣжно долженъ прийти къ отрицанію реального существования не только другихъ *я*, но и своего собственного *я*; потому что если все существующее (включая сюда и другихъ людей) я знаю только въ своихъ представленіяхъ, то есть, въ состояніяхъ своего сознанія и на этомъ основаніи отрицаю независимое отъ моего сознанія бытіе существъ внѣшняго міра, то вѣдь и мое собственное *я* доступно мнѣ только, какъ состояніе моего сознанія, какъ представление. И опо не есть какая-либо вещь сама по себѣ сущая, но тотъ же феноменъ, какъ и всѣ другія представляемыя мною вспци, что довольно послѣдовательно и призналъ Кантъ. Но если такъ, то какое-же мы имѣемъ право выдѣлять наше *я* изъ всѣхъ другихъ представлений? Все существующее сводится къ состояніямъ сознанія, къ феноменамъ, не имѣющимъ никакоже никакого самобытнаго субъекта, которому-бы они принадлежали. Но допускать бытіе феноменовъ, представлений, безъ существа, которому что-либо является и которое представляеть, значитъ, впадать въ явное логическое противорѣчіе\*).

До сихъ поръ мы старались показать несостоятельность онтологического принципа идеализма указаніемъ противорѣчій, къ какимъ ведетъ отрицаніе познаваемой эмпирически дѣй-

\* ) Болѣе подробное раскрытие этого самопротиворѣчія идеализма см. у В. Соловьевѣ въ его брошюре: „О дѣйствительности внѣшняго міра“. (Отвѣтъ К. д. Кавелину).

ствительности ви́шняго міра. Теперъ, какъ и въ критикѣ материализма, мы обратимъ вниманіе на дальнѣйшія слѣдствія, къ которымъ неминуемо приведетъ послѣдовательное проведеніе идеалистического принципа въ области какъ знанія, такъ и практической жизни.

Идеализмъ, въ лицѣ своихъ новѣйшихъ представителей (Гегель, Шеллингъ), выдаетъ себя за направленіе по преимуществу философское, — даже болѣе, за единственное направленіе, при помощи котораго возможно знаніе не только видимости, но и самаго существа вещей — знаніе абсолютное. Основаніе къ такому мнѣнію онъ находитъ въ самомъ понятіи о сущности нашего познанія и цѣли его — достижениіи истины. Въ самомъ дѣлѣ, что такое истина и истинное знаніе? Обыкновенно говорятъ, что истина есть согласіе нашего представленія о предметѣ съ самимъ представляемымъ предметомъ. Но при такомъ опредѣленіи истины мы никогда не можемъ достигнуть ея, если предположимъ, что кроме представленій существуютъ вѣнъ насть находящіяся, самостоятельный вещи; потому что, въ такомъ случаѣ, чтобы знать истину, мы должны бы выйти за предѣлы нашего мыслящаго я, возвыситься, такъ сказать, надъ объектомъ и собственнымъ представлениемъ о немъ, чтобы сравнить ихъ между собою и сказать, соотвѣтствуютъ-ли они другъ другу или нѣтъ. Но это, очевидно, невозможно и немыслимо; кто истину называетъ согласіе представленія съ предметомъ, тотъ, по мнѣнію Гегеля, совершенно не понимаетъ, что такое познаніе и что такое философія. Поэтому, чтобы объяснить возможность познанія, нужно признать тожество предмета и представлениія, бытія и мышленія; только при этомъ предположеніи мы можемъ быть увѣрены, что понятіе или представлениіе содержитъ въ себѣ предметъ, какъ онъ дѣйствительно существуетъ, и можетъ достигнуть такимъ образомъ истинного знанія. При такомъ только тожествѣ для насть не будетъ невыполнимой необходимости выходить изъ области познающаго субъекта, такъ какъ всѣ предметы будуть полагаемы тѣмъ же субъектомъ.

Очевидно, что въ этомъ воззрѣніи идеализма на сущность познанія повторяется, только въ нѣсколько иной, гносеологической формѣ, также самая мысль о невозможности будто-бы познанія при предположеніи самостоятельного существованія

внѣшняго міра, которая высказала была Берклесъ. Исходнымъ началомъ какъ мнѣнія Берклия, такъ и сейчасъ приведенного нами возрѣнія служитъ мысль, что для осуществлія познанія необходима однородность, или точнѣе, тожество познаваемаго съ познающимъ. Но что сказано нами по поводу мнѣнія Берклия имѣеть полное приложеніе и здѣсь. Мысль о необходимости такого тожества, напоминающая гносеологическую теорію древнихъ Іонійскихъ философовъ, что подобное познается подобнымъ, есть чистое предположеніе, противорѣчащее и опыту и законамъ нашего познанія. Сущность познанія и состоять именно въ томъ, что въ каждомъ актѣ познанія мы различаемъ субъектъ отъ объекта, представлѣніе отъ представляемой вещи; безъ этого различія не возможно никакое познаніе. Даже тогда, когда мы познаемъ самихъ себя, мы должны различать себя, какъ субъектъ и объектъ, если не по существу, то формально, и это возможно только потому, что мы рефлектируемъ надъ нашими собственными состояніями и дѣйствіями и отдѣляемъ отъ нихъ или отличаемъ свое *я*. Если-же для каждого человѣческаго (дискурсивнаго, а не интуитивнаго) познанія необходимо различеніе представлѣнія и представляемаго объекта, то необходимо должно быть между ними и дѣйствительное различіе и, такимъ образомъ, отличіе представлѣнія и предмета есть необходимое условіе нашего познанія. Для узnanія этого различія, для осуществлія познанія иѣтъ никакой нужды выходить изъ самого себя; это различеніе, какъ показываетъ опытъ, совершается въ области самого-же субъекта и не только при познаніи нашихъ собственныхъ состояній, но и при познаніи міра внѣшняго. Познаніе есть внутренній, имманентный актъ субъекта; и при познаніи внѣшняго міра наше *я* не выходитъ изъ себя, но скорѣе внѣшній міръ извѣстнымъ путемъ входитъ въ наше сознаніе и объектъ становится достояніемъ познающаго субъекта. Именно посредствомъ вѣшнихъ чувствъ объектъ приходитъ въ соприкосновеніе съ субъектомъ и вызываетъ въ немъ соотвѣтствующіе образы—представлѣнія. Такимъ образомъ внѣшній міръ, не смотря на свое различіе отъ нашего познающаго *я*, можетъ быть предметомъ нашего познанія, если не по самому существу своему, то соотвѣтственно природѣ познающаго субъекта.

Если-же отличеніе познаваемаго отъ познающаго необходимо требуется самыи существомъ нашего познанія, то очевидно, что идеализмъ, отвергающій такое различіе, въ концѣ концевъ необходимо долженъ привести къ уничтоженію достовѣрности всякаго познанія. Онъ начинаетъ тѣмъ, что отвергаетъ истину познанія и истину бытія чувственныхъ предметовъ; но мы видѣли, что отвергая эту истину на томъ основаніи, что эти предметы представляются намъ, какъ множественные и качественно-разнообразные, онъ дослѣдовательно долженъ отвергнуть и истину бытія духовнаго, въ какой мѣрѣ оно представляется намъ, какъ бытіе множественное и качественно-различное,—истину бытія какъ нашего собственнаго я, такъ и другихъ конкретныхъ я. Отъ такого заключенія и не отказывается идеализмъ. По отношенію къ абсолютной субстанціи и наше я, какъ и всѣ конкретныя вещи, есть бытіе не самостоятельное, не истинное, преходящій феноменъ одного истиннаго бытія—абсолютнаго.

Но въ такомъ случаѣ, уничтоживъ истину бытія каждого конкретнаго я, каждого личнаго разума и мышленія, принесши въ жертву наше отдѣльное я всепоглощающему абсолютному, идеализмъ разрушаетъ всякое познаніе и долженъ привести къ возврѣнію на него болѣе крайнему и неутѣшительному, чѣмъ абсолютный скептицизмъ. Послѣдній только сомнѣвается въ истинѣ нашего познанія; идеализмъ долженъ рѣшительно признать не истину его, потому что самый носитель и производитель его, наше личное я, не имѣетъ истиннаго бытія; отъ призрачнаго бытія и знанія можетъ произойти только призрачное. Но въ такомъ случаѣ, что-же останется для насъ истиннымъ и достовѣрнымъ? Единственно твердымъ и истиннымъ, среди постоянно смѣняющихся образовъ бытія и познанія частнаго, въ идеализмѣ, повидимому, остается понятіе о бытіи абсолютномъ. Но достовѣрность и этого понятія должна поколебаться, когда вспомнимъ, что самая мысль объ абсолютномъ есть однако-же мысль, принадлежащая мнѣ, существу конечному и поэтому самому не имѣть никакого ручательства своей истины. Если-же такимъ образомъ самое понятіе объ абсолютномъ, какъ данное въ конечномъ разумѣ, теряетъ свою достовѣрность, то единственно твердымъ и достовѣрнымъ во всей идеалистической философіи оказывается не бытіе абсол-

лютное, а развѣ только бытіе образовъ, феноменовъ, призрачныхъ явленій безъ какого-бы то ни было носителя этихъ феноменовъ, такъ какъ такимъ носителемъ не можетъ быть ни наше я, какъ конкретное, ни абсолютное, мысль о которомъ принадлежитъ тому-же я. Мы приходимъ, такимъ образомъ, къ полному отрицанію какъ истиннаго бытія, такъ и истиннаго знанія.

Что имѣющій смѣлость быть вполнѣ вѣрнымъ себѣ и послѣдовательнымъ идеализмъ не отказывается и отъ этого крайняго вывода, приходитъ къ совершенному отрицанію всякой истины и дѣйствительности, чувственной-ли то или духовной, во всемъ видѣтъ одну только непонятную игру призрачныхъ явленій, доказательствомъ тому могутъ служить слѣдующія слова Фихте, одного изъ наиболѣе послѣдовательныхъ идеалистовъ: „Нѣть ничего, говорить онъ, имѣющаго постоянное бытіе ни вѣнчъ меня, ни во мнѣ, но только одна непрестанная перемѣна. Повсюду я незнаю ни о какомъ бытіи, даже о моемъ собственномъ. Нѣть никакого бытія (*es ist kein Seyn*), я самъ вообще не познаю и не существую. Существуютъ только образы (*Bilder*); образы суть единственно то, что есть, и мы знаемъ о себѣ только по способу образовъ,—образовъ, которые проносятся мимо, не имѣя дѣйствительнаго *nichts*, мимо котораго они проносятся,—образовъ, не имѣющихъ въ себѣ чего-либо изображаемаго,—образовъ безъ цѣли и значенія. Я самъ только одинъ изъ этихъ образовъ; я самъ не ссмъ я, по только смѣшанный, сложенный образъ изъ образовъ. Вся дѣйствительность превращается въ какой-то чудный сонъ, безъ живаго существа, которое видѣтъ во спѣ, безъ духа, которому снится,—сонъ, который состоить въ сновидѣніи о самомъ себѣ. Чувственное возврѣніе есть сонъ; мышеніе, источникъ всякаго бытія, всякой дѣйствительности, какую только я во-ображаю,—моего бытія, моихъ силъ, моихъ цѣлей, есть только сонъ того сна“ \*).

Пельза сильноѣ выразить совершенного пигилизма по отношенію къ бытію и познанію, какъ этими словами Фихте. Но подобного рода пигилизмъ на самомъ дѣлѣ можетъ существовать только въ фантазіи идеалиста, по ис можетъ быть осу-

\*) Ueber die Bestimmung. d. Menschen. 2. B. 245. См. Hageman, Logik. 127.

ществленъ ни въ какой философской системѣ потому, что съ разрушениемъ коренныхъ основоположеній нашего знанія, — убѣжденія въ бытіи нашего *я*, не *я* и существа абсолютнаго разрушается и сама идеалистическая философія. Если все сонъ и призракъ, то идеалистъ долженъ сознаться, что и его собственная философія, какъ произведение того или другаго конкретнаго философствующаго мыслителя, есть такой-же призракъ и имѣетъ столь-же мало значенія, какъ и всякая другая философія, какъ и все вообще, что мы ни признаемъ истиннымъ и дѣйствительнымъ.

Какъ послѣдовательный теоретический результатъ объективнаго идеализма есть отрицаніе истины всякаго знанія, такъ практическій результатъ его необходимо есть отрицаніе всякой нравственности. Въ этомъ отношеніи крайній идеализмъ, хотя, по своей сущности, представляетъ совершенную противоположность матеріализму, но въ своемъ примѣненіи къ жизни приводить къ результатамъ столь-же разрушительнымъ для нравственности, какъ и матеріализмъ, замѣчательно оправдывая пословицу: крайности сходятся. Если-же на практикѣ опь не выражается столь-же очевидно гибельными послѣдствіями, какъ матеріализмъ, то потому только, что по своему абстрактному характеру никогда не можетъ быть слишкомъ распространеннымъ, общедоступнымъ и вліятельнымъ ученіемъ. Причина такого странного на первый взглядъ сродства между матеріализмомъ и идеализмомъ заключается въ томъ, что тотъ и другой одинаково отрицаютъ истину конкретно духовнаго бытія нашего *я*, какъ отдельнаго, самостоятельнаго существа, почитая наше *я*, первый—случайнымъ продуктомъ матеріи, послѣдній—случайнымъ феноменомъ абсолютной субстанціи. Но при такомъ воззрѣніи одинаково исчезаетъ всякая самоопредѣляемость человѣка, а съ нею вмѣстѣ и всякая нравственность. Что индивидуальная самостоятельность человѣка, первымъ признакомъ и выраженіемъ которой служитъ свобода, есть необходимое предположеніе нравственности, это несомнѣнно. Нравственность имѣеть смыслъ только тогда, когда я убѣжденъ, что могу поступать такъ и иначе, хорошо или худо; на этомъ убѣжденіи основывается и нравственная вмѣняемость себѣ и другимъ тѣхъ или иныхъ дѣйствій, ответственность за нихъ передъ судомъ совѣсти, общественнымъ

миѣниемъ и закономъ. Но эта вмѣняемость будетъ пустымъ самообольщеніемъ, даже величайшю несправедливостю, если всѣ дѣйствія, которыя я приписываю себѣ, на самомъ дѣлѣ суть не мои, а только сознательное или безсознательное выраженіе жизни абсолютнаго. Мы—жалкіе слѣпцы, стоящіе на низшей степени разсудочнаго, нефилософскаго пониманія, когда думаемъ, будто дѣлаемъ или можемъ дѣлать что-нибудь сами; въ дѣйствительности всѣ явленія идеалистическаго міра, какъ въ царствѣ природы, такъ и духа, суть необходимыя проявленія единаго абсолютнаго.

Но при такомъ рѣшительномъ детерминизмѣ, при такомъ отрицаніи личной самостоятельности и свободы, что можетъ служить для человѣка побужденіемъ къ нравственности? Наименѣе еще вредное послѣдствіе такого воззрѣнія есть вполнѣйшій нравственный индифферентизмъ, сознаніе своего полнаго нравственнаго бессилія, сознаніе роковой необходимости какъ добра, такъ и зла, оправданіе увлеченій послѣднимъ силою неизбѣжнаго, стоящаго выше человѣка и его обманчивой свободы, закона абсолютной жизни,—закона, который въ сущности ничѣмъ не отличается отъ языческаго рока или судьбы. Но такъ какъ дѣйствительная, живая нравственная жизнь, въ силу присущей человѣку свободы, никогда не можетъ остановиться на такомъ пассивномъ индифферентизмѣ, то, при теоретическомъ отрицаніи свободы, вмѣняемости, загробнаго воздаянія (ибо личное бессмертіе души не имѣеть мѣста въ идеализмѣ), практическимъ результатомъ всегда можетъ явиться рѣшительное склоненіе на сторону чувственныхъ и злыхъ влечений, такъ какъ всякая преграда имъ въ сознаніи долга и ответственности въ идеализмѣ разрушена, а всякаго рода оправданіе ихъ всегда готово въ представленіи неизбѣжности или по малой мѣрѣ въ ничтожности индивидуальныхъ человѣческихъ дѣйствій, какъ случайныхъ феноменовъ столь же случайнаго явленія въ бытіи абсолютномъ, какъ наше конкретное я \*).

\*) Отрицаніе свободы—не единственный гибельный для практической жизни результатъ идеализма. Послѣдовательный идеализмъ неизбѣжно долженъ прійти къ искаженію, даже отрицанію самыхъ коренныхъ нравственныхъ понятій добра и зла. Эта результаѣтъ идеализма откровенно высказывается Спиноза, когда говоритъ, что различие добра и зла, вины и заслуги основано только

Предотвратить возможность этихъ столь разрушительныхъ для нравственной жизни результатовъ послѣдовательно проведенного идеалистического принципа идеализмъ рѣшительно не въ состояніи. Если на самомъ дѣлѣ, на практикѣ онъ оказывается не столь вреднымъ, какъ слѣдовало-бы ожидать, то этого отрицательного достоинства никакъ не можетъ ставить себѣ въ заслугу идеализмъ. По сознанію самихъ идеалистовъ, ихъ міровоззрѣніе никогда не можетъ быть всеобщимъ *образомъ мыслей*, но только спекулятивною философіею. Когда приходится дѣйствовать, то реализмъ овладѣваетъ всѣми нами и даже самыми рѣшительными идеалистомъ \*). Это, конечно, вѣрно, но доказываетъ только несостоятельность идеализма, который не можетъ ни обосновать, ни оправдать того образа дѣйствій, того реализма, который однакоже считается необходимымъ для жизни и непослѣдовательно принимается иными началами въ теоріи и иными въ практикѣ, допуская для жизни такія воззрѣнія и такие мотивы, которые противорѣчать принципу его философіи. Конечно, въ жизни можно слѣдовать инымъ начадамъ, чѣмъ тѣ, которые признаются теоретически; противорѣчіе своимъ убѣжденіямъ — явленіе заурядное; но это явленіе никакъ нельзя назвать нормальнымъ и теорія не сдѣлается лучше и возвышенѣе отъ того, что ей не слѣдуютъ на практикѣ. Изъ того, напримѣръ, что атеизмъ не можетъ

---

на предразсудки. Такъ какъ люди вообразили себѣ, будто все, что ни происходит въ мірѣ, происходит для нихъ самихъ и для ихъ блага, то въ каждой вещи преимуществомъ они стада считать то, что доставляетъ имъ пользу или удовольствіе. Для обозначенія такихъ чисто субъективныхъ отношеній своихъ къ свойствамъ вещей, они изобрѣли понятія такого рода, какъ напр., добро, зло, порядокъ, беспорядокъ, красота, безобразіе и т. п.; а такъ какъ при этомъ они считали себя свободными, то отсюда и возникли такого рода понятія какъ похвальное и заслуживающее похваленіе, заслуга и виновность. Все, что полезно для здоровья или считается важнымъ въ дѣлѣ религії, люди называли добромъ, а противоположное тому зломъ. Но все это не болѣе, какъ субъективныя представленія нашей низшей познавательной силы воображенія (Ethik, übers. v. Kirchmann. 1877. 46. 47). Хотя другіе идеалисты, повидимому, далеки отъ такого рѣзкаго отрицанія объективного значенія добра и зла, но въ сущности и ихъ понятія послѣдовательно приводятъ къ тому-же результату.

\*) Венеке: Metaph. 1840, p. 114.

стать образомъ мыслей большинства и что самый атеистъ въ жизни можетъ не проводить послѣдовательно своихъ атеистическихъ убѣжденій, а на дѣлѣ можетъ быть не дурнымъ чловѣкомъ, ни сколько не слѣдуетъ, чтобы его убѣжденія были безукоризненно нравственны и не могли имѣть гибельнаго вліянія на нравственную жизнь. А въ какой мѣрѣ согласны съ истиннымъ понятіемъ о нравственности нравственные мотивы, указываемые даже наиболѣе далекими отъ рѣшительныхъ выводовъ въ этомъ отношеніи идеалистовъ, для этого достаточно указать на то моральное значеніе, какое придаетъ своей системѣ Фихте. Такъ отъ имени философии Фихте имъ духа, открывающаго конечному сознанію тайну абсолютнаго бытія *я* и ничтожества *не я*, онъ говоритъ: „При такомъ взглядѣ на міръ, о смертный! будь свободенъ и на вѣки искупленъ отъ того страха, который тебя унижалъ и мучилъ. Ты не будешь болѣе дрожать передъ закономъ необходимости, которая существуетъ только въ твоемъ мышленіи, не будешь страшиться быть подавленнымъ предметнымъ бытіемъ, которое есть твое собственное произведеніе, не будешь болѣе ставить себя, свое мыслящее *я* въ одинъ классъ съ проишедшимъ изъ тебя, мыслимымъ. Пока ты вѣрилъ, что тотъ порядокъ вещей, какимъ ты его представляешь себѣ, дѣйствительно существуетъ впѣ тебѣ и что ты самъ можешь быть звѣномъ въ этой міровой цѣпи, твой страхъ былъ основателенъ. Теперь, когда ты уяснилъ себѣ, что все это имѣеть бытіе только въ тебѣ и чрезъ тебя самого, ты безъ сомнѣнія не будешь страшиться передъ самимъ собою, передъ тѣмъ, что ты сознаешь собственнымъ своимъ твореніемъ. Отъ этого страха я хочу освободить тебя“ \*).

Кто не видѣтъ, что это нравственное значеніе идеализма противоравнественно въ самомъ основаніи своемъ, что безстрашіе и спокойствіе духа, которое оно обѣщаетъ, въ сущности возможно только при томъ убѣжденіи, что всякаго рода нравственныя, ограничивающія свободу предписанія не имѣютъ объективнаго, безусловно, поэтому, обязательнаго значенія, что всѣ они суть пустыя субъективныя произведенія моего *я*, которое также свободно можетъ ихъ отмѣнить, какъ свободно

---

\*) Fichte, Bestim. d. Menschen.

само на себя наложило ихъ? Но такое идеалистическое спокойствие, какъ основанное на ложномъ принципѣ, слишкомъ неочно; довольно первого сильного столкновенія съ дѣйствительностю, чтобы тотъ страхъ, который думаетъ навсегда разсѣять идеалистическая философія, возобновился, несмотря ни на какія увѣренія ея. Тяготѣющая надъ нами власть общественныхъ и нравственныхъ законовъ, мнѣній, обычаевъ, религіозныхъ учрежденій скоро убѣдить насъ, что не мы создали окружающій насъ иєническій порядокъ, но что мы сами волей-не-волей должны подчиняться ему. Да и въ области нашей личной, чисто-внутренней и субъективной жизни, мы скоро убѣждаемся, что нравственный идеи и правила не суть что-либо нами самими созданное,—что мы властны также отмѣнить, какъ властны были узаконить,—но выраженія высшаго, чисто объективнаго и отвѣтственнаго закона, предполагающаго существованіе высочайшаго Законодателя. Никакое философское убѣжденіе, что не кто иной, а я самъ даль себѣ законъ, не въ силахъ заглушить голосъ совѣсти, какъ скоро мы сдѣлали дурное дѣло, не можетъ уничтожить или отмѣнить непріятнаго для насъ нравственнаго предписанія. Истинное спокойствие духа достигается не этимъ обманчивымъ спекулятивнымъ убѣжденіемъ, но сознаніемъ именно безусловной обязательности нравственнаго закона, какъ закона не нами себѣ даннаго, но верховнымъ Законодателемъ, и въ силу этого—свободнымъ подчиненіемъ этому закону въ сознаніи высочайшаго авторитета, его мудрости и святости.

2. Гноссологическимъ основаніемъ объективнаго идеализма служить критическій анализъ эмпирической дѣйствительности. Результатъ этого анализа заключается въ томъ, что все тѣ чувственныя свойства, которыми характеризуется для насъ чувственная вещь въ нашемъ сознаніи,—цвѣтъ, звукъ, движніе, величина и пр., при ближайшемъ анализѣ ихъ, разрѣшаются въ чисто субъективныя произведенія нашего я, такъ что, при уничтоженіи ихъ реальнаго значенія, отъ такъ называемой чувственной дѣйствительности, отъ вѣшняго міра не остается ровно ничего; онъ оказывается нашимъ только представленіемъ, феноменомъ нашего сознанія, — не болѣе. Критическій разборъ теоріи абсолютнаго идеализма показалъ намъ несостоятельность этого вывода и необходимость допу-

стить реальное и независимое отъ насъ существование виѣшней, чувственной дѣйствительности. Но признаніемъ истины виѣшнейго бытія не устраивается окончательно тотъ результатъ анализа эмпирическаго познанія, который служилъ исходнымъ началомъ идеализма. Положимъ, существуютъ виѣ насъ независимые отъ насъ чувственные предметы и дѣйствуютъ на насъ; однако въ тоже время, какъ показываетъ анализъ нашего представлениія, все, что мы ни знаемъ о нихъ въ представленияхъ, есть субъективный продуктъ нашего духа, *наше* представлениe. Какъ примирить оба эти положенія и какое заключеніе мы должны вывести отсюда относительно эмпирической дѣйствительности? Единственно возможное заключеніе здѣсь, повидимому, одно: наши представлениія суть дѣйствительно субъективные произведенія нашего духа, но не имъ однинъ производимыя (какъ утверждаетъ абсолютный идеализмъ); они возникаютъ въ насъ по поводу дѣйствія на насъ дѣйствительныхъ, виѣ насъ находящихся, предметовъ; но такъ какъ наше представлениe есть продуктъ нашей познавательной силы, то, очевидно, оно не можетъ дать намъ никакого понятія объ этихъ дѣйствительныхъ предметахъ; они памъ совершиенно псиѳъстны. Такое заключеніе, представляющее единственно возможное, повидимому, примиреніе идеализма и реализма, принадлежитъ той формѣ идеализма, которая поситъ название *субъективного идеализма* \*), такъ какъ здѣсь не уничтожается самостоятельная реальность міра объективнаго, а только отрицаются достовѣрность познанія о немъ. Родонаачальникомъ и главнымъ представителемъ этого рода идеализма служить, какъ известно, Кантъ.

Существование объективнаго виѣшняго міра для Канта— фактъ, не подлежащий сомнѣнію. Измѣненія въ нашихъ чувственныхъ органахъ, не отъ насъ зависящія, по происходящему вслѣдствіе воздействиія на нихъ отвѣтъ и производящія разнообразіе нашихъ представлений, ясно показываютъ, что есть существующіе виѣ насъ предметы, служащіе причинами и мотивами нашихъ представлений. Но что такие эти предметы сами по себѣ—нашъ чувственный познаніе никогда не

\*) Иначе, ближе къ терминологіи Канта, онъ называется трансцендентальнымъ идеализмомъ.

можеть намъ сказать. Причина этому та, что наши чувственныя воззрѣнія слагаются, такъ сказать, изъ двухъ элементовъ,—субъективнаго и объективнаго, нераздѣльно соединенныхъ между собою. Но въ итогѣ такого сложенія, очевидно, можетъ выйти не отраженіе предмета въ нашемъ сознаніи и не чисто субъективное произведеніе нашего *я*, но нѣчто среднее,—именно воззрѣніе, представлѣніе предмета, которое не выражаетъ истинной природы ни того, ни другого. Дѣйствительная же внѣшняя вещь остается для насъ недоступною; доступенъ для насъ лишь тотъ видъ ея, какъ она намъ кажется или является сообразно съ условіями нашего познанія, то есть *явленіе* вещи (феноменъ), а не вещь сама по себѣ (поуменъ или *Ding an sich*). По самому свойству нашей природы мы не иначе можемъ познавать предметы, какъ налагая на нихъ субъективныя формы нашего чувственнаго познанія,—формы пространства и времени. Другое существо, съ чувствами, созданными иначе, чѣмъ у насъ, можетъ представлять и предметы иначе, чѣмъ мы,—видѣть напр. ихъ не въ пространствѣ и времени, а какъ нибудь иначе. Такъ какъ формы нашего познанія составляютъ необходимую принадлежность всѣхъ нашихъ представлений безъ исключенія, то въ обыкновенномъ словоупотребленіи мы, конечно, можемъ говорить о нашихъ представлѣніяхъ, какъ о самыхъ предметахъ, такъ какъ и всѣ люди представляютъ предметы также, какъ и мы. Но когда мы хотимъ говорить о вещахъ самихъ по себѣ, объ ихъ истинномъ, а не кажущемся бытіи, то должны остерегаться приписывать имъ признаки пространства, времени и т. п., какъ нѣчто, дѣйствительно имъ принадлежащее.

Исходнымъ началомъ такого воззрѣнія Канта на внѣшнюю дѣйствительность служить анализъ эмпирическаго познанія о ней. Но онъ оставляетъ въ сторонѣ тѣ чувственныя свойства вещей, которые были главнымъ предметомъ этого анализа въ предшествовавшей ему философіи. Онъ обращаетъ исключительно внимание на тѣ главныя и коренные формы чувственнаго бытія, которыхъ до него не осмысливалась рѣшительно коснуться философія — пространство и время и съ разрушениемъ объективнаго значенія которыхъ разомъ падала вся объективная истина нашихъ представлений о внѣшнемъ мірѣ, такъ что уже не было особенной нужды касаться для этой

цѣли какихъ-бы то ни было другихъ, менѣе всеобщихъ и необходиныхъ свойствъ чувственныхъ вещей. Поэтому и окончательная оцѣнка воззрѣнія субъективнаго идеализма на вѣшнюю дѣйствительность существенно соединена съ критическимъ разборомъ его ученія о пространствѣ и времени, что составить самостоятельный предметъ нашего дальнѣйшаго изслѣдованія. Но и независимо отъ этого изслѣдованія въ общемъ ученіи субъективнаго идеализма о невозможности объективнаго знанія вѣшняго, чувственного міра, мы можемъ указать нѣкоторые существенные недостатки, свидѣтельствующіе о его несостоятельности.

Субъективный идеализмъ находитъ невозможнымъ объективное знаніе предметовъ вѣшняго міра на томъ основаніи, что въ каждомъ актѣ познанія о нихъ, кромѣ объективнаго, приходитъ субъективный элементъ, который и препятствуетъ нашему представлению о вещахъ быть вѣрнымъ отображеніемъ самыхъ вещей.

Но при этомъ возникаетъ невольное педоумѣніе. Если всѣ наши представлія, въ силу входящаго въ нихъ субъективнаго элемента, не даютъ намъ вѣрнаго понятія о подлинномъ бытіи предметовъ, о вещахъ самихъ по себѣ, и если никакого другаго знанія о нихъ, кромѣ заключающагося въ представліяхъ, мы не имѣмъ, то откуда мы можемъ знать, что есть какія-то вещи сами по себѣ, отличныя отъ представлій? На какомъ основаніи мы предполагаемъ 'существование' такого рода 'вещей', если ничего не знаемъ, а по условіямъ организаціи нашей познаватѣльной способности и пе можемъ знать о такомъ существованіи? Дѣйствительно, если-бы вѣрно было утвержденіе субъективнаго идеализма, что бытіе само по себѣ никоимъ образомъ намъ недоступно и что 'мы ограничены только субъективнымъ представлѣніемъ о немъ, то было бы совершенно не понятно, какимъ образомъ вообще мы могли-бы и говорить о какомъ-бы то 'ни-было реальному бытію и о какомъ-бы то 'ни было представлѣніи' его; то и другое сливалось-бы въ безразличіи. Противоположность между бытіемъ и представлѣніемъ не могла-бы для насъ существовать, но всѣ наши мысли и представлія были-бы для насъ чисто субъективными процессами безъ всякаго отношенія къ какому-бы то было противолежащему памъ (объективному) бытію.

Если мы говоримъ и мыслимъ объ объектахъ, объ ихъ дѣйствительномъ, отличномъ отъ мыслимаго, бытіи, то это одно уже служитъ доказательствомъ, что это бытіе или объекты въ какомъ либо отношеніи достижимы для нашего познанія. Такимъ образомъ, постоянно существующее въ насъ, допускаемое и Кантъ, различеніе вещей самихъ по себѣ и вещей, какъ они намъ кажутся,—ипаче, реальнаго и феноменальнаго бытія, уже показываетъ, что мы можемъ имѣть пѣкоторос понятіе о вещи самой по себѣ.

Далѣе, Кантъ не только различаетъ вещи сами по себѣ и явленія ихъ въ нашемъ сознаніи (представленія), но и противополагаетъ ихъ въ томъ отношеніи, что представленія не соотвѣтствуютъ вещамъ и не даютъ истиннаго понятія о нихъ. Но чтобы имѣть право противополагать представлениѳ предмету самому по себѣ и говорить, что между ними нѣтъ ни малѣйшаго сходства, нужно сравнить ихъ между собою, слѣдовательно, нужно знать не только представлениѳ, но и самыи предметъ, какъ онъ есть самъ по себѣ независимо отъ нашего представления. Но такое знаніе, по Канту, совершенно невозможно. Слѣдовательно, по его теоріи, мы не имѣемъ права сказать, что представлениѳ не выражаетъ истины предмета.

Препятствіемъ представлению быть вѣрнымъ отображеніемъ предмета у Канта служитъ то, что въ немъ, какъ и вообще во всемъ нашемъ познаніи, пріимѣщающій субъективный элементъ. Такимъ образомъ у него слово „субъективный“ означаетъ не только не происходящій отвнѣ, намъ принадлежащій, но гораздо болѣе,—не соотвѣтствующій дѣйствительности, не имѣющій истины самъ по себѣ. Кантъ думаетъ, что какъ скоро въ актѣ познанія есть субъективный элементъ, то этотъ элементъ, какъ не соотвѣтствующій истинѣ, дѣлаетъ и самый этотъ актъ, напримѣръ, представлениѳ, также не соотвѣтствующимъ истинному бытію вещей. Но на чёмъ основана эта мысль? Слѣдуетъ ли изъ того, что известный элементъ познанія по отъ предмета происходитъ (есть субъективный), что онъ не истиренъ, не можетъ имѣть ничего общаго съ предметомъ? Очевидно, нѣтъ; названіе „субъективный“ ближайшимъ образомъ указываетъ только на способъ его происхожденія. Но происхожденіе не отъ объекта непосредственно, а отъ познавательной способности, само по себѣ еще не служитъ дока-

зательствомъ его неистинь. Очень можетъ быть, что этотъ субъективный элементъ совпадеть съ объективнымъ, будетъ общимъ и познающему и познавасмому и такимъ образомъ будетъ выражениемъ истинно сущаго не только въ нась, но и въ вещахъ. Это предположеніе (котораго не можетъ устранить теорія субъективнаго идеализма) и дѣйствительно оправдается при ближайшемъ анализѣ того элемента, который Кантъ называетъ субъективнымъ. Этотъ анализъ покажеть, что не только пространство и время, но и другія, не происходящія отъ чувствъ, понятія разсудка (категорическая) не суть чисто субъективныя, то есть, въ смыслѣ Канта, не выражающія истиннаго бытія вещей, понятія, но имѣютъ и реальное значение, искажаютъ предметовъ, къ которымъ прилагаются, но даютъ болѣе или менѣе точное познаніе о нихъ.

Что касается теперь до того болѣе, такъ сказать, специальнаго субъективнаго элемента, который входитъ въ составъ нашихъ представлений о внѣшнемъ мірѣ и который состоить въ специальному отзвукѣ каждого изъ нашихъ чувствъ на дѣйствіе внѣшнихъ предметовъ (ощущенія звука, свѣта, обонянія и пр.), то никакъ нельзя сказать, чтобы этимъ элементомъ исчерпывалось все содержаніе нашего представленія о вещахъ и чтобы на долю элемента объективнаго приходилось лишь скучное, неопределеннное сознаніе, что на нась дѣйствуетъ какое-то неизвѣстное *x*, вызывающее въ нась тотъ или другой субъективный феноменъ. Если-бы внѣшніе объекты были для нась только безразличными мотивами разнообразныхъ феноменовъ чувственно-познавательной силы, то для нась было бы безразлично воспринимать отвѣтъ данный матеріалъ въ той или другой формѣ чувственного возврѣнія, представлять предметы въ формѣ видимой, слышимой, осязаемой и пр.; по крайней мѣрѣ разнообразіе впечатлѣній, та или иная группировка ихъ зависѣла-бы отъ какого-либо внутренняго, субъективнаго закона нашей чувственно-познавательной способности. Но на самомъ дѣлѣ, какъ показываетъ опытъ, этого неѣть; такія или иные представлениа принудительно вызываются въ нась дѣйствіемъ внѣшнихъ предметовъ и никакого внутренняго закона ихъ появленія и разнообразія мы не знаемъ. Да и дѣйствительно, относя все чувственное содержаніе нашего представленія, за исключеніемъ дѣйствія предмета, къ субъекту, мы

не можемъ и представить сколько-нибудь вѣроятнаго, рациональнаго объясненія, почему именно наше простое и единое само въ себѣ я необходимо представляеть себѣ это дѣйствіе въ разнообразныхъ формахъ чувственнаго воззрѣнія, почему именно въ тѣхъ, а не другихъ формахъ, и отъ чего происходит призракъ безусловной зависимости этихъ формъ и частныхъ представленій отъ внѣшнихъ причинъ, съ совершеннымъ исчезновеніемъ какого-либо сознанія о происхожденіи ихъ отъ пасъ самихъ. Отсюда слѣдуетъ, что въ представлениѣ наше о предметѣ входитъ гораздо болѣе объективнаго элемента, чѣмъ сколько допускаетъ теорія субъективнаго идеализма, и что, поэтому, о дѣйствительныхъ предметахъ (вещахъ самихъ по себѣ) мы можемъ знать гораздо больше, чѣмъ только то, что они суть внѣшніе мотивы нашихъ представленій. То самое, что мы называемъ дѣйствіемъ предмета на насть, какія-бы субъективныя явленія ни вызывало оно въ нашей душѣ, какъ сознаваемое нами дѣйствіе *предмета*, какъ прираженіе его нашей душѣ, оставляющее въ ней *свой* слѣдъ, — впечатлѣніе, какъ явленіе его дѣйствующей силы, есть уже нечто отъ самого предмета, слѣдовательно — нечто объективное. И при томъ, припудильность разнообразныхъ ощущеній и представленій показываетъ, что это дѣйствіе есть по простой, однообразный толчекъ для возбужденія нашей представительной силы, но очень разнообразныя *дѣйствія*, оставляющія различные объективные слѣды въ нашемъ представлениѣ, дающіе возможность запаія дѣйствительныхъ свойствъ вещей и ихъ дѣйствительныхъ различій. Итакъ, какъ скоро мы признали дѣйствіе на насть внѣшнихъ объектовъ, мы должны признать и то, что знаемъ о нихъ больше, чѣмъ то только, что они суть неизвѣстные поводы, возбуждающіе игру нашей познавательной способности.

Но положимъ, въ нашихъ представленияхъ о внѣшнихъ предметахъ есть и объективный элементъ. Но онъ, говорять защитники теоріи субъективнаго идеализма, такъ слить, сплавленъ съ субъективнымъ, что неѣть никакой возможности выдѣлить его и, слѣдовательно, узнать, что принадлежитъ вещи самой по себѣ и что намъ \*). Но на чёмъ основана эта мысль

\*) О невозможности выдѣлить объективный элементъ изъ субъективнаго см. Bencke, Metaph. 90 sq.

о безусловной нераздѣлимости для знанія обоихъ элементовъ? Это одно только предположеніе, ни чѣмъ по доказанію. Опять напротивъ показываетъ, что при помощи научнаго, конечно, анализа мы можемъ въ нашихъ представленіяхъ отдѣлять объективную сторону отъ субъективной и составлять понятія о вещахъ не только, какъ онѣ намъ кажутся, но и какъ суть на самомъ дѣлѣ. Глазъ, напримѣръ, на основаніи субъективныхъ законовъ зре́нія, представляетъ солнце движущимся по горизонту, а землю неподвижною, сводъ неба куполообразнымъ, звѣзды несравненно меньшаго размѣра, чѣмъ, напримѣръ, луна и т. п. Но мы при помощи науки нашли-же средства узнать о субъективности этихъ представленій и понять, какъ эти предметы существуютъ сами по себѣ, независимо отъ тѣхъ формъ, какія налагаются на нихъ оптическими законами нашего зре́нія. Далѣе, всѣ представленные нами прежде факты анализа чувственного познанія, что въ сущности выражаютъ, какъ не возможность для знанія отдѣлять субъективный и объективный элементъ въ нашихъ представленіяхъ? Когда мы говоримъ, что звукъ, нами слышимый, условливается нашимъ слухомъ, а самъ по себѣ есть колебаніе или дрожаніе волнъ воздуха,—когда мы говоримъ, что вкусъ есть наше субъективное ощущеніе, а па самомъ дѣлѣ есть только химическое различие тѣлъ и т. п., то что этимъ выражаемъ, какъ по отличие вещей, какъ онѣ на самомъ дѣлѣ суть, отъ того, какъ онѣ намъ кажутся? Да и самъ Кантъ нашелъ-же средство выдѣлить изъ такъ называемой имъ матеріи представленій чистый субъективный элементъ (напримѣръ: пространство, время, категорическая понятія)! Отчего же, если мы можемъ знать этотъ элементъ самъ по себѣ, не можемъ знать и того остатка, который оказался за выдѣленіемъ этого элемента,—того, что составляеть объективную часть представленія? Изъ всего этого видно, что несправедлива мысль, будто мы должны вращаться постоянно въ заколдованнымъ кругу нашихъ субъективныхъ представленій безъ всякаго выхода изъ нихъ къ дѣйствительнымъ вещамъ.

Но если основное положеніе Канта о смѣщеніи въ нашемъ чувственномъ познаніи субъективного и объективного элементовъ не даетъ еще намъ права дѣлать выводъ о полной субъективности нашего познанія и о невозможности знать дѣй-

ствительные предметы, то еще менѣе дозволяетъ дѣлать такой выводъ общая идея нашего знанія и цѣль его. Въ этомъ отношеніи противорѣчіе нашему не только обыденному, но и научному сознанію есть самая слабая сторона теоріи Канта, тѣмъ болѣе слабая, что онъ даже не позаботился объяснить и оправдать такое противорѣчіе. Всѣ наши научныя познанія и изслѣдованія основываются на томъ неискоренимъ убѣждѣніи, что, познавая, мы познаемъ нечто дѣйствительно существующее, предметы, какъ они на самомъ дѣлѣ суть. Откуда въ насъ происходитъ такое убѣженіе? Думать, что оно есть не болѣе, какъ самообольщеніе, злачить, пролагать дорогу самому рѣшительному скептицизму. Увѣренность въ соотвѣтствіи нашего познанія о вѣнчанемъ мірѣ дѣйствительности есть движущій первъ всякоаго эмпиріческаго познанія. Отсѣките этотъ первъ, увѣрьтесь, что мы напрасно думаемъ, будто въ познаніи о предметахъ мы познаемъ предметы, а не самихъ себя, не разнообразную игру нашихъ субъективныхъ формъ познанія,—и познаніе рушится; наука становится не знаніемъ о вещахъ, но нашимъ только мнѣніемъ о нихъ.

Дѣйствительно, нельзѧ не видѣть, что субъективный идеализмъ, послѣдовательно проведенный, долженъ прийти къ тому-же результату, какъ и абсолютный скептицизмъ,—и замѣчательно, что этотъ результатъ составляетъ совершенную противоположность той цѣли, которую имѣлъ въ виду Кантъ въ своей Критикѣ чистаго разума. Его цѣль, на которую онъ не разъ указываетъ, была та, чтобы рѣшительнѣе и основательнѣе, чѣмъ было сдѣлано до него, опровергнуть сомнѣнія Юма, направлennыя какъ противъ дѣйствительности причинной связи, такъ и вообще противъ достовѣрности нашего познанія. Но достигъ ли онъ этой цѣли при помощи своей теоріи познанія? Не только неѣть, но, напротивъ, въ сравненіи съ выводами Канта мнѣнія Юма могутъ считаться болѣе скромнымъ и умѣреннымъ скептицизмомъ. Юмъ утверждалъ только то, что мы не можемъ имѣть *полнейшей увѣренности* въ дѣйствительности причинной связи и основаннаго на ней познанія о вѣнчанемъ мірѣ. На этомъ онъ и останавливается; онъ оставляетъ открытою возможность, что вещи сами по себѣ могутъ и такъ существовать, какъ намъ кажутся, и что мыслимая нами причинная связь есть дѣйствительная; онъ говоритъ

только, что мы не въ состояніи съ несомнѣнностью убѣдиться въ томъ. Но въ Кантовой теоріи самая возможность эта совершенно уничтожена. Какъ скоро отвергнута объективность представлений о пространствѣ и времени, о причинной связи и т. п., какъ скоро этимъ представлѣніямъ приписано рѣшительно субъективное значеніе, то оказывается совершенно невозможнымъ и не мыслимымъ какое-либо познаніе дѣйствительныхъ вещей. Незападе реальнаго, которое у Юма выступаетъ въ видѣ мнѣнія, скептическаго недоумѣнія, у Канта возводится въ систему и скептицизмъ Юма остается не только не опровергнутымъ, но, напротивъ, получаетъ новую опору и подтвержденіе.

Дѣйствительно, самый рѣшительный скептикъ можетъ быть вполнѣ удовлетвореннымъ тѣмъ, что даетъ критическая философія и не потребуетъ ничего больше. Никакой скептикъ не думаетъ сомнѣваться въ существованіи явлений (феноменовъ), какъ явлений; онъ сомнѣвается только или отрицасть соотвѣтствіе этихъ явлений съ дѣйствительными вещами. Но такого рода сомнѣніе уничтожаетъ возможность знанія; нѣтъ никакого познанія, если нѣть предметовъ, которые познаются при помощи его; познаніе — пустое слово, если оно не есть познаніе реальныхъ вещей. Но такъ какъ критическая философія отрицаетъ возможность такого познанія и не только въ отношеніи къ вѣнчимъ предметамъ, но и въ отношеніи къ нашему собственному духу и Божеству, то здѣсь скептицизмъ достигаетъ до самой высшей точки, до какой только можетъ достигнуть. Если все наше знаніе относится только къ явленіямъ, то оно не заслуживаетъ имени знанія \*).

### III.

Критическій разборъ двухъ противоположныхъ воззрѣній на эмпирическую дѣйствительность, — матеріализма и идеализма показалъ ихъ несостоятельность. Теперь остается намъ подвести итоги этого разбора и, на основаніи анализа чувствен-

---

\* ) Beneke, System d. Metaph. 10 --13.

наго познанія, представить общиye выводы, касающіеся какъ самаго чувственнаго бытія, такъ и познанія о посмъ.

1. Критика идеализма привела насъ къ несомнѣнному убѣждѣнію въ самостоятельномъ существованіи виѣшняго и отъ насъ существенно отличного бытія, которое по способу его познанія, при помоши виѣшнихъ чувствъ, мы называемъ чувственнымъ, по противоположности нашей духовной природѣ—матеріальнымъ. Критика материализма показала намъ, что это материальное бытіе не есть однако-же единственно истинно сущес бытіе, что па ряду съ нимъ самостоятельно существовать бытіе не материальное. Итакъ, какъ несостоятельность указанныхъ одностороннихъ воззрѣній па чувственное бытіе, такъ и самый анализъ эмпирическаго познанія о немъ, въ которомъ очевидно выступаютъ два противоположные элемента—субъективный и объективный, духовный и чувствен-ный, внутренній и виѣшний, ведутъ насъ къ признанію двухъ видовъ сущаго, съ равными правами на самостоятельнос существованіе.

Въ виду этого, столь, повидимому, простаго и всегда утверждаемаго и признавасмаго нефилософскимъ сознаниемъ результата, невольно возникаетъ вопросъ: чѣмъ объяснить появление и устойчивость въ исторіи философіи столь противорѣчащихъ общему сознанію воззрѣній на эмпирическую дѣятельность, какъ материалистическое и идеалистическое? Конечно, касаясь этого вопроса, мы оставимъ въ сторонѣ причины второстепенный и частныя, имѣвшія вліяніе на возникновеніе или преобладаніе материализма или идеализма въ ту или другую эпоху философіи,—таковы, напримѣръ, общий духъ времени, увлекавшій умы къ познанію и изученію то материальной, то идеальной стороны бытія, недовольство какимъ-либо предшествовавшимъ одностороннимъ направлениемъ философіи, вызывавшимъ не мсѣе одностороннюю реакцію, нравственные и соціальные мотивы, склонявшіе философовъ, какъ носителей духа своего времени, на сторону идеализма или материализма, умственные и нравственные личныя ихъ особенности и проч. Такъ какъ и идеализмъ и материализмъ возникаютъ постоянно въ различные времена въ исторіи философіи, то нужно предположить, что, помимо указанныхъ второстепенныхъ причинъ, должна быть какая-нибудь главная и

общая, зависящая отъ какой-либо коренной потребности философского знанія, которая, будучи неудовлетвореною общимъ признаніемъ одинаковой реальности какъ духовнаго, такъ и материальнаго бытія, ищетъ выходъ по двумъ противоположнымъ направлениямъ, жертвуя то однимъ, то другимъ изъ этихъ видовъ сущаго.

Обращая вниманіе на гносеологический характеръ какъ идеализма, такъ и материализма, въ сравненіи съ характеромъ обыкновенного сознанія, находимъ, что причина происхожденія обоихъ направлений одна и также, не смотря на ихъ радикальную противоположность. Именно, вопреки обыкновенному сознанію, которое признаетъ какъ материальное, такъ и духовное бытіе, и материализмъ и идеализмъ признаются *одно* только бытіе истинно существующимъ,—первый вещественное, второй—духовное. Итакъ, можно сказать, что главная и коренная причина обоихъ направлений есть стремленіе разума къ единству бытія, къ отысканію единой коренной сущности и начала всего существующаго. Болѣе глубокому, философскому мышленію противенъ тотъ ничѣмъ не примиренный дуализмъ; который, повидимому, господствуетъ въ непосредственномъ сознаніи. Какъ въ знаніи разумъ высшимъ идеаломъ своимъ ставить такое знаніе, которое исходило-бы изъ одного основного начала и представляло-бы собою стройное цѣлосъ, вытекающее изъ одного основания; такъ и въ дѣйствительности разумъ старается возвести разнообразіе явлений къ одной сущности или къ одной причинѣ, которая служила-бы ихъ основаніемъ. Но такъ какъ о сущности бытія мы можемъ судить только путемъ умозаключеній отъ явлений къ ихъ причинѣ, а явленія въ дѣйствительности, какъ мы видѣли, представляются двойственными и противоположными, то неудивительно, что философская мысль приходила къ двумъ противоположнымъ взорѣніямъ на сущность бытія,—материалистическому или идеалистическому, судя по тому, на какой классъ явлений предпочтительнее было устремлено вниманіе мыслителей.

Такимъ образомъ въ основѣ двухъ противоположныхъ направлений мышленія лежитъ необходимое и въ существѣ свое вѣрное требование разума,—требование единства міросозерцанія. Но въ тоже время несостоительность и внутренне

противорѣчіе обоихъ направлений показало намъ, что осуществленіе такого требованія тѣмъ путемъ, который часто избирали философы, оказалось неудачнымъ. Примиреніе кажущагося противорѣчія въ общемъ сознаніи, уничтоженіе дуализма оказалось возможнымъ только подъ условіемъ насильственнаго уничтоженія въ мышлении одной какой-либо изъ равноправныхъ и одинаково существенныхъ сторонъ бытія. Какая же причина такой неудачи законнаго, повидимому, стремленія разума къ единству міросозерцанія? Обманываетъ ли здѣсь разумъ, считая законнымъ стремленіе мечтательное и потому самому не осуществимое? Не должны-ли мы остановиться на томъ дуализмѣ духа и матеріи, о которомъ свидѣтельствуетъ памъ и наше непосредственное сознаніе и ближайшій анализъ фактъ дѣйствительности? Или, по существу своему, это стремленіе свести къ единству два противоположные вида бытія справедливо, но только путь къ достижению этой цѣли былъ выбранъ невѣрно? Но съ первымъ предположеніемъ мы согласиться не можемъ въ виду коренного требованія нашего философскаго мышленія, столь настойчиво выражаемаго во всей<sub>въ</sub> его исторіи. При томъ-же и опытъ показываетъ, что духовная и материальная стороны бытія до такой степени тѣсно связаны между собою въ составѣ общаго міроваго бытія, до такой степени условливаютъ собою взаимную связь и отношение различныхъ предметовъ міра, образуя изъ нихъ единую, цѣлостную и гармоническую вселенную, что невозможно допустить, чтобы въ основѣ міроваго бытія лежали два безусловно отличныя, независимыя другъ отъ друга, противоположныя начала. Дуализмъ духа и матеріи необходимо долженъ быть примиренъ въ какомъ-либо общемъ объединяющемъ и связывающемъ ихъ началѣ. Итакъ, если ничего нельзя сказать противъ законности цѣли какъ идеализма, такъ и материализма,—примирить дуализмъ явленій въ мірѣ чрезъ выведеніе ихъ изъ одного начала, то, очевидно, остается думать, что средство, выбранное ими для достижения этой цѣли, было неудачно. Неудача эта заключалась въ томъ, что начала объединяющего обѣ стороны міроваго бытія разумъ искалъ въ самомъ-же міровомъ бытіи, въ какой-либо изъ сторонъ его,—духовной или материальной. Но такъ какъ та и другая сторона, несмотря на тѣсную связь, представляли однако-же неприми-

римыя, повидимому, противоположныя свойства и не могли быть выведены одна изъ другой, то естественно, что достигнутый такимъ образомъ монизмъ міросозерцанія оказался ложнымъ и несостоительнымъ; для достиженія его нужно было, вопреки сознанію и опыту, пожертвовать цѣлою стороною бытія въ пользу другой. Избѣгнуть этого недостатка мы можемъ лишь въ томъ случаѣ, если объединяющаго начала духовной и материальной сторонъ бытія мы будемъ искать не въ нихъ самихъ, а выше ихъ; не въ мірѣ, представляющемъ дуализмъ духа и матеріи, а въ міре, въ Существѣ высочайшемъ и совершенѣйшемъ, отличномъ отъ міра. Съ признаніемъ такого Существа, которое не можетъ быть простою только субстанціею міровыхъ явлений, духовно-ли то или физическою, но вышею ихъ *творческою* причиною, легко можно будетъ согласить такъ называемый дуализмъ духа и матеріи, потому что этотъ дуализмъ не будетъ непримиримымъ раздвоеніемъ его собственной природы, но *положеннымъ* имъ различіемъ двухъ основныхъ началъ условнаго бытія, которое именно въ силу самой своей условности и ограниченности должно носить не только виѣщнее ограниченіе въ своемъ отличіи отъ Существа высочайшаго, но и внутренннее самоограниченіе въ различіи своихъ сторонъ. Но самоограниченіе двухъ сторонъ бытія не есть ихъ взаимоисключеніе и противорѣчіе: та и другая стороны взаимно условливаютъ другъ друга и находятъ высшее свое единство въ единой высочайшей Перво-причинѣ бытія. Такимъ образомъ, съ признаніемъ отличного отъ міра высочайшаго Существа, мы вмѣсто субстанціального монизма, который лежитъ въ основе одностороннихъ воззрѣній материализма и идеализма, получаемъ монизмъ трансцендентальный, гдѣ объединяющее начало возвышается надъ областью бытія условнаго и сть которымъ удобно можетъ быть соглашенъ подчиненный дуализмъ духа и матеріи, о которомъ свидѣтельствуетъ сознаніе и опытъ.

2. Но если реальное существованіе чувственного міра есть фактъ вполнѣ несомнѣнныи и вполнѣ согласимый какъ съ анализомъ чувственного познанія, такъ и съ высшимъ метафизическимъ требованіемъ единства начала бытія, то гораздо, повидимому, труднѣе согласить съ результатами этого анализа объективность нашего *познанія* объ этомъ мірѣ. Что, не смо-

тря на данные этого анализа, известная объективность эмпирического познания должна быть допущена, что мы о внешнихъ предметахъ должны знать гораздо больше, чѣмъ какъо простыхъ и совершенно неизвѣстныхъ намъ мотивахъ чувственныхъ представлений, къ этому заключенію привела пасъ критика субъективнаго идеализма. Теперь вопросъ въ томъ, *до какой степени* простирается эта объективность? Потому что, очевидно, полною и безусловною въ томъ смыслѣ, что въ нашей способности представлений вещи отражаются, какъ въ зеркаль, она быть не можетъ; анализъ представлений съ несомнѣнною убѣдительностью, предъ которою долженъ былъ уступить и самый материализмъ, показалъ намъ присутствие въ нашемъ представлениі субъективнаго элемента.

Отсюда видно, что для того, чтобы ближе определить ту объективность чувственного познанія, на общее признаніе которой дала намъ право критика субъективнаго идеализма, мы должны точнѣе разграничить и различить, по отношению къ ихъ субъективному или объективному характеру, тѣ чувственные свойства вещей, о которыхъ даетъ намъ знать наше эмпирическое познаніе. Потому что очевидно теперь, что то общее и огульное признаніе всѣхъ чувственныхъ свойствъ вещей чисто субъективными, которое допускаетъ идеализмъ, не смотря на то, что оно, повидимому, опирается на результаты анализа представлений, не можетъ быть признано состоятельнымъ уже потому самому, что уничтоженіе всего объективно-познаваемаго въ представлениі о внешнемъ мірѣ, за уничтожениемъ истины всѣхъ его свойствъ, привело бы къ отрицанію не только познанія, но и самого бытія міра, какъ самостоятельно существаго объекта. Если-же въ этомъ отрицаніи реальнаго характера всѣхъ чувственныхъ свойствъ идеализмъ основывается на результатахъ критического анализа представлений, то онъ или неправильно понимаетъ эти факты, или выводитъ изъ нихъ заключенія, на которыхъ онъ не дастъ права.

Первые опыты разграничения и различенія чувственныхъ свойствъ вещей мы находимъ у Декарта и въ болѣе определенномъ видѣ у Локка. Какъ известно, послѣдній раздѣляетъ свойства вещей на первичныя и вторичныя и первыя починаетъ объективными, вторыя—субъективными; къ числу свойствъ первого рода онъ относитъ: фигуру (очертаніе), число, протя-

жепіе, движение и покой; къ послѣднимъ — всѣ остальные чувственныя свойства, — цветъ, запахъ, вкусъ и пр. Намъ кажется, что мысль, лежащая въ основаніи этого дѣлепія, совершенно правильна и что существуетъ, дѣйствительно, замѣтно разли-чіе между представляемыми нами свойствами вещей по отно-шению къ степени ихъ реальнаго значенія, которое позво-ляеть намъ раздѣлить ихъ на два класса; одни изъ нихъ мы назовемъ объективными, другія субъективными \*).

Это различіе состоитъ въ томъ, что объективныя, въ сущ-ности основанныя на понятіяхъ пространства, времени и дви-женія, свойства составляютъ всеобщую и необходимую при-надлежность всѣхъ предметовъ и представлений о нихъ безъ исключенія; они остаются неизмѣнными при всѣхъ персмѣ-нахъ предмета, при всѣхъ его состояніяхъ; съ уничтоженіемъ какого-либо изъ этихъ свойствъ, уничтожился-бы и самый предметъ. Между тѣмъ, тѣ свойства, которыя мы назвали субъективными, измѣнчивы, непостоянны, случайны и присут-ствие или отсутствіе ихъ не уничтожаетъ самого предмета. Такого или иного цвета предметъ, производитъ-ли онъ звукъ или нетъ, тепель-ли онъ или холоденъ, — все это можетъ имѣть значеніе для нашего ощущенія или представлениія пред-мета, но самъ предметъ остается, независимо отъ этихъ ка-чествъ. Такъ мы можемъ представить существованіе вселенной

---

\*) Локкovo названіе; *первичные* и *вторичные* свойства вещей не можетъ быть признано правильнымъ и точнымъ. Прежде всего, неправильность здѣсь въ томъ, что свойства вторичныя точно также, какъ и первичныя, онъ на-зываютъ *свойствами вещей*. Но самъ Локкъ придастъ имъ значеніе только субъективныхъ ощущеній; но ощущенія, которыя существуютъ не въ тѣлахъ, а только въ ощущающемъ субъектѣ, вообще не могутъ быть свойствами са-мыхъ тѣлъ, производными точно также, какъ и первоначальными. Затѣмъ, нельзя признать вѣрнымъ и названія ихъ *вторичными* или производными въ томъ смыслѣ, въ какомъ допускаетъ это Локкъ. Онъ, какъ извѣстно, не при-знаетъ реальными самыхъ этихъ свойствъ, признаетъ объективно существу-ющими въ самыхъ вещахъ только способности возбуждать или производить въ насъ ощущенія этихъ свойствъ: эти способности, по его мнѣнію, основы-ваются на нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ намъ способностяхъ и видозмѣненіяхъ первичныхъ свойствъ и ими производятся; иначе — то, что мы называемъ свѣ-томъ, звукомъ, тепломъ и пр., въ дѣйствительности есть нѣкоторый продуктъ фигуры, протяженія, движенія и пр. данного предмета. Но такое мнѣніе у него ни чѣмъ не обосновано и имѣеть видъ произвольной гипотезы.

и ея предметовъ, до происхожденія на землѣ человѣка и вообще живыхъ существъ, когда обѣ ощущеніяхъ свѣта, звука не могло быть и рѣчи; но, за мыслимымъ отсутствіемъ этихъ ощущеній и основанныхъ на нихъ свойствъ, не уничтожится въ настѣ понятіе о самомъ мірѣ. Напротивъ, не можетъ быть, да и представить мы не можемъ, никакого предмета, который не имѣлъ-бы никакого очертанія, не занималъ-бы никакого мѣста въ пространствѣ, который не пребывалъ-бы ни въ покое, ни въ движеніи. Отсюда мы имѣемъ право какъ на основаніи анализа чувственного представленія, такъ и на основаніи требованій мышленія заключать, что послѣдняго рода свойства суть дѣйствительныя реальныя свойства вещей, тогда какъ первыя суть субъективныя состоянія нашего духа.

а) Объективный характеръ тѣхъ физическихъ свойствъ, которые основаны на понятіяхъ пространства, времени и движенія, и ихъ существенное отличие въ этомъ отношеніи отъ свойствъ субъективныхъ подтверждается и научнымъ эмпирическимъ изслѣдованиемъ природы. Министру Капта, что мы не знаемъ и не можемъ знать дѣйствительныхъ предметовъ въ ихъ отличіи отъ субъективного представленія, мы противопоставили тотъ несомнѣнныи фактъ, что эмпирическая наука отличаетъ предметы, какъ они суть, отъ того, какъ они намъ кажутся по субъективнымъ условіямъ нашего чувственного познанія. Такъ напр. наука говоритъ памъ, что то, что кажется намъ свѣтомъ, есть колебательное движеніе эїра; то, что кажется намъ звукомъ,—колебаніе волнъ воздуха и проч. Если мы всмотримся въ эти и однородные факты и спросимъ: что собственно наука считаетъ дѣйствительнымъ и что кажется, то легко замѣтимъ, что дѣйствительными она признаетъ именно тѣ самыя свойства, которыя мы назвали объективными, а кажущимися тѣ, которыя названы нами субъективными. Ибо очевидно, что дѣйствительнымъ она признаетъ напр. колебаніе, движеніе,—вообще движеніе материальныхъ тѣлъ или частицъ, имѣющихъ извѣстное очертаніе,—протяженность, плотность (воздухъ, эїръ, атомы); а кажущимися—наше ощущеніе этихъ свойствъ въ формѣ звука, свѣта, тепла. Въ правильности тѣхъ методовъ наблюденія и эксперимента, при помощи которыхъ наука пришла къ подобного рода заключеніямъ, сомнѣваться нѣтъ ни малѣйшаго повода. Достаточно .

того, что это различеніе субъективныхъ и объективныхъ свойствъ составляетъ общепризнанный науково выводъ естествознанія \*).

Кромѣ указанныхъ свойствъ предметовъ, наука справедливо утверждаетъ объективный характеръ и многихъ другихъ физическихъ свойствъ предметовъ, которыхъ не даны намъ въ нашихъ чувственныхъ ощущеніяхъ непосредственно, но къ признанію которыхъ приводить научное изслѣдованіе природы; таковы, напримѣръ, химическое средство, непроницаемость, вѣсъ, электричество и пр. Основаніемъ къ признанію этихъ свойствъ реальными служить тотъ-же признакъ ихъ всеобщности, постоянства и независимости отъ нашихъ чувственныхъ ощущеній. Тогда какъ такъ называемы вторичныя свойства, какъ цвета, запахи, вкусы и пр. суть феномены измѣнчивые, зависящіе отъ строенія нашихъ чувственныхъ органовъ, первого рода свойства суть припадлежности самыхъ вещей и не имѣютъ ничего общаго съ измѣненіями нашей чувственной способности. Они будутъ существовать въ вещахъ и тогда, если не будетъ ощущающаго и познающаго субъекта; перваго-же рода свойства зависятъ отъ особенности нашего организма; съ уничтоженіемъ чувствъ или видоизмѣненіемъ строенія ихъ эти свойства или не будутъ существовать или совершенно измѣнятся.

Объективность указанныхъ нами свойствъ выражается и въ объективномъ характерѣ тѣхъ законовъ природы, которые установлены наукой на основаніи изученія этихъ свойствъ и ихъ отношеній. Эти законы совершенно независимы и отличны

---

\*) Такъ основатель теоріи „специфическихъ чувственныхъ энергій“, —теорія, которая дала столь сильную естествознательную поддержку учению о субъективности нашихъ представлений, І. Миллеръ примѣкастъ, однакоже, къ Локку въ различіи первичныхъ и вторичныхъ качествъ и на той-же точкѣ зрѣнія въ существенномъ всегда стояло естествознаніе. На общія многимъ чувствамъ формы пространства и времени съ производными изъ нихъ современная физика смотритъ какъ на опредѣленія, которая одинаково принадлежать какъ вещамъ, такъ и чувственнымъ образамъ ихъ. Напротивъ, всѣ особенности формъ сознанія, которая принадлежать каждому чувству въ отдельности она объявлять объективными, хотя само собою разумѣется, что каждое изъ этихъ свойствъ имѣть свой объективный коррелятъ, — свойства и дѣятельности въ самыхъ вещахъ, которая вызываютъ эти специальные для каждого чувства ощущенія и которыхъ они служатъ символами. Kromen, Unsere Naturerkentnisse, 1883. 374, 375.

отъ тѣхъ субъективныхъ, психологическихъ законовъ, которымъ подчинена дѣятельность нашихъ чувствъ и ихъ специальныхъ ощущений. Свѣтъ, напримѣръ, есть феноменъ совершенно условливаемый нашимъ зрительнымъ органомъ и о которомъ мы не можемъ составить ни малѣйшаго понятія независимо отъ нашего представлнія. Но тѣ свойства вещей, которыя служатъ поводомъ и причиною этого представлнія (колебательное движеніе эаира), тѣ законы, по которымъ происходятъ свѣтовые феномены, независимы отъ нашего зрительного органа, и понятіе, которое получаетъ о нихъ нашъ разумъ, такъ различно отъ субъективнаго ощущенія самаго феномена, что даже слѣпорожденный, какъ показываютъ опыты, можетъ изучить законы оптики и отдать въ нихъ отчетъ при помощи одной геометріи \*). Тоже самое различіе существуетъ и между ощущеніями и законами звука, электричества, магнетизма,—вообще между субъективными феноменами и законами природы. Повсюду феноменъ есть нѣчто измѣнчивое, относительное, принадлежащее нашей чувственной способности; законъ, напротивъ, нѣчто постоянное, необходимое, принадлежащее реальному бытію вещей въ насъ находящихся, чѣдпоэтому и составляетъ предметъ объективнаго научнаго знанія, независимаго отъ чувствъ.

Установленное нами различіе объективныхъ и субъективныхъ свойствъ вещей, о которыхъ даетъ намъ знать чувственное представлніе, достаточно обезпечиваетъ для насъ возможность объективнаго познанія вѣнчанаго міра; потому что оказывается, что если не все, то многое въ нашемъ чувственномъ представлніи служитъ отображеніемъ подлиннаго бытія вещей и что, поэтуому, міръ не можетъ быть названъ *только* нашимъ представлніемъ въ смыслѣ идеализма. Что касается до возраженій, которыя могутъ быть выставлены со стороны идеализма противъ такого различенія, то ихъ устранить не трудно.

Такъ, по мнѣнію Берклия, установленное Локкомъ различіе первичныхъ и вторичныхъ свойствъ несостоятельно потому,

\* ) Таковъ былъ напр. Сундерсонъ изъ Кембриджа, слѣпой съ дѣтства, изучившій математику, оптику и астрономію. Шопенгауэръ: „О четверномъ корнѣ законнаго достаточнаго основанія“. Пер. Фета. 1886 г., стр. 59.

что наше сознаніе ничего не говоритъ о такомъ различіи, что въ немъ тѣ и другія свойства представляются вмѣстѣ и не раздѣльно; поэтому и невозможно допустить какое либо существенное между ними различіе по отношенію къ ихъ объективности. Это возраженіе, повидимому, имѣеть нѣкоторое основаніе и въ томъ фактѣ, что и признаваемыя нами объективными свойства мы не можемъ представить независимо и совершенно отдельно отъ субъективныхъ; напр. мы признаемъ объективнымъ колебаніе или движеніе эаира или воздуха, а субъективнымъ ощущеніе этого движенія въ формѣ свѣта или звука; по самое движеніе мы опять не можемъ иначе представить, какъ въ видѣ чего-либо движущагося; а это движущееся (эаиръ, воздухъ) опять должно имѣть свойства субъективного характера, быть напр. или свѣтлымъ или темнымъ, имѣть тотъ или другой цвѣтъ. Но во всемъ этомъ возраженіи вѣрою только то, что для нашего *представленія* дѣйствительно первичны и вторичныя свойства существенно и неразрывно связаны.. Какъ не можемъ мы представить предмета, не имѣющаго никакого очертанія, не находящагося ни въ покое, ни въ движениі, такъ не можемъ и представить (за исключеніемъ случая отсутствія какого-либо чувства) никакого тѣла, которое не было-бы видимо, не имѣло-бы никакого цвѣта, не могло-бы при ударѣ издавать никакого звука, не имѣло-бы никакой температуры и пр. Но это не говорить никакъ, чтобы первого и втораго рода свойства были нераздѣлимы для нашего познанія, для *разсудка*, анализирующего содержаніе нашихъ представлений; противноес тому представляется, какъ мы видѣли, фактъ научнаго различія въ представленияхъ о вещахъ того, что кажется, и того, что есть на самомъ дѣлѣ. Этотъ фактъ совершенно необъяснимъ для идеализма; если всѣ свойства одинаково субъективны, то для насъ непонятно, почему мы противополагаемъ ихъ какъ субъективны и объективны, почему мы различаемъ въ вещахъ дѣйствительное и кажущееся. Возраженіе, выставленное Берклиемъ, доказываетъ только то, что представлениe, какъ таковос, не можетъ дать намъ истиннаго познанія о виѣшнемъ мірѣ, что для этого познанія необходима привходящая дѣятельность разсудка, которая по существу своему есть дѣятельность различающая.

Сейчасъ сказаннымъ нами устраниется и другое возраже-

ніс противъ допущенаго нами различія объективныхъ и субъективныхъ свойствъ вещей. Противъ такого различенія, повидимому, справедливо могутъ замѣтить, что и такъ называемыя нами объективныя свойства не выражаютъ однако-же дѣйствительныхъ свойствъ вещей потому самому, что представление о нихъ все-же получается въ субъектѣ чрезъ посредство нашего я. Никакія свойства вещей не могутъ отражаться въ нашемъ сознаніи такъ адекватно и точно, какъ въ зеркалѣ; наша воспринимающая способность, не будучи чисто пассивною, должна такъ или иначе вліять на ихъ усвоеніе, въ силу чего они и не могутъ быть названы безусловно объективными свойствами вещей. Съ этимъ замѣчаніемъ нельзя не согласиться и опытъ показываетъ, что на представленія, напр., движенія, фигуры предметовъ дѣйствительно имѣютъ вліяніе физіологические и психологические законы дѣятельности нашихъ чувствъ, которые съ особеною ясностью выступаютъ въ такъ называемыхъ естественныхъ иллюзіяхъ; такъ, напримѣръ, солнце представляется намъ движущимся, а земля не подвижною, луна на краю горизонта—большихъ размѣровъ, чѣмъ когда она стоитъ высоко на небѣ; для бѣдущаго въ вагонѣ желѣзной дороги окружающая мѣстность кажется движущеюся и т. п. Въ этомъ отпопеніи и представленія о первичныхъ свойствахъ вещей, въ строгомъ и точномъ смыслѣ, мы должны-бы назвать только относительно, а не безусловно объективными; такого рода название мы придаемъ имъ только сравнительно съ представленіями свѣта, звука, вкуса и проч. А такъ какъ и послѣднія, какъ увидимъ, не безусловно субъективны, то, конечно, мы должны-бы назвать первыя представленіями съ преобладающимъ объективнымъ, а послѣднія съ преобладающимъ субъективнымъ характеромъ. Но эта примѣсь субъективнаго элемента, какъ показываетъ опытъ, нисколько не служить для науки препятствіемъ къ составленію истиннаго и дѣйствительного понятія о вещахъ. Какъ могутъ быть отличены субъективныя и объективныя свойства въ представленіи вообще, также точно можетъ быть уздана и отдельена и въ самыхъ объективныхъ представленіяхъ примѣсь субъективнаго элемента.

Но главнымъ возраженіемъ противъ реальнаго значенія называемыхъ нами объективныхъ, Локкомъ первичными, свойствъ,

какъ у Берклэя, такъ и древнихъ скептиковъ и новѣйшихъ идеалистовъ, служать не столько эти естественные иллюзіи, сколько то, что понятія объ этихъ свойствахъ не устойчивы, относительны и зависятъ отъ особенностей познающаго субъекта и потому не могутъ быть выражениемъ чего-либо дѣйствительно сущаго въ вещахъ; таковы, напримѣръ, понятія малости, величины, покоя, движенія, измѣреній времени, пространства и т. п. Но всѣ эти факты, какъ-бы они остроумно скомбинированы ни были (напримѣръ у Гегеля), говорять только объ относительности нашего познанія и ничего болѣе. Но этой относительности никогда и не отвергалъ реализмъ и не училъ, будто наше знаніе о природѣ есть знаніе абсолютное, чему противорѣчить очевидный фактъ различія нашихъ представлений о внѣшнихъ предметахъ и сужденій о нихъ. Но эта относительность нашего познанія, какъ показываетъ опытъ и существование общеобязательной науки и общепризнаваемыхъ ея истинъ, нисколько не говоритъ въ пользу его субъективности: и относительное познаніе можетъ быть относительно истиннымъ и объективнымъ. Возьмемъ, напримѣръ, понятіе о величинѣ; великому и карлику одинъ и тотъ-же предметъ можетъ показаться большимъ и малымъ; нога муравья, какъ говорить Берклэй, для человѣка кажется чѣмъ-то ничтожно малымъ, для самого муравья довольно большимъ, для инфузоріи (прибавимъ) чѣмъ-то громаднымъ. Но какъ скрою всѣ эти существа могли-бы знать, что данный предметъ имѣеть такое-то число футовъ, линій, то въ сущности ихъ понятія о величинѣ предмета стали-бы однородны и относительность ихъ субъективной оцѣнки величины не имѣла-бы ровно никакого значенія и не подрывала-бы объективной истины познанія. Точно! тоже должно сказать и объ относительности понятій о движеніи и разстояніи. Для человѣка, напримѣръ, разстояніе солнца отъ земли кажется громаднымъ, движение свѣта—необычайно быстрымъ. Но представимъ въ нашей фантазіи существо въ миллионъ разъ больше человѣка или могущее совершать движенія въ десять разъ быстрѣйшія свѣта; первому разстояніе земли отъ солнца показалось-бы не особенно значительнымъ, а послѣднему движение свѣта очень медленнымъ. Но это громадное различіе въ относительности представлений имѣло-ли бы вліяніе на ихъ объективное по-

знаніе о величинѣ солнца или о скорости движенія свѣта? Нисколько; и человѣкъ и воображаемое существо одинаково признали-бы, что солнце отстоитъ отъ земли на столько-то миллионовъ географическихъ миль, что свѣтъ движется съ такою-то, опредѣленною наукой, скоростью въ секунду. Можетъ быть только мѣра или единица измѣренія показалась-бы для нашего фантастического существа слишкомъ мизерною, въ родѣ того, напримѣръ, если-бы человѣкъ сталъ считать разстояніе солнца отъ земли не милями, а вершками или дюймами; но это нисколько не повредило-бы точности его научного познанія и согласію его съ познаніемъ человѣческимъ. Если такимъ образомъ относительность нашего эмпирическаго познанія не сдѣлала-бы его субъективнымъ миражемъ, даже при томъ громадномъ различіи познающіхъ субъектовъ, которое мы сейчасъ допустили, то могутъ-ли имѣть какое-нибудь серьезное значеніе тѣ сравнительно ничтожныя отличія въ сужденіяхъ о величинѣ, разстояніи и проч., на которыхъ указываютъ скептики и идеалисты? Совершенно согласны съ ними, что какъ нѣтъ двухъ людей совершенно сходныхъ, такъ и нѣтъ двухъ органовъ чувствъ безусловно тождественныхъ въ ихъ направленіяхъ; одинъ и тотъ же видимый предметъ въ сущности отражается съ тысячью неуловимыхъ оттѣнковъ въ тысячѣ глазъ; тоже должно сказать и о другихъ чувствахъ. Но это несходство представлений подрываетъ-ли сколько-нибудь достовѣрность чувственного познанія о реальныхъ свойствахъ предмета? И въ сужденіяхъ о предметахъ и въ научныхъ понятіяхъ о нихъ и въ самомъ практическомъ отношеніи къ нимъ мы находимъ то единство познанія о внѣшнемъ мірѣ, которое достаточно ручается за его общеобязательность и достовѣрность; этой достовѣрности нисколько не могутъ поколебать тѣ субъективныя отличія, которые составляютъ особенности чувственного возврѣнія каждого индивидуума, — особенности большою частію столь незамѣтныя, что ихъ не сознаетъ самъ индивидуумъ и которая скорѣе могутъ быть теоретически предполагаемы, чѣмъ эмпирически указаны.

Но не на одну только зависимость нашего познанія отъ особенностей познающаго субъекта, но и на самую измѣнчивость и неуловимость для нашей мысли познаваемаго объекта указываетъ идеализмъ, какъ на возраженіе противъ достовѣр-

ности эмпирическаго познанія. Эта измѣнчивость чувственаго бытія со временемъ Гераклита до Гегеля включительно всегда служила для доказательства той мысли, что все, что мы ни мыслимъ постоянного въ бытіи и о бытіи эмпирическомъ, начиная отъ самаго представлениія о конкретной вещи и кончая самыми общими понятіями о чувственныхъ предметахъ, принадлежитъ разуму и исключительно разуму и что, поэтому, наше эмпирическое познаніе по существу не можетъ имѣть никакой объективной цѣнности. Въ самомъ дѣлѣ, если въ этомъ бытіи, какъ выражается Гераклитъ, все течетъ въ неуловимомъ потокѣ измѣненія, то, очевидно, пашь разумъ не можетъ отразить въ себѣ этого потока въ его полной объективности, а тѣ формы, въ которыхъ онъ старается, такъ сказать, фиксировать это текучее бытіе, — представлениія о вещахъ, понятія, формы, которыя и составляютъ все содержаніе пашего понятія о мірѣ, принадлежать только нашему субъекту; въ силу своего постоянства наше я старается придать и чувственному бытію то постоянство и устойчивость, которыхъ оно на самомъ дѣлѣ не имѣть и имѣть не можетъ въ силу своей текучей природы. Эта мысль, какъ мы видѣли, и составляетъ результатъ діалектической критики понятія о конкретной вещи у Гегеля. Что въ нашихъ представленияхъ и понятіяхъ о виѣшнихъ предметахъ мы дѣйствительно получаемъ для нашего знанія постоянныи и неизмѣнныи то, что въ чувственныхъ ощущеніяхъ представляется, какъ неудержимый потокъ измѣнчивыхъ впечатлѣній, — это справедливо. Но несправедливо то, будто эти самыи формы, объединяющія впечатлѣнія и дающія имъ устойчивость въ нашихъ представленияхъ и понятіяхъ, принадлежать исключительно познающему субъекту, и потому обозначаютъ не дѣйствительные виѣ на сущіе виды, а лишь феномены пашего сознанія. Прежде всего, если въ дѣйствительности все течетъ неуловимо и неудержимо для пашего сознанія, то для нась совершино непонятно, какимъ образомъ нашъ разумъ можетъ, такъ сказать, останавливать и объединять это текучес бытіе въ различныи субъективныи формы представлений и понятій и почему эти формы, не смотря на то, что по своему постоянству не имѣютъ ничего общаго и сходнаго съ дѣйствительнымъ текучимъ бытіемъ, оғъ относить именно къ этому

бытию, представляетъ свои субъективные акты, какъ отличные отъ себя и разнообразные предметы. Если теперь вспомнимъ, что образованіе нашихъ представлений и понятій не есть дѣло субъективнаго произвола и не можетъ быть объяснено никакимъ чисто субъективнымъ закономъ, если вспомнимъ, что тѣ или другія представленія о вещахъ являются въ нашемъ сознаніи принудительно, несмотря на участіе въ ихъ образованіи нашей познавательной способности, то должны прийти къ несомнѣнному заключенію, что такъ называемая текущая измѣнчивость вѣнчанаго бытія не до такой степени текуча и неуловима, чтобы изъ нея безусловно ничто не могло отразиться и удержаться въ нашемъ сознаніи. Дѣйствительно, наше познаніе, несмотря на измѣнчивость чувственного бытія, опредѣляется однако-же различная *степени* этой измѣнчивости. То оно называется извѣстное впечатлѣніе, извѣстный феноменъ мимолетный и скоропреходящій; то устанавливаетъ различныя, и при томъ очень точныя, мѣры продолжаемости бытія частныхъ предметовъ и существъ; то говоритъ о постоянныхъ и неизменныхъ законахъ природы, о пребываемости вещества, несмотря на измѣненія его формъ. Если-же, какъ мы сказали, эти опредѣленія не могутъ быть объяснены ни произволомъ, ни какимъ-либо психологическимъ закономъ дѣятельности самого субъекта, то очевидно, что основанія, вынуждающія нашу мысль къ признанию такой или иной продолжаемости бытія, должны заключаться не въ насъ, а въ насъ, въ самомъ объективномъ бытіи и что, поэтому, измѣнчивость этого бытія далеко не такъ безусловна, какъ предполагаетъ идеализмъ. Именно, несмотря на то, что чувственное бытіе мы справедливо зовемъ измѣнчивымъ и непостояннымъ, мы необходимо должны отличать въ немъ различныя степени и мѣры измѣнчивости, признавая въ немъ одно болѣе, другое менѣе текучимъ. А сравнивая между собою эти степени и мѣры, мы, слѣдовательно, имѣемъ полное право говорить не только объ измѣнчивости, но и объ относительномъ *постоянствѣ* чувственного бытія въ томъ смыслѣ, что менѣе измѣнчивое сравнительно съ болѣе измѣнчивымъ можетъ быть названо постояннымъ, пребывающимъ, напримѣръ, законъ природы въ сравненіи съ явленіями, совершающимися по этому закону, родъ въ сравненіи съ индивидуумомъ, его образующимъ,

индивидуумъ въ сравненіи съ измѣнчивыми жизненными фено-  
менами, въ которыхъ обнаруживается его хотя кратковремен-  
ное, но по отношенію къ этимъ феноменамъ относительно  
постоянное бытіе. Эти-то различныя степени измѣнчивости,  
которыя въ тоже время могутъ быть названы и степенями от-  
носительного постоянства бытія, и составляютъ то реально  
сущее и реально познаваемое въ чувственномъ бытіи, кото-  
рое и обеспечиваетъ объективную истину нашего познанія о  
мирѣ. Неуловимая на своихъ крайнихъ предѣлахъ текучесть  
бытія дѣлается болѣе и болѣе доступною нашему познанію,  
въ какой мѣрѣ восходитъ по степенямъ большей и большей  
устойчивости и неизмѣнности, и этими реальными степенями  
опредѣляется вмѣстѣ достоинство и цѣнность нашего субъек-  
тивнаго познанія. Смутное и недостаточное познаніе, полу-  
чаемое въ мимолетныхъ и разрозненныхъ впечатлѣніяхъ, и  
ощущеніяхъ, получаетъ болѣе устойчивости въ нашихъ пред-  
ставленіяхъ; но болѣе совершенное познаніе о внѣшнемъ мірѣ,—  
познаніе о находящемся въ немъ постоянномъ и относительно  
неизмѣнномъ, даетъ намъ разсудокъ въ своихъ общихъ поня-  
тияхъ, при помощи которыхъ мы приобрѣтаемъ раціональное,  
но въ тоже время реальное познаніе о мірѣ.

Такимъ образомъ, такъ называемая текучесть и измѣнчи-  
вость чувственного бытія говоритъ въ сущности только объ  
относительности нашего познанія о внѣшнемъ мірѣ въ томъ  
смыслѣ, что нашему познанію доступно только менѣе измѣн-  
чивое и болѣе постоянное въ немъ, что въ силу нашей субъ-  
ективной ограниченности не все уловимо для насъ въ быстро  
несущемся мимо насъ потокѣ бытія, но только болѣе, такъ  
сказать, пѣнное для насъ и по своему относительному посто-  
янству болѣе приближающееся къ нашей духовной природѣ.  
Но такая относительность нашего познанія также мало сви-  
дѣтельствуетъ о его достовѣрности, какъ и условливаемая  
тою-же субъективною особенностью его природы относитель-  
ность въ сужденіяхъ о мѣрѣ, протяженіи, величинѣ предме-  
товъ, о которой мы говорили выше.

б) До сихъ поръ мы говорили о достовѣрности нашего эм-  
пирическаго познанія, въ какой мѣрѣ оно основывается на по-  
знаніи тѣхъ свойствъ чувственного бытія, которыя мы назва-  
ли объективными и которыя въ сущности условливаются кате-  
горіями пространства, времени и движенія. Но отъ этихъ свой-

ствъ мы отличили другія, которыя, повидимому, вполнѣ условливаются организацію нашей духовно-чувственной природы и которыя мы поэтому назвали субъективными, таковы: цвета, звуки, запахи и пр. Какое значеніе имѣютъ эти свойства для нашего познанія о мірѣ? Составляютъ ли они ни къ чemu пригодный прилатокъ нашего познанія, облегающій постоянныи, обманчивыи миражемъ образъ дѣйствительного міра, или и сами по себѣ они составляютъ какой-либо цѣпный и необходимый элементъ въ пашемъ познаніи истины бытія?

Что эти, такъ называемыя, субъективныя свойства, постоянно и неизбѣжно соединяясь съ объективными въ нашихъ чувственныхъ воззрѣніяхъ и представленияхъ, никакъ не препятствуютъ выдѣленію изъ пихъ сихъ послѣдніхъ и въ силу этого познанію дѣйствительныхъ свойствъ вещей,—объ этомъ мы уже говорили. Разумъ человѣка пашель средство отлічить звукъ отъ реальнай причины его—колебанія волнъ воздуха, свѣтъ отъ дрожанія эаира, запахъ и вкусъ—отъ химическаго измѣненія въ слизистыхъ покровахъ носа и рта и оканчивающихся здѣсь первовъ. Но этого мало; въ самыхъ субъективныхъ ощущеніяхъ находится нѣкоторый объективный элементъ, который и дѣлаетъ возможнымъ, при помощи ихъ и черезъ ихъ посредство, познаніе дѣйствительныхъ свойствъ вещей, въ силу чего и мы точнѣе должны-бы называть ихъ не чисто субъективными свойствами, по только съ преобладающимъ субъективнымъ характеромъ. Положимъ, эти свойства составляютъ только своеобразную реакцію нашего духа на воздействиe на наши чувства внѣшнихъ предметовъ. Однако-же особенности этой реакціи и форма ся (впечатлѣнія различныхъ чувствъ и степени силы ощущенія одного и того-же чувства) зависятъ не отъ пась однихъ, но находятся въ тѣсной зависимости отъ различнаго дѣйствія внѣшнихъ предметовъ \*). Слѣдовательно, по качеству

---

\*.) Что наши субъективныя ощущенія не безусловно субъективны, но зависятъ отъ воздействиe объекта, это, кромѣ разнообразія впечатлѣній, доказывается и тѣмъ, что съ исчезновеніемъ чувственныхъ воздействиe исчезаетъ въ насъ и способность субъективныхъ ощущеній. Такъ индивидуумы, потерявшіе зрѣніе или слухъ, въ фантазіи или во снѣ могутъ еще представлять себѣ цвета и звуки, но у слѣпорожденныхъ и отъ природы глухихъ они совершенно отсутствуютъ. Точно также наши свѣтовыя и звуковыя пред-

и разнообразію впечатлѣній мы можемъ заключать объ отли-  
чіяхъ и разнообразіи дѣйствительныхъ предметовъ, возбудив-  
шихъ то или другое ощущеніе. Такъ, напримѣръ, по силѣ свѣ-  
та или звука можемъ заключать о близости или отдаленности  
предмета, по направлению и измѣненію свѣта—о его движеніи,  
по степени мускульного усилия нужного, чтобы поднять, при-  
близить или отстранить предметъ—о его величинѣ и тяжести  
и т. п. На этомъ, такъ сказать, истолкованіи нашихъ субъ-  
ективныхъ ощущеній и основанномъ на немъ пониманіи ре-  
альныхъ свойствъ и отношений предметовъ основывается все  
наше практическое отношеніе къ дѣйствительному, окружаю-  
щему насъ бытю и вѣрность этого отношенія показываетъ  
несомнѣнную связь субъективныхъ ощущеній съ объективными  
свойствами вещей. Что-же касается до того обстоятельства,  
что эти объективные свойства даны въ нашемъ сознаніи въ  
несоответствующей имъ субъективной формѣ: цвета, запаха,  
звука и проч., что эта форма затѣмъ приводитъ во всѣ наши  
представленія и даже понятія о вышеупомянутомъ мірѣ безъ исклю-  
ченія, какъ неизбѣжная субъективная примѣсь и свойство на-  
шего специально человѣческаго познанія, то это явленіе сви-  
дѣтельствуетъ только объ относительности и ограниченности  
нашего познанія, по которому мы не можемъ познавать вещи  
такъ, какъ они сами по себѣ суть, но только чрезъ посред-  
ство нашей познавательной способности, въ частности—чув-  
ственной по отношенію къ предметамъ эмпирическимъ. По-  
ложимъ, какъ говорятъ Дюбуа-Реймонъ и Гельмгольцъ, наши  
свѣтовыя, звуковые и другія представленія по отношенію къ  
дѣйствительнымъ вещамъ суть не болѣе, какъ символы, поз-  
навательные значки, что они также похожи на настоящія  
вещи, какъ буквы, письменныя черты или произносимыя нами  
слова на тѣ предметы, которые они означаютъ. Однакоже  
символъ можетъ быть разгаданъ и не особенно трудно по-  
нять, что онъ означаетъ; однакоже, какъ пи мало похожи  
буквы и слова на вещи, которыхъ они означаютъ, мы не только  
посредствомъ ихъ понимаемъ вси и ставимъ себя въ пра-

---

ставленія тѣмъ яснѣе, сильнѣе и опредѣленіїе выступаютъ въ сознаніи,  
чѣмъ сильнѣе нормальное, объективное раздраженіе. Wundt, Psychologie,  
1874. 352.

вильное практическое отношение къ нимъ, но на примѣненіи ихъ къ дѣлу познанія основывается и все наше научное познаніе. Чтобы узнать вещь или дать о ней понятіе другимъ, мнѣ не всегда нужно увидать ее и показать другимъ; посредствомъ слова и письма я могу возсоздать ея образъ, вполнѣ соответствующій дѣйствительности, не смотря на полное несходство знака съ изображаемымъ. Точно также и такъ называемыя субъективныя свойства вещей могутъ служить къ познанію свойствъ объективныхъ, не смотря на все несходство съ ними.

Но мы слишкомъ мало цѣнили бы субъективный элементъ нашего чувственного познанія, еслибы смотрѣли на него только какъ на постороннюю примѣсь и нѣкоторое препятствіе къ подлинному познанію всщей. Положимъ, это препятствіе болѣе или менѣе устранимо и эта примѣсь можетъ быть отѣлена при помощи научного анализа, какъ шелуха отъ зерна. Но во всякомъ случаѣ самое существованіе этой шелухи, этой примѣси представлялось-бы безцѣльнымъ и загадочнымъ въ нашемъ познаніи. Это невольно наводитъ насъ на вопросъ: не имѣеть-ли тотъ элементъ представленія, который мы назвали субъективнымъ, какого-либо самостоятельнаго значенія въ дѣлѣ познанія истины бытія?

Прежде всего замѣтимъ, что при оцѣнкѣ значенія субъективныхъ свойствъ философская мысль часто невольно допускала ту ошибку, что противоположность ихъ свойствамъ объективнымъ понимала, какъ противоположность нереальнаго реальному, ложнаго истинному. Но это въ сущности материалистическая точка зрѣнія на познаніе и бытіе; только съ этой точки зрѣнія, съ которой истинно сущимъ признается бытіе, опредѣляемое физическими (объективными) свойствами \*), можно отвергать всякое положительное значение свойствъ субъективныхъ и считать ихъ, если и не чистымъ миражемъ нашего сознанія, то по крайней мѣрѣ бозполезными въ сущности символами предметовъ, не имѣющими съ 'ними ничего

---

\* ) Атомъ имѣеть, хотя и бесконечно малую, величину, плотность, форму; ему, какъ существенное свойство, принадлежитъ движеніе, а различными атомами различная степень интенсивности этого движенія. Тѣ же свойства принадлежатъ и различнымъ цѣлостямъ или комбинаціямъ атомовъ, называемымъ тѣлами.

общаго. Но субъективная (духовная сторона) бытія, какъ мы видѣли, имѣеть столько-же самостоятельное и реальное бытіе, какъ и объективная (въ смыслѣ материальной); поэтому и тѣ свойства вещей, которые создаются нашимъ духомъ, или точнѣе—въ нашемъ духѣ, по поводу воздействиа на него виѣшнихъ предметовъ, должны имѣть реальность по крайней мѣрѣ не меньшую той, какую мы приписываемъ свойствамъ, называемымъ нами объективными.

Но не въ смыслѣ только психологической или духовной реальности мы говоримъ о субъективныхъ свойствахъ. Мы называемъ ихъ не свойствами только нашего духа, образовавшимися подъ воздействиемъ свойствъ виѣшнихъ предметовъ, но свойствами *вещей*,— и это пазваніе нельзя назвать однимъ недоразумѣніемъ; въ немъ заключается вѣрный смыслъ. Мы видѣли, что эти свойства во всемъ разнообразіи ихъ оттѣнковъ не создаются нашимъ духомъ ни произвольно, ни по какому либо чисто субъективному закону, но зависятъ въ своемъ происхожденіи отъ реальнаго дѣйствія самыхъ предметовъ, что, слѣдовательно, они не безусловно субъективны, но имѣютъ въ себѣ и нѣкоторый объективный элементъ. Отсюда слѣдуетъ, что и представлениа наши, основанныя на этихъ свойствахъ, имѣютъ реальную, хотя и не прямую связь съ дѣйствительными вещами, и не суть только безразличные и равнодушные къ нимъ символы или значки, которые могли бы быть замѣнены и другими безъ вреда для существа дѣла, но отображенія въ нашемъ духѣ нѣкоторыхъ реальныхъ свойствъ бытія, хотя эти свойства открываются, какъ мы сказали, и сознаются только въ нашемъ духѣ.

Ближайшій и важный для насъ результатъ такого значенія субъективнаго элемента нашихъ представлений тотъ, что всѣ произведенія нашего духа, основанныя на познаніи этихъ свойствъ и на комбинаціи ихъ въ нашемъ сознаніи, имѣютъ объективно-научное, а не психологическое только значеніе. Область произведеній нашего духа, условливаемыхъ этими свойствами, какъ извѣстно, очень обширна; различныя сочетанія звуковъ членораздѣльныхъ составляютъ элементарное основаніе нашего ученія о словѣ (филология), словесности и поэзіи; нечленораздѣльныхъ,— музыки; свѣтовыя ощущенія играютъ существенную роль въ произведеніяхъ живописи, от-

части скульптуры и архитектуры. Еслибы эти свойства были чисто субъективными свойствами, то все научные теории человеческого слова и изящных искусств были бы не более, какъ произвольными порождениями нашего духа, не имѣющими никакой реальной цѣнности. Но какъ скоро они имѣютъ хотя непрямое, но основанное на объективныхъ качествахъ вещей, а потому относительно реальное, значеніе, то познанія и теоріи, трактующія обѣ изящныхъ, приобрѣтаются не только субъективное, но и объективное значеніе, и мы получаемъ право говорить о правильномъ, гармоническомъ, прекрасномъ не только въ наѣ самихъ, но и впѣ наѣ—въ природѣ, точно также, какъ говоримъ о протяженности, величинѣ, движении предметовъ. И опытъ дѣйствительно подтверждаетъ это право, когда показываетъ, что не смотря на все участіе и всю свободу нашей мысли и нашей фантазіи въ дѣлѣ искусства, не отъ нашего одного произвола зависитъ считать, напримѣръ, такое-то сочетаніе звуковъ гармоничнымъ, другое нѣтъ, такую то комбинацію цветовъ изящною, другую непріятною; но въ самой природѣ вещей даны пѣкоторыя условія къ разнообразной оцѣнкѣ впечатлѣній звука и свѣта.

Такимъ образомъ и субъективные свойства вещей мы имѣемъ полное основаніе называть реальными свойствами въ двухъ отношеніяхъ: какъ въ силу истины и дѣйствительности самого субъективного бытія, такъ и въ силу несомнѣнной связи ихъ съ дѣйствительными предметами. Конечно, говоря о реальности ихъ въ послѣднемъ отношеніи, мы не должны забывать, что они суть сложный продуктъ нашего субъективного ощущенія и объективного воздействиа вещей и что, поэтому, они по существу отличны отъ свойствъ чисто физическихъ, не смотря на связь съ послѣдними. Поэтому и познанія, основанные на этихъ свойствахъ, суть познанія самостоятельные и не обязаны своею твердостю и научнымъ характеромъ чисто эмпирическому познанію. Каждому звуку, каждому свѣтовому ощущенію соответствуетъ, напримѣръ, известное число колебаний воздуха, дрожацій ээира и для естествознанія,—определить число этихъ колебаний и частные оттенки ихъ, условливаемые средою, проводящую ихъ, имѣетъ свое значеніе. Но для научной теоріи языка, музыки, живописи это не важно; самое точное и подробное знаніе, сколько и какихъ колебаний

или вибрацій воздуха или ээира соотвѣтствуетъ такому-то слову, такому-то обороту рѣчи, такой-то музыкальной пьесѣ, такому-то сочетанію свѣта, тѣни, красокъ въ природномъ или изображенномъ на картинѣ ландшафтѣ, нисколько не сдѣлало бы для пасъ понятіе законовъ поэзіи, музыки, живописи и не объяснило бы намъ тѣхъ или другихъ эстетическихъ впечатлѣній, производимыхъ въ насъ тѣми или другими явленіями природы. Но такая самостоятельность познанія субъективныхъ свойствъ также мало можетъ говорить противъ объективной истины этого познанія, какъ и вообще самостоятельность всего нашего познанія противъ соотвѣтствія его дѣйствительному бытію всѣй, потому что и для познанія объективныхъ качествъ вещей непосредственное чувственное ощущеніе дасть очень немнога,—первоначальный, грубый матеріалъ, не представляющій еще научной цѣпности, матеріалъ, которымъ одинаково съ человѣкомъ владѣютъ и животныя; все дальнѣйшее движение нашего познанія,—познанія въ точномъ смыслѣ слова, совершается при помощи субъективнаго, логического процесса мышленія и категорическихъ,aprіорныхъ понятій нашего разума. Но если это привнесеніе субъективнаго элемента, какъ увидимъ въ анализѣ рациональнаго познанія, нисколько не присягаетъ его истинѣ и объективному значенію, то также точно самостоятельность нашего познанія по отношению къ тѣмъ сторонамъ бытія, о которыхъ даютъ намъ знать субъективные свойства вещей, не можетъ лишить его истины и объективного значенія.

Признавъ относительную реальность субъективныхъ свойствъ вещей, мы вмѣстѣ съ тѣмъ возстановили полный образъ вѣнчанаго чувственного міра въ томъ объективномъ значеніи, какое придаетъ ему непосредственное сознаніе человѣчества и которое грозитъ совершенно разрушить философскій анализъ чувственного представления, обративъ весь этотъ міръ въ субъективный фантомъ и миражъ нашего сознанія. Реальность объективныхъ свойствъ вещей, основанныхъ на представленияхъ пространства, времени и движенія, обезпечила для насъ истину и достовѣрность той стороны познанія о вѣнчанемъ мірѣ, которая составляется предметъ положительного, естество-знательного ученія изученія природы. Относительная реальность субъективныхъ свойствъ вещей обезпечила такую-же

достовѣрность познаній, которыхъ, хотя по ихъ характеру и не могутъ быть названы эмпирическими, но имѣютъ однако-же тѣсную связь съ міромъ эмпирическихъ явлепій, а потому имѣютъ не только субъективное, но и объективно-эмпирическое значеніе. Еслибы, отстаивая самостоятельность міра вѣнчанаго, мы ограничились утвержденіемъ за нимъ только однихъ объективныхъ свойствъ, то образъ дѣйствительного міра только въ половину соотвѣтствовалъ бы нашему представлению о немъ, лишившись при этомъ именно тѣхъ качествъ и свойствъ, которыхъ дѣлаютъ его столь разнообразнымъ и привлекательнымъ для нашего сознанія и эстетического чувства. Дѣйствительный міръ представился бы намъ въ видѣ монотоннаго движенія атомовъ, то колеблющихся съ различною скоростю въ дрожаніяхъ эаира или воздуха, то образующихъ путемъ механическаго движенія различныи измѣнчивыи комбинаціи, различные протяженныи тѣла. Наглядный образъ такого міра мы получимъ, если представимъ безчисленное множество точекъ въ пространствѣ, движущихся въ различномъ направлениѣ съ различною быстротою и находящихся въ большей или меньшей (впрочемъ постоянно менѣющеи) степени сближенія. Но въ этотъ монотонный механическій міръ вносятъ свѣтъ и жизнь субъективныи свойства вещей, называемыи нами свѣтомъ, звукомъ, тепломъ и пр. Но не одинъ только духъ *творитъ* эти свойства и украшаетъ хотя пріятнѣмъ, но тѣмъ не менѣе обманчивымъ, миражемъ подлинный образъ міра, хотя-бы и въ такомъ случаѣ это духовное украшеніе и дополненіе міра имѣло бы не меньшую реальность, чѣмъ таѢь называемыи объективныи свойства его, въ силу того, что и самъ духъ и его произведенія составляютъ бытіе столько же истинное, какъ и бытіе физическое. Основаніе и начало свое эти свойства находятъ и въ самой природѣ вещей и поэтому, не смотря на то, что они составляютъ сложный продуктъ субъективнаго и объективнаго элементовъ, они справедливо считаются свойствами самаго міроваго бытія. Такимъ образомъ чувственный міръ живаго общечеловѣческаго сознанія снова является предъ нами цѣльнымъ и полнымъ міромъ и критической анализъ его, не уничтоживъ этой цѣльности, привелъ только къ болѣе рациональному и свободному отъ одностороннихъ воззрѣній возврѣнію на міръ, чѣмъ и достигнута

главная цѣль этого анализа, состоящая въ философскомъ удостовѣреніи тѣхъ положеній, которыя общимъ сознаніемъ признаются безотчетно на вѣру.

Въ заключеніе нашего изслѣдованія о достовѣрности чувственного познанія считаемъ не излишнимъ сказать нѣсколько словъ о границахъ этого познанія, такъ какъ не только "относительность, но и ограниченность его служила для идеализма поводомъ къ отрицанію его достовѣрности. При этомъ считаемъ нужнымъ припомнить сказанное нами въ началѣ нашего изслѣдованія, что, подвергая анализу чувственное познаніе, мы принимаемъ его здѣсь въ самомъ тѣсномъ и низшемъ значеніи этого слова, какъ познаніе непосредственное (чувственное воззрѣніе и представлѣніе), отличное отъ познанія о внѣшнемъ мірѣ, пріобрѣтаемаго посредствомъ понятій разсудка, и которое должно быть отнесено къ области познанія рациональнаго. Поэтому и говоря о границахъ чувственного познанія, мы будемъ имѣть въ виду лишь предѣлы доступности для нашей чувственно-познающей силы непосредственно воспринимаемыхъ ею свойствъ, качествъ, явлений и предметовъ виѣ находимагося материальнаго міра.

Разматривая съ этой точки зреінія наше чувственное познаніе, мы, конечно, должны признать его очень ограниченнымъ и въ силу общей ограниченности нашего познающаго субъекта и относительности его познанія, и въ силу эмпирическихъ фактъ, подтверждающихъ эту ограниченность,—ограниченность въ томъ смыслѣ, что нашему ощущенію доступно не все то, что существуетъ въ материальномъ мірѣ. Прежде всего, можемъ-ли мы быть увѣрены, что нашими пятью чувствами исчерпывается все содержаніе внѣшняго намъ бытія? что въ природѣ не можетъ быть свойствъ, явлений, силъ, предметовъ, которые совершенно намъ недоступны, по отсутствію органовъ къ ихъ восприятію? Какъ для слѣпорожденного не существуетъ свѣта и цвѣтовъ, для природно-глухаго—звуковъ, такъ и для насъ могутъ не существовать цѣлые ряды качествъ и свойствъ вещей доступныхъ иначе, чѣмъ мы, организованнымъ существамъ. Другія существа съ другими субъективными способностями воспріятія могутъ видѣть и знать то, чего мы и въ фантазіи представить не можемъ; вселенная для нихъ будетъ имѣть совершенство иной видъ, столько-же

не вообразимъ для пашъ, сколько пашъ міръ можетъ быть не вообразимъ для существъ высшихъ или низшихъ настъ паше организованныхъ. Затѣмъ, и познавательная сила специально человѣческихъ чувствъ очень не велика и очень скоро встрѣчаешь границы и въ своей собственной ограниченной природѣ и въ неограниченности природы внѣшней, такъ что едва-ли можно считать абсолютно достовѣрнымъ тотъ образъ міра, какой она начертываетъ памъ. Раздвиньте немного далѣ эти границы и получится совершенно иной образъ міра. Еслибы, напр., пашъ глазъ быль устроенъ подобно микроскопу, или зрительная его сила была въ тысячу разъ сильнѣе нынѣшней, то мы совершенно не узпали бы окружающаго настъ міра. Еслибы пашъ слухъ быль болѣе тонокъ или грубъ, то измѣнилась бы вся система нашей музыкальной гармоніи и отъ всей теоріи музыки не осталось бы и слѣда; при увеличеніи силы слуха въ тысячу и болѣе разъ мы, можетъ быть, услышали бы звуки, производимые движеніемъ въ эаирѣ небесныхъ тѣлъ, ту небесную гармонію, о которой мечталъ Пиѳагоръ. Но какъ-бы ни раздвигали полетомъ нашей мысли интенсивность нашихъ чувствъ, мы все-таки принуждены будемъ отступить предъ громадными пространствами вселенной и неobjятностю ея содержанія.

Но, быть можетъ, вслѣдствіе общаго закона міроваго развитія, которому подлежитъ и человѣкъ, мы можемъ надѣяться, что та ограниченность чувственнаго познанія, о которой мы говоримъ, будетъ уменьшаться мало-по-малу. Было время, когда въ природѣ не было живыхъ существъ, а вмѣстѣ съ ними и субъективныхъ или вторичныхъ свойствъ, о которыхъ мы знаемъ теперь; съ появлениемъ, диференцированіемъ, усовершеніемъ чувственныхъ органовъ въ животномъ мірѣ увеличивались и расширялись первоначально смутныя и крайне ограниченныя представленія животныхъ. Этотъ законъ развитія чувственнаго познанія можетъ имѣть приложеніе и къ человѣку. Такъ, говорятъ, новѣйшія филологическія изслѣдованія показываютъ, что мы знаемъ гораздо больше цвѣтовъ, чѣмъ сколько знали люди во времена Гомера. Отчего не предположить, что наши потомки будутъ знать гораздо болѣе цвѣтовъ, вообще гораздо больше свойствъ вещей, чѣмъ сколько знаемъ мы ихъ теперь. Извѣстно, напр., что существуютъ

въ природѣ лучи, которые не ощущаются одинакоже нашимъ зрѣніемъ; можетъ быть свѣтовыя лучи, которые слабѣе, чѣмъ красные, и сильнѣе, чѣмъ фіолетовыя, и которые теперь (предположительно) ощущаемъ только какъ тепло или какъ химическое дѣйствіе, чрезъ нѣсколько тысячи лѣтъ человѣкъ будетъ ощущать какъ лучи солнечнаго спектра. Подобное-же можно предположить и относительно ощущеній всѣхъ другихъ нашихъ чувствъ.

Но опытъ представляетъ намъ факты, далеко не подающіе надежды на расширеніе и усовершеніе нашей чувственно-познавательной способности. Онь несомнѣнно свидѣтельствуетъ, что вопреки, повидимому, закону развитія, который требуетъ, чтобы совершеннѣйшія и позже другихъ явившіяся въ мірѣ существа владѣли и болѣе совершенными чувственными органами, у человѣка эти органы развиты несравненно слабѣе, чѣмъ у многихъ низшихъ животныхъ; при этомъ зрѣніе орла, обоняніе собаки, слухъ у многихъ птицъ и т. п. И въ самомъ родѣ человѣческомъ мы замѣчаемъ не усиленіе и развитіе, а скорѣе сокращеніе и ослабленіе первоначально данной ему природою энергіи чувствъ. По всей вѣроятности первобытные люди видѣли, слышали и пр. несравненно лучше, чѣмъ современные; известно, напримѣръ, что дикия и кочевыя племена обладаютъ силою зрѣнія и слуха несравненно болѣе значительною, чѣмъ европейцы; цивилизациѣ, повидимому, гибельно дѣйствуетъ па интенсивность чувственного восприятія. Все это скорѣе ведетъ къ мысли о сокращеніи, чѣмъ о расширѣніи области нашего непосредственнаго чувственного познанія \*).

---

\*) Что касается до миѳнія, будто древніе не знали о нѣкоторыхъ изъ тѣхъ цветовъ солнечнаго спектра, о которыхъ мы знаемъ теперь (например—не различали голубаго отъ зеленаго и пр.), то филологія представляетъ здѣсь слишкомъ шаткую и ненадежную почву, чтобы устроить сколько-нибудь вѣроятные выводы. Если о нѣкоторыхъ цветахъ не упоминаютъ древніе писатели, напримѣръ, Гомеръ, или смысливаютъ названія, обозначающія вноскѣствіи различные цвета, то это могло зависѣть отъ причинъ чисто случайныхъ и отъ несовершенства языка. Можетъ быть и теперь въ языкахъ дикарь мы не найдемъ названій для обозначенія различныхъ оттенковъ цветовъ, для которыхъ у насъ такія названія существуютъ; но можетъ ли это служить доказательствомъ, что они не имѣютъ и представленія объ этихъ оттенкахъ?

Всѣ вышѣизложенныя наши замѣчанія, конечно, справедливы, но они свидѣтельствуютъ только объ относительности и ограниченности нашего познанія, но не говорятъ противъ его достовѣрности. Несомнѣнно, конечно, то, что дѣйствительность гораздо шире, чѣмъ самое широкое познаніе о ней, что въ мірѣ больше содерянія, чѣмъ сколько можемъ мы воспринять посредствомъ чувствъ. Но такая ограниченность не говоритъ еще, чтобы то, положимъ, немногое, что даютъ намъ знать о мірѣ наши чувства, было не истинно. Положимъ, существа высшія настѣ могутъ видѣть въ предметахъ больше, чѣмъ мы, и въ этомъ смыслѣ представлять себѣ міръ иначе, чѣмъ мы, но это еще не доказывается, чтобы наше знаніе о мірѣ, хотя менѣе полное и обширенос, было невѣрно. Если зрѣніе, вооруженное микроскопомъ, открываетъ въ предметѣ больше, чѣмъ обыкновенный глазъ, то это не говоритъ, чтобы нашъ глазъ обманывалъ настѣ, показывая въ предметѣ не то, что въ немъ есть. Познаніе можетъ имѣть различныя степени и условливаться мѣрою совершенства различныхъ существъ. Но различныя степени познанія относятся одна къ другой не какъ истинная къ ложной, но какъ болѣе полная къ менѣе полной и совершенной. Безусловно, истинно полное и совершенное познаніе о вещахъ можетъ имѣть только умъ божественный, который созерцаеть вещи прямо сами въ себѣ и для познанія ихъ не имѣть нужды въ какихъ-либо посредствахъ и органахъ. Познаніе существъ конечныхъ есть относительное (т. е. соразмѣрное ихъ природѣ), ограниченно, но не ложное; оно различается степенями, но не сущностю. Такое различие степеней чувственного познанія мы замѣчаемъ даже въ настѣ самихъ, сравнивая наши собственные представленія, основанныя на показаніяхъ тѣхъ-же чувствъ, но при различныхъ условіяхъ ихъ дѣйствія; мы различаемъ, поэтому, представленія ясныя и темныя; знаемъ, что повторенное впечатлѣніе, внимательное наблюденіе открываетъ въ томъ-же предметѣ гораздо больше, чѣмъ мы замѣтили сначала; но все это не пре-

---

И у настѣ для многихъ оттѣниковъ цвѣта, запаха, вкуса не существуетъ специальныхъ названий; но справедливо-ли наши потомки, у которыхъ будутъ такія названія, стали бы отрицать существованіе у настѣ этихъ ощущеній на томъ только основаніи, что словъ, ихъ обозначающихъ, не нашли въ нашихъ книгахъ.

пятствуетъ относительной истинѣ и вѣрности предмету различныхъ представлений сго.

Ограниченнность нашего чувственного познанія тѣмъ менѣе можетъ говорить противъ его достовѣрности, что человѣку дана возможность расширять поле своего эмпирическаго знанія и раздвигать границы этой естественной ограниченности. Но эта возможность заключается вовсе не въ естественномъ расширеніи предѣловъ нашего чувственного восприятія въ силу проблематического закона органическаго прогресса, но въ той высшей, специально человѣческой способности, которая неизмѣримо возвышаетъ его надъ всѣми органическими существами,—въ разумѣ. Подъ могущественнымъ вліяніемъ этой силы, не смотря на ограниченность своихъ чувствъ, не смотря на несовершенство ихъ сравнительно съ чувствами многихъ животныхъ, человѣкъ достигаетъ открытія въ окружающемъ его мірѣ такихъ свойствъ, качествъ, явленій, предметовъ, о которыхъ не могли-бы дать ему ни малѣйшаго понятія самыя сильныя чувства. При помощи телескопа онъ проникнулъ въ глубины звѣздного неба, при помощи микроскопа открылъ живыя существа, о существованіи которыхъ никогда не могли сказать ему чувства; онъ опредѣлилъ неуловимую чувствомъ тяжесть воздуха, густоту паровъ, скорость движенія свѣта, электрическаго тока и т. п. Есть-ли гдѣ границы расширенія этой могущественной силы въ познаніи свойствъ и явленій міра,—сказать трудно; во всякомъ случаѣ можно сказать то, что действительный источникъ нашего познанія о внѣшнемъ мірѣ, какъ *познаніе*, заключается не въ чувствахъ, которые даютъ лишь первоначальный, грубый матеріаль для разума, а въ самомъ разумѣ, и что самый фактъ постепеннаго расширенія его, на ряду съ фактомъ ограниченности нашей чувственной способности,—ограниченности, съ течеіемъ времени усиливающейся, а не уменьшающейся, представляеть ясное опроверженіе теоріи, производящей всѣ наши познанія изъ чувственного опыта.

---

## ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ.

---

Приступая къ метафизическому анализу эмпирическаго познанія, мы указали на два главныя понятія, которые должны служить предметомъ этого анализа. Это понятія: индивидуальнаго чувственного предмета, какъ общаго содержанія нашего эмпирическаго познанія, и пространства и времени, какъ самой общей формы, въ которой дается нашему сознанію это содержаніе. Вопросами, касающимися первого изъ этихъ понятій: дѣйствительно-ли существуютъ чувственные предметы, совокупность которыхъ мы называемъ внѣшнимъ міромъ и въ какой мѣрѣ соотвѣтствуетъ имъ наше познаніе, мы занимались въ предыдущемъ нашемъ изслѣдованіи. Теперь на очреди второй вопросъ: о всеобщихъ формахъ чувственного бытія.

Найти эти формы не трудно, какъ скоро мы знаемъ существенныя метафизическія свойства внѣшней дѣйствительности. Характеристической признакъ ея состоитъ въ томъ, что она является намъ какъ бытіе *множественное* и постоянно *изменяющееся*. Множественность т. е. существованіе многихъ, одинъ отъ другаго отдаленныхъ и отличныхъ предметовъ, сама собою предполагаетъ, что одинъ предметъ находится *внѣ* другаго, отдаленъ или ограниченъ отъ другаго,—предполагаетъ слѣдовательно *пространство* какъ свое условіе. Постоянная измѣнчивость указываетъ на различіе въ предметѣ состоянія, которое было прежде, которое измѣнилось въ *настоящее* и которое въ свое время смѣнится новымъ *будущимъ*; но понятія на-

стоящаго, прошедшаго, будущаго предполагаютъ понятіе *времени*. Итакъ пространство и время суть самыя общія формы, подъ которыми мы представляемъ чувственную действительность. Представляя какой бы то ни было предметъ, мы необходимо предполагаемъ, что онъ существуетъ гдѣ нибудь и когда нибудь: безъ этихъ опредѣленій невозможно мыслить никакого реальнаго внѣшняго предмета. Сознаніе, что представляемый мною объектъ нигдѣ и никогда не существовалъ, равняется отрицанію его реальнаго бытія. Но даже и при представлениіи такихъ предметовъ нашу фантазію мы не можемъ совершенно отрѣшиться отъ формъ пространства и времени; мы прилагаемъ къ пимъ умопредставляемое, фиктивное пространство и время, въ области которыхъ воображаемъ ихъ существующими.

Что-же такое пространство и время?

„Пока у меня никто не спрашивастъ, что такое время, я знаю что оно; если же меня спросятъ *что* оно и я захочу дать отвѣтъ, то окызывается, что я ничего по знаю“ (\*). Эти слова б.т. Августина, столь же замѣчательнаго философа, какъ и богослова, отчасти можно повторить и теперь и при томъ не только о времени, но и о пространствѣ. Для непосредственнаго сознанія, повидимому, нѣть ничего яснѣе и само собою понятнѣе какъ пространство и время; пространство мы готовы почти показать пальцемъ; что такое время, памъ каждую минуту даетъ чувствовать наша собственная жизнъ. Но какъ скоро начинаемъ пристальнѣе вглядываться въ эти попытія и прилагать къ пимъ философскій анализъ, они пачинаютъ болѣе и болѣе меркнуть и непосредственная достовѣрность ихъ становится болѣе и болѣе шаткою; возникаетъ масса недоумѣнныхъ вопросовъ, которые столь ясныя, повидимому, для обыденнаго сознанія понятія превращаютъ въ одну изъ труднѣйшихъ метафизическихъ проблемъ.

Каждущаяся непосредственная ясность и сама достовѣрность понятій пространства и времени можетъ быть и была причиной, что философія обратила на нихъ вниманіе довольно поздно

\*) „Si nemo ex me quaerat, quia sit tempus, scio; si quaerenti explicare velim,—nescio“; и въ другомъ мѣстѣ: „Si rogas, quia sit tempus, nescio; si non rogas, intelligo“.

и что философскія изслѣдованія о нихъ по своимъ достоинствамъ, до сравнительно недавнихъ временъ Канта, далеко не соотвѣтствовали важности значенія ихъ для философіи. Первый научный опытъ разъясненія этихъ понятій въ древней философіи мы встрѣчали у Аристотеля въ его физикѣ. Пространство, по его ученію, есть граница между заключающимъ что либо тѣломъ и тѣмъ, что въ немъ заключено. Изъ этого опредѣленія уже видно, что Аристотель еще не знаетъ понятія о чистомъ или абстрактномъ пространствѣ, независимомъ отъ вещей его наполняющихъ; пространство у него тоже что мѣсто (*τόπος*), которое занимаетъ тѣло; въ пространствѣ или мѣстѣ у него можетъ быть только то, что окружено или ограничено другимъ тѣломъ; какъ граница, оно предполагаетъ два тѣла, — ограничивающее и ограничиваемое. Отсюда само собою слѣдуетъ, что нѣтъ никакого пустаго пространства; оно можетъ быть только тамъ, гдѣ есть граница другъ съ другомъ тѣла. Время Аристотель опредѣляетъ какъ мѣру движенія въ отношеніи къ *прежде* и *послѣ*. Но мѣра или измѣреніе предполагаетъ кого-либо измѣряющаго, поэтому и представлніе времени возникаетъ въ нась отъ того, что *мы* различаемъ другъ за другомъ слѣдующіе моменты въ измѣненіи предметовъ; иначе, — *считаемъ* эти моменты; поэтому время Аристотель называетъ также *числомъ*. На вопросъ о реальности пространства и времени Аристотель отвѣчаетъ утвердительно относительно первого и отрицательно относительно послѣдняго. Пространство дѣйствительно существуетъ, также какъ дѣйствительно существуютъ предметы и мѣста, которыхъ они занимаютъ. Что-же касается до времени, то такъ какъ оно есть число, а безъ счиляющей души или разума не можетъ быть счисленія, то время само по себѣ чисто субъективное понятіе; если бы не существовало ни какой души, то не было бы и времени. Но такъ какъ и самое движеніе или предметъ исчисленія Аристотель считаетъ реальнымъ, а движеніе съ своей стороны немыслимо безъ времени, то онъ въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ собою принужденъ говорить и о времени, какъ о чмъ-то реальному. Такъ напр., онъ рѣшаетъ вопросъ безграницы или ограниченности пространство и времія? Самая постановка этого вопроса относительно времени, тѣмъ болѣе такой отвѣтъ на него, что время безгранично, не имѣть

ни начала, ни конца, были бы невозможны, если-бы признавать время субъективнымъ понятіемъ въ строгомъ смыслѣ, то есть, если бы время было только продуктомъ счисляющей души. Время, по Аристотелю, необходимо безгранично, потому что каждая часть времени, каждое *теперь* стоитъ въ сердинѣ между прежде и послѣднѣмъ, слѣд. предполагасть уже протекшее и послѣдующее время. Но отрицая ограниченность времени и расходясь здѣсь съ Платономъ, который, допуская временное начало міра явлений, учитъ, что міръ идей, существовавшій прежде этого міра, не есть „во времени“ и что время явилось и существуетъ только съ видимыми вещами, Аристотель отрицасть безразличность пространства. Пространство невозможно мыслить безграничнымъ, потому что оно есть граница, раздѣляющая заключающее что-либо и заключенное въ немъ; итакъ, если бы было безграничное пространство, то мы должны-бы допустить и безграничные тѣла; но понятіе безграничного тѣла заключаетъ въ себѣ логическое противорѣчіе. Поэтому и міръ, какъ физическое тѣло, ограниченъ и виѣ его неѣтъ никакого пустаго пространства; не міръ вообще какъ цѣлое, но только отдельныя его части находятся въ пространствѣ. Какъ пространство, такъ и время до бесконечности дѣлимы; впрочемъ эти свойства принадлежать имъ только въ возможности (*δυνατεῖ*), а не въ дѣйствительности (*ἐνεργῆς*).

Въ изслѣдованіяхъ Аристотеля о пространствѣ и времени мы имѣемъ почти все, что сказала намъ древняя философія обѣ этихъ понятіяхъ. Нѣкоторое вниманіе на нихъ было обращено только въ атомистической Епикурейской школѣ, гдѣ опредѣленіе понятія о пространствѣ требовалось основными принципами этой философіи. По мнѣнію Эпікура и его послѣдователей (Лукрецій), пространство и матерія (атомы) суть единственно сущія начала бытія (*principia, primordia gегum*). Все, что ни существуетъ, слагается изъ того и другаго, или со-ставляетъ движеніе въ нихъ. Время-же само по себѣ не существуетъ; оно есть вымыселъ воображенія (*φάντασμα*); то, что мы зовемъ временемъ, есть только чувствованіе того, что про-исходитъ во времени, или что было прежде, или будетъ послѣ.

Схоластическая философія, занимаясь болѣе точнымъ опре-дѣленіемъ производныхъ изъ пространства и времени понятій, не сказала ничего существенно важнаго и новаго ни о значе-

нії, ни о происхожденії ихъ. Замѣчательно, что многіе схоластики, вопреки Аристотелю, по неясному пониманію истиннаго смысла его учспія, допускали существованіе за предѣлами вселенской безконечнаго пространства и почитали его не сотвореннымъ, основываясь па томъ, что оно не имѣть никакой опредѣленности, никакихъ качествъ и потому не есть вещь (*res*) въ точномъ смыслѣ.

Декартъ пространство почиталъ тожественнымъ съ протяженіемъ, а мысль и протяженіе признавалъ двумя сотворенными субстанціями, лежащими въ основѣ ограниченнаго бытія. Какъ мышленіе есть субстанція существъ духовныхъ, такъ протяженіе въ длину, ширину и высоту составляетъ самую сущность всей матеріальныхъ. Изъ этого видно, что понятіемъ пространства или протяженія Декартъ замѣнилъ то, что обыкновенно называютъ матеріею. Время же, по его мнѣнію, не есть свойство вещей, но только извѣстный способъ мышленія о нихъ \*). Исходя изъ началъ Декарта, Спиноза удержалъ и его воззрѣніе на пространство и время съ тѣмъ только существеннымъ различіемъ, что протяженіе и мышленіе призналь сущностью не ограниченныхъ только и сотворенныхъ вещей, но атрибутами единой, абсолютной субстанціи,—Бога. Пространство есть такой-же безконечный атрибутъ абсолютнаго, какъ и мышленіе. Такъ какъ основной характеръ абсолютной субстанціи есть ея вѣчность и неизмѣнность, то, конечно, время, съ понятіемъ котораго соединяется представление измѣненія, не можетъ быть ея атрибутомъ. Время не есть что-либо реальное; оно чисто субъективное произведеніе нашего ограниченнаго я и возникаетъ отъ того, что наша представительная сила (воображеніе) произвольно опредѣляетъ продолжаемость предмета, независимо отъ того, какъ онъ существуетъ въ умѣ божественному; истинное, философское познаніе рассматривается всѣ вещи ис какъ временныя, но подъ формою вѣчности (*sub specie aeternitatis*). Довольно замѣчательно, что сходныя съ ученіемъ Спинозы о пространствѣ мнѣнія мы встрѣчаемъ у нѣкоторыхъ философовъ, вовсе не раздѣлявшихъ крайностей его идеалистического пантезизма. Такъ

---

\*<sup>4</sup>) *Tempus non est affectio rerum, sed modus cogitandi.*

Кларкъ \*), исходя изъ того понятія, что пространство и время необходиимо мыслятся нами безконечными, а кромѣ Бога и Его свойствъ не можетъ быть ничего безконечнаго, полагаль, что пространство и время не могутъ быть чѣмъ-либо существующимъ виѣ Бога; они суть непосредственныя и необходиимыя слѣдствія Его существованія, безъ котораго Онъ не быль бы вѣчнымъ и всѣдѣсущимъ. Повидимому, Кларкъ близокъ къ той мысли, что пространство и время суть реальнаяя свойства Божества. Ньютонъ называлъ пространство *sensorium Dei* и видѣлъ въ немъ какъ-бы реальный органъ, которымъ Богъ пользуется, чтобы ощущать или воспринимать предметы и представлять ихъ какъ настояще; пространство само по себѣ есть тоже, что божественная неизмѣримость.

Что касается до другихъ философовъ болѣе или менѣе идеалистического направленія, предшествовавшихъ Канту, то они пошли дальше, чѣмъ Спиноза, и отвергли реальное значение не только времени, но и пространства. Такъ Берклей, отрицая самостоятельность материальнаго міра, почиталъ и пространство, наравнѣ съ прочими свойствами материальныхъ вещей, кажущимся или призрачнымъ явлениемъ; время также есть ничто, какъ скоро мы считаемъ его чѣмъ-либо особымъ отъ послѣдованія идей въ нашемъ умѣ. Лейбница, полагая въ основу всего сущаго простыя, духовныя сущности, — монады, конечно, не могъ считать ихъ протяженными или пространственными. Пространство и время суть не что иное, какъ представление *отношеній* между предметами; первое опредѣляетъ порядокъ ихъ взаимнаго существованія, второе — порядокъ ихъ измѣненія. Понятія пространства и времени принадлежать къ числуaprіорныхъ истинъ, напечатлѣнныхъ въ нашей душѣ, которые однаково прилагаются какъ къ дѣйствительному, такъ и возможному бытію.

Развивавшаяся параллельно рациональной, эмпирической докторовской философія также представляетъ намъ различныя мнѣнія о разсматриваемыхъ нами понятіяхъ. По мнѣнію Гассенди, пространство хотя и не есть материальный предметъ (*res*), но дѣйствительно существуетъ; оно было-бы даже и тогда,

\*) Самуиль Кларкъ (1675—1729) извѣстенъ какъ острумный критикъ современного ему материализма, пантезма и деизма; точка зрѣнія его строготеистическая.

если-бы вовсе не было тѣлъ. Пространство есть нематеріальное количество, состоящее изъ трехъ измѣреній, само по себѣ ни дѣятельное, ни страдательное, но только воспринимающее въ себя и проникающее все другое. Пространство само по себѣ пусто и существуетъ или за предѣлами міра, или разсѣяно между материальными предметами, или занято массами ихъ. Время, также какъ и пространство, есть нематеріальное протяженіе, но только не пребывающее, а текущее, такъ что въ сущности оно тоже, что и пространство. Гоббсъ различаетъ воображаемое и реальное пространство; послѣднее есть реальное свойство предметовъ, существующее вмѣстѣ съ ними; чистое-же пространство, которое какъ и время, мы представляемъ безконечнымъ, есть простой продуктъ воображенія (*phantasma*), которому ничто въ дѣйствительности не соотвѣтствуетъ. Локкъ пространство и время считаетъ первичными свойствами вещей, первое—матеріальныхъ, второе какъ материальныхъ, такъ и духовныхъ. Впрочемъ, что касается до объектовъ духовныхъ, то Локкъ оставляетъ подъ сомнѣніемъ, составляеть-ли характеристическую принадлежность ихъ одно только время, или имъ свойственна также и пространственность, потому что не считаетъ невозможнымъ и того, что и матеріи Богъ могъ даровать способность мыслить и что поэтому то, что мы зовемъ духовнымъ, въ сущности не различно отъ материального. Впрочемъ, не смотря на то, что пространство Локкъ называетъ свойствомъ *вещей*, онъ паравнѣ съ атомистами допускаетъ реальное существование пустаго пространства между атомами и тѣлами. Юмъ считаетъ пространство реальнымъ и полагаетъ, что оно состоитъ изъ отдельныхъ недѣлимыхъ пунктовъ и потому пе до бесконечности дѣлимо. Кондильякъ отказывается рѣшить вопросъ, существуетъ-ли реальное пространство или нѣть.

Нельзя не замѣтить, что, не смотря на разногласіе мнѣній о пространствѣ и времени, общая характеристическая черта движенія философской мысли здѣсь состоить въ постепенномъ удаленіи ея отъ обыденнаго воззрѣнія на эти понятія, какъ на реальная опредѣленія вещей. Чаще и чаще встречаются мнѣнія о субъективномъ только значеніи ихъ и притомъ въ противоположныхъ по направлению системахъ. Чаще всего отрицается реальность времени; въ этомъ отношеніи, какъ мы видѣли, сходятся эмпирікъ Аристотель и идеалистъ Спиноза;

но и отрицаніе реальности пространства мы находимъ не только у идеалистовъ (Берклей, Лейбницъ), но отчасти и у эмпириковъ (Гоббсъ). Но эти частныя воззрѣнія на субъективность то одного, то обоихъ разсматриваемыхъ нами понятій, не были ни твердо обоснованы, ни обстоятельно раскрыты; они представляли собою не болѣе какъ философскія мнѣнія, а не теоріи пространства и времени, приведенные въ строгое соотвѣтствіе какъ съ принципами системы (отъ чего одно и тоже, напр., воззрѣніе встрѣчается и у идеалистовъ и у эмпириковъ), такъ и съ ученіемъ о познаніи. Честь первого полнаго и обстоятельного раскрытия этихъ понятій принадлежитъ Канту, который послѣдовательно провелъ мысль о безусловно субъективномъ характерѣ какъ пространства, такъ и времени. Такъ какъ въ ученіи Канта заключается главный источникъ всѣхъ однородныхъ съ нимъ воззрѣній на эти понятія въ новѣйшей философіи, то мы остановимся па немъ съ большою подробностію.

Къ опредѣленію понятій пространства и времени Кантъ идетъ путемъ анализа чувственного представлія и различія въ немъ субъективного и объективного элементовъ.

Такъ какъ съ одной стороны чувственные предметы представляютъ собою бытіе постоянно измѣняющееся, а съ другой—наше воспринимающее ихъ впечатлѣнія чувство остается неизмѣннымъ, хотябы на него дѣйствовали различные предметы, то очевидно, что во всѣхъ воззрѣніяхъ, какія даетъ намъ чувство, неизмѣнное и постоянное принадлежитъ самому чувству, а измѣняющееся—подѣйствовавшему на чувство предмету. Но такъ какъ отдѣляя въ нашихъ чувственныхъ представліяхъ измѣнчивое отъ постоянного, находимъ, что единствено постояннымъ и вообще безусловно принадлежностью каждого представлія о предметахъ внѣшнихъ служить пространство и время, — и каждого внутренняго ощущенія время, то слѣдуетъ, что представлія пространства и времени принадлежать не предметамъ, на насъ подѣйствовавшимъ, но нашей познавательной способности.

Что представліе пространства не дается намъ воспринимаемыми предметами, по заключается въ самой способности чувственного познанія, это видно изъ того, что:

а) Мы прилагаемъ къ пространству свойства, которыя не

могутъ быть даны опытомъ. Такъ пространство вообще мы представляемъ *неограниченнымъ*, — бесконечно великимъ и до бесконечности дѣлимымъ. Но обѣ этомъ свойствѣ мы не можемъ знать при помощи опыта; если-бы мы дѣйствительно должны были опытно воспринимать бесконечную величину и дѣлимость пространства, то для этого потребовалось-бы бесконечное время.

б) Такъ какъ воззрѣнія чувственныхъ предметовъ непрестанно мѣняются, то мы никогда не могли-бы найти въ нихъ ничего постоянного. Ничто не давало-бы намъ права предполагать, что предметы, нами представляемые, *должны* быть мыслимы въ пространствѣ; итакъ, если пространство составляетъ *неизменное* во всѣхъ и для всѣхъ представлений, то очевидно, что представлениe о немъ самомъ принадлежитъ нашему духу, а не предметамъ.

в) Если-бы понятіе пространства было эмпирическаго происхожденія, то къ нему нельзя-бы было приложить *необходимыхъ* признаковъ, напр., что оно необходимо имѣть три измѣренія: длину, ширину, высоту. Что пространству эти свойства прилагаются необходимо, а потому независимо отъ опыта, это очевидно. Каждый изъ пасъ счель-бы нелѣпостью, если-бы кто-нибудь, на основаніи опыта, захотѣлъ выразиться такъ, что, сколько было замѣчаемо до сихъ поръ, пространство оказывалось съ тремя измѣреніями; но можетъ быть въ неизвѣстныхъ намъ странахъ находятся иѣкоторыя пространства, которыя имѣютъ четыре или пять измѣреній.

г) Наконецъ, не эмпирическое происхожденіе понятія о пространствѣ доказывается и тѣмъ, что выводы и положенія, основанныя на этомъ понятіи, имѣютъ также характеръ всеобщности и необходимости; таковы, напр., всѣ построенія геометрическия, такъ какъ на опытѣ мы не находимъ ничего, что могло-бы дать намъ право на такого рода заключенія, къ какимъ приходимъ въ математикѣ. „Геометрія“, говорить Каютъ, „есть наука, опредѣляющая свойства пространства синтетически и при томъ a priori. Чѣмъ-же должно быть пространство, чтобы изъ него можно было выводить такого рода познанія? По своему происхожденію оно должно быть представленіемъ; ибо изъ простыхъ понятій невозможно выводить никакихъ сужденій, выходящихъ изъ круга данного понятія,

что пессомънно имѣстъ мѣсто въ геометріи. Вмѣстѣ съ этимъ это представлениe должно быть a priori, т. е. быть въ насть прежде всякаго чувственнаго воспріятія предмета, — следовательно, чистымъ сверхъопытнымъ представлениемъ. Геометрическія положенія суть всецѣло аподиктическія, т. е. они сопровождаются сознаніемъ ихъ необходимости. Таково, напр., положеніе: пространство имѣетъ три измѣренія; подобнаго рода сужденіе не можетъ ни произойти изъ опыта, ни быть выведено изъ какого-либо опытнаго положенія<sup>\*)</sup>.

Совершенно тѣмъ-же способомъ можно доказать, что и время, единое и бесконечное не можетъ быть эмпирическаго происхожденія, но должно быть дано a priori въ самой познавательной способности. Чувства даютъ намъ представлениа только о томъ, что наполняетъ время, а не о самомъ времени. Далѣе, признакъ бесконечности, который мы приписываемъ времени, ясно показываетъ, что представлениe о немъ не можетъ быть дано отвѣтъ, потому что бесконечное не составляется предмета какого-бы то ни было чувственнаго опыта. Наконецъ, это видно и изъ того, что всѣмъ предметамъ, пами познаваемымъ, безъ исключенія, мы приписываемъ признакъ времени, говоримъ, что они *должни быть* въ какое-либо время.

Но если представлениа пространства и времени не даются чувственными предметами и не происходятъ изъ опыта непосредственно, то не могутъ-ли они быть общими *понятіями*, производимыми изъ опытныхъ-же представлений, но путемъ отвлечения и обобщенія?

Но они не могутъ быть и такого рода понятіями

а) потому, что признаки, входящіе въ составъ понятій, отвѣкаются отъ дѣйствительныхъ предметовъ и ими даются, но мы видѣли, что опытъ не даетъ намъ представлений о пространствѣ и времени.

б) Если-бы представлениe абсолютнаго пространства было понятіемъ, то оно должно-бы содержать подъ собою представления, съ которыхъ оно снято, и само содержаться въ нихъ, какъ ихъ признакъ. Такъ напр. въ представлениіи четырехугольного, птицы, рыбы, и т. п. какъ ихъ признакъ должно содержаться понятіе „животнаго“, которое составилось посред-

<sup>\*)</sup> Критика Чистаго Разума, пер. Владиславлева, стр. 29, 30.

ствомъ отвлеченія отъ нихъ. Такъ точно и представлениe абсолютнаго (безконечнаго) пространства, если-бы оно было понятіемъ, должно-бы всcцѣло содержаться въ представленияхъ тѣхъ частныхъ пространствъ, какія мы видимъ на опытѣ. Но легко видѣть, что бываетъ совсѣмъ наоборотъ, что пространства, въ которыхъ помѣщаются видимыя нами тѣла, составляютъ части безконечнаго пространства; они въ немъ содержатся, а не оно въ нихъ.

с) Каждое понятіе заключаетъ въ себѣ много признаковъ или много разнородныхъ предметовъ. Но пространство во всѣхъ своихъ частяхъ совершенно однородно и съ собою совершенно сходно; слѣдовательно, части пространства не могутъ быть названы подчиненными общему понятію пространства предметами, съ которыхъ оно могло-быть отвлечено. Всѣ частные пространства не суть различные объекты, съ которыхъ-бы можно снять и отвлечь общія черты, но только совершенно одинаковыя, тожественные части цѣлаго въ безконечность простирающагося пространства, безъ котораго мы не могли-бы составить понятій и о частныхъ пространствахъ.

д) Наконецъ, если бы понятіе абсолютнаго пространства образовалось путемъ отвлеченія отъ эмпирическихъ пространствъ, то представлениe эмпирическаго пространства должно-бы предшествовать представлению пространства абсолютнаго и это послѣднее дѣлать возможнымъ. Но представлениe эмпирическаго пространства возникаетъ въ насъ чрезъ ограниченіе пространства абсолютнаго и слѣдовательно это послѣднее должно предшествовать первому.

Всѣ эти аргументы, которыми доказывается невозможность происхожденія понятія о пространствѣ путемъ логической абстракціи, очевидно, могутъ быть приложены и къ понятію времени.

Такимъ образомъ представлениe пространства и времени не суть и отвлеченные понятія. Поэтому нельзя дать и никакого опредѣленія пространства и времени, такъ какъ только понятія можно опредѣлять. Всѣ мнимыя опредѣленія пространства и времени суть только номинальныя, а не реальныя; они указываютъ только другими словами и объяснительными выраженіями (напр., подлѣ, вѣдь, послѣ, одно близъ другаго или за другимъ и т. п.) на тѣ же основныя представления. Поэтому

Кантъ называетъ пространство и время *воззрѣніями*, такъ какъ они составляютъ необходимый элементъ представлений.

Итакъ пространство и время суть *воззрѣнія*, не зависящія отъ опыта и составляющія субъективное условіе, при которомъ только и возможно чувственное представление. Но такъ какъ въ предметахъ то, чрезъ что вещь бываетъ тѣмъ, чѣмъ она есть, называется *формою*, а то, къ чему прилагается форма—матерію или содержаніемъ, то пространство и время, которыми условливается возможность воззрѣнія, суть *формы чувственного воззрѣнія*. Такъ какъ эти формы не происходятъ изъ опыта, но прикладываются къ данному отъ-внѣ содержанію, какъ первоначальное основаніе возможности всякаго опыта, находящееся въ нашемъ духѣ, то онѣ суть *чистыи* формы воззрѣнія, иначе,—формы *a priori* \*). Далѣе, они суть формы всеобщія и необходимыя, потому что составляютъ необходимую принадлежность *всіхъ* представлений; не только о каждомъ представляемомъ предметѣ мы говоримъ аподиктически: онъ долженъ быть гдѣ-нибудь и когда-нибудь, но и всѣ производныя опредѣленія, выведенныя изъ апріорныхъ воззрѣній пространства и времени, имѣютъ тотъ-же характеръ аподиктическаго: „*должно*“. Таковы всѣ опредѣленія математической.

Что касается до отношенія указанныхъ нами формъ чувственного воззрѣнія къ различнымъ родамъ представлений, то мы замѣчаемъ здѣсь ту особенность, что пространство есть

---

\*) Когда Кантъ говоритъ, что представления пространства и времени не происходятъ отъ предметовъ, но суть апріорные субъективныя формы чувственного воззрѣнія, то это не значитъ, по его мнѣнію, того, что они *прирождены* намъ, лежать какъ готовыя представленія, созываемыя прежде дѣйствія на насъ чувственныхъ предметовъ. Это значитъ только то, что *основаніе* къ такимъ представленіямъ находится въ душѣ независимо отъ предметовъ; но дѣйственно они являются лишь тогда, когда подѣйствуютъ на насъ предметы и произведутъ въ душѣ ощущеніе. Они рождаются въ нашей душѣ вмѣстѣ съ воздействиіями предметовъ, *по поводу ихъ, отъ нихъ*, хотя возможность или условіе къ такому рожденію ихъ заключается въ нашей чувственно-познавательной силѣ, законы дѣятельности которой они составляютъ. Если-бы никакой предметъ на насъ не дѣйствовалъ, то, конечно, мы не могли бы имѣть и понятий о пространствѣ и времени: но какъ это случилось, то наша чувственно-познавательная способность (*Sinnlichkeit*) totчасъ рождастъ воззрѣнія, а съ ними и формы пространства и времени.

форма воспріятія виѣшніхъ предметовъ, а время есть форма воспріятія нашихъ внутреннихъ ощущеній. Очевидно, что представляя какой-бы то, ни было виѣшней предметъ, мы не можемъ представить его иначе, какъ существующимъ въ пространствѣ и съ пространственными чертами протяженія, величины, фигуры и пр. Представленіе времени непосредственно еще не связывается съ представленіемъ чувственного предмета самого по себѣ, хотя мы и можемъ представлять его во времени. Что касается до нашихъ душевныхъ состояній, то ясно также, что мы не можемъ представить ихъ въ пространственныхъ чертахъ, напр., мысль, понятіе, чувство печали и пр.; но представляемъ ихъ въ преемственности времени или послѣдователія въ нашей душѣ. Отсюда въ частности: пространство есть форма чувства виѣшняго, время — форма чувства внутренняго.

Здѣсь рождается вопросъ: почему къ воспріятіямъ виѣшняго чувства мы прилагаемъ не только форму пространства, но и времени, представляемъ, что известная вещь не только занимаетъ мѣсто въ пространствѣ, по также какъ и ощущеніе нашего внутренняго чувства, необходимо существуетъ во времени? Напротивъ, къ воспріятіямъ внутренняго чувства, почему мы не можемъ, наоборотъ, приложить форму пространства, спросить, напр., какъ много занимаетъ мѣста понятіе, чувство любви, гнѣва и пр.?

Причицу этого Кантъ находитъ въ томъ, что когда образуется въ насъ представленіе о какомъ-либо виѣшнемъ предметѣ, то этотъ предметъ посредствомъ органовъ чувствъ, кои тѣлесны, долженъ произвести перемѣну состоянія въ нашемъ внутреннемъ чувствѣ — ощущеніе; ощущеніе же, какъ состояніе психическое, можетъ быть воспринято только внутреннимъ чувствомъ, чтобы составилось такимъ образомъ представленіе о виѣшнемъ предметѣ. При виѣшнемъ воспріятіи находится, слѣдовательно, въ дѣйствіи какъ виѣшнее, такъ и внутреннее чувство; поэтому и представленіе предмета должно содержать въ себѣ оба элемента, то есть, предметъ долженъ представляться намъ существующимъ какъ въ пространствѣ, такъ и во времени. Здѣсь мы воспринимаемъ не только предметъ, чо и ощущеніе, произведенное въ душѣ предметомъ и слѣд. необходимо представляемъ предметы подъ двумя фор-

мами. Напротивъ, при воспріятіи нашихъ внутреннихъ состояній виѣшнее чувство не нужно, а дѣйствуетъ только одно внутреннее; отсюда и данныя имъ представлениа носятъ на себѣ только основанный на внутреннемъ чувствѣ признакъ времени, а не форму пространства, составляющую исключительную принадлежность воззрѣній виѣшнихъ чувствъ.

Вотъ сущность изслѣдований Канта о пространствѣ и времени, составляющихъ содержаніе того отдѣла его Критики чистаго разума, который онъ называетъ Трансцендентальнойю Эстетикою \*). Главныя положенія ихъ таковы.

Чувственное познаніе предполагаетъ дѣйствіе на насъ виѣшняго, дѣйствительного предмета. Это дѣйствіе производить въ нашей душѣ ощущеніе или воззрѣніе.

Въ каждомъ воззрѣніи должно отличать матерію и форму. Матерію составляетъ разнообразное и измѣнчивое содержаніе, доставляемое объектомъ; форма присовокупляется къ нему ощущающимъ и познающимъ субъектомъ. Формы чувственного воззрѣнія не суть произведенія ни непосредственнаго чувственного опыта, ни логическаго отвлеченія отъ данныхъ опыта; они существуютъ въ насъ a priori и составляютъ условіе возможности самаго опыта.

Такія априорныя формы чувственного воззрѣнія суть пространство и время; первое—форма чувства виѣшняго, второе—внутренняго, но прилагаемыя и къ предметамъ виѣшнимъ, потому что впечатлѣнія отъ нихъ должны быть восприняты вмѣстѣ, какъ виѣшнимъ, такъ и внутреннимъ чувствомъ.

Результатъ этихъ положеній, по отношенію къ вопросу о степени реальности пространства и времени, ясенъ. Какъ субъективныя формы нашего чувственного познанія, они не могутъ имѣть никакого реальнаго бытія виѣ познающаго субъекта; виѣ нась пространство и время не существуютъ, точно также какъ не существуютъ и другія чувственныхъ свойства, которыя мы приписываемъ вещамъ, напр., свѣтъ, звукъ,

\*) Эстетикою Кантъ, сообразно съ подлиннымъ значеніемъ слова *αἰσθησις*, называется философ. ученикъ о чувственныхъ ощущеніяхъ или воззрѣніяхъ. Названіе же эстетикою ученія о прекрасномъ введено Баумгартеномъ (1750) и удержалось въ наукѣ, несмотря на справедливую оппозицію Канта. Eucken, Geschichte d. philos. Terminologie. 1879. p. 134, 188.

вкусъ и пр. \*). То, что мы называемъ виѣшними пространственными предметами, есть только представлениe неизвѣстныхъ намъ вещей подъ субъективными формами пространства и времени.

Какъ основанная на строго философскомъ анализѣ нашей чувственно-познавательной способности, эта теорія пространства и времени удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ научнаго познанія и въ этомъ отношеніи имѣеть несомнѣнныя преимущества предъ обычнымъ воззрѣніемъ на нихъ, какъ на чѣмъ реально сущее. Эти преимущества служатъ новымъ, косвеннымъ подтвержденіемъ ея истины.

Прежде всего, что касается до наукъ эмпирическихъ, то по мнѣнію Канта, его теорія пространства и времени даетъ имъ твердую рациональную основу, неоспоримо доказываяaprіорное происхожденіе геометріи, вообще математики, которая сообщаетъ философскій характеръ всему эмпирическому познанію. Потому что положенія математики, какъ проистекающія изъ чистыхъ, aprіорныхъ формъ пространства и времени, соединены съ сознаніемъ ихъ необходимости и непреложности, между тѣмъ какъ никакое эмпирическое познаніе само по себѣ не можетъ имѣть такого характера.

Что касается до философіи, то Кантова теорія пространства и времени имѣеть то преимущество, что она равно далека отъ односторонности какъ эмпіризма, такъ идеализма и составляетъ единственно возможное примиреніе между ними. Вопреки эмпіризму, эта теорія несомнѣнно доказываетъ существование въ нашемъ умѣ не происходящихъ изъ опыта или aprіорныхъ понятій, которые составляютъ самое условіе возможности опытнаго познанія. Вопреки идеализму, понятія пространства и времени, хотя и признаются aprіорными, но появление ихъ въ нашей душѣ поставляется въ связь съ дѣйствиемъ на насъ реальныхъ, виѣ нась существующихъ предметовъ.

---

\*) „Что не смотря на дѣйствительное существование виѣшнихъ вещей“, говорить Кантъ, „о множествѣ ихъ предикатовъ можно сказать: они не принадлежать къ этимъ вещамъ самимъ по себѣ, но только къ ихъ явленіямъ и не имѣютъ виѣ нашего представлениe никакого собственного существования, — эта истина была вообще принимаема и признаваема задолго до Локка, а еще болѣе послѣ него. Сюда относятся: теплота, цветъ, вкусъ и пр. Что я сверхъ

Какъ единственно вѣрная съ философской точки зрењія, теорія Канта по тому самому устраниетъ и множество неразрѣшимыхъ метафизическихъ вопросовъ, которые неизбѣжно возникаютъ съ признаніемъ противоположнаго воззрѣнія на пространство и время, какъ па реальная опредѣленія вещей \*).

Есть люди, говорить Кантъ, которые ищутъ отвѣты на вопросы, не имѣющіе смысла, и есть другіе люди, которые на столько глупы, что съ усиліемъ стараются давать отвѣты на подобные вопросы. Но кто хочетъ отвѣтчать на какой-нибудь вопросъ, тотъ долженъ сперва узнать, имѣеть-ли смыслъ самый вопросъ; иначе выходитъ нѣчто похожее на то, что одинъ станетъ доить козла, а другой держать рѣшето.

Но такого рода вопросы и отвѣты неминуемо вызываются метафизическімъ ученіемъ о реальности пространства и времени. Напримѣръ:

Богъ есть Творецъ міра; итакъ, послѣдній имѣеть начало. Но такъ какъ время безконечно, то естественно возникаетъ вопросъ: почему Онъ не создалъ міра тысячью годами прежде или послѣ, но именно въ то время, въ какое создалъ? Причина тому не можетъ заключаться въ Самомъ Богѣ, потому что Онъ неизмѣненъ и для Него все равно: создать-ли міръ прежде или послѣ; не можетъ и заключаться въ самомъ пустотѣ еще времени, потому что въ немъ всѣ мгновенія оди-

---

этихъ свойствъ по очень важнымъ причинамъ причислилъ также къ разряду чистыхъ явлений и прочія свойства вещей, которыя называютъ первичными,— мѣсто, вообще пространство со всѣмъ тѣмъ, что отъ него зависитъ (непроницаемость или матеріальность, фигура и пр.), то противъ этого нельзя привести никакихъ сколько нибудь достаточныхъ основаній\*. „Какъ я не могу утверждать, что ощущеніе краснаго цвѣта имѣеть сходство съ свойствомъ киновари, которая возбуждается во мнѣ это ощущеніе, также точно я не могу утверждать, что представлениe пространства имѣеть какое-либо сходство съ объективомъ“. Kant's Prolegomena z. e. j. künftigen Metaphysik, ed. Kirchmann. 1876. p. 40, 41). Что время точно также не имѣеть никакого реальнаго значенія виѣ познающаго субъекта, это уже само собою предполагается тѣмъ, что оно есть форма восприятія внутренняго чувства, потому только предлагаемая нами на представлениe о вѣнчніхъ предметахъ, что они суть въ то же время наши внутреннія состоянія, наши представлениe.

\* ) Оѣ указаннѣхъ ниже затрудненіяхъ метафизики и о способѣ устранинія ихъ философіею Канта см. Kiesewetter: Versuch einer fassl. Darstellung d. krit. Philosophie. I Th. p. 59 et sq.

наковы и равны; не можетъ заключаться и въ самомъ мірѣ, такъ какъ онъ еще не существовалъ, да и измѣниться не можетъ, положимъ - ли мы его начало тысячию годами раньше или позже. Такимъ образомъ разсудокъ здѣсь, повидимому, находится въ безвыходномъ затрудненіи. Но на самомъ дѣлѣ здѣсь никакого затрудненія нѣтъ, потому что здѣсь стараются найти отвѣтъ на вопросъ, который не существуетъ и сражаются съ тѣнями, какъ съ исполинами. Время не принадлежитъ вещамъ самимъ по себѣ, но только нашимъ представленіямъ о нихъ, въ какой мѣрѣ онѣ познаются нами. Но когда я спрашиваю о происхожденіи міра, то я говорю не о происхожденіи моего представленія о мірѣ, но о мірѣ самомъ по себѣ; ио въ такомъ случаѣ признакъ времени не можетъ быть къ нему приложенъ и всѣ вопросы о томъ, когда, раньше-ли позже-ли произошелъ міръ, не имѣютъ смысла.

Тоже должно сказать и о другомъ подобномъ вопросѣ: если міръ ограниченъ и имѣетъ предѣлы, то насколько миллионовъ миль онъ простирается въ длину и ширину? Почему занимаетъ онъ въ пространствѣ мѣсто не тысячию милями дальше на востокъ или на западъ, а именно то, которое занимаетъ? Такие вопросы опять не имѣютъ смысла, потому что признакъ пространства не можетъ быть приложенъ къ міру, какъ вещи самой по себѣ. Эти вопросы одинаковы съ такимъ, напр., какой цвѣть имѣетъ звукъ флейты?

Далѣе, когда въ раціональной психологіи предлагаются вопросы о мѣстопребываніи души въ тѣлѣ, то впадаютъ въ такую же ошибку. Мы не можемъ знать души, какъ вещи самой по себѣ, мы воспринимаемъ только явленія ея посредствомъ внутренняго чувства. Но форма воззрѣнія внутренняго чувства есть не пространство, а взглядъ. Поэтому вопросы: гдѣ? въ какомъ мѣстѣ? — предполагающіе пространство, рѣшительно не могутъ имѣть приложенія къ душѣ. Однаково ошибочно, будемъ - ли мы назначать душѣ мѣсто въ мозгу, въ крови, въ сердцѣ, подъ ложечкой, или въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ, такъ какъ самый вопросъ о мѣстопребываніи души не имѣетъ смысла.

Къ такимъ-же затрудненіямъ, какъ въ космологіи и раціональной психологіи, приводить обычное мнѣніе о пространствѣ и времени, какъ о чёмъ-то реальному, и въ естественной тео-

логії. Пространству и времени мы необходимо приписываемъ признакъ безконечности. Но въ такомъ случаѣ, что такое будетъ ихъ безконечность въ отношеніи къ безконечности Божества? Или мы должны признать по одно безконечное, а три, что нелѣпо; или почитать пространство и время свойствами самаго Божества или образомъ его бытія; но въ такомъ случаѣ и всѣ другія временно - пространственныя вещи будутъ частями или видоизмѣненіями Божества: мы впадаемъ въ пантеизмъ.

Изслѣдованія Канта о пространствѣ и времени поистинѣ составляютъ эпоху въ исторіи этихъ понятій въ философіи. Опъ не безъ основанія считаетъ своею заслugoю, что первый изслѣдовалъ ихъ со всею точностю и отдалъ ихъ какъ отъ понятій эмпирическихъ, такъ и отъ категорій разсудка, какъ чистыя формы нашего чувственного воззрѣнія. Его теорія пространства и времени произвела глубокое впечатлѣніе въ философскомъ мірѣ въ свое время и оставила сильное, до сихъ поръ продолжающееся влияніе въ пемъ. Она нашла ревностнаго защитника въ Шопенгауерѣ \*) и ее принимаютъ мн-

---

\*) Кромѣ аргументовъ Канта, въ защиту субъективности пространства Шопенгауеръ представляетъ доказательство, которое кажется ему самымъ очевиднымъ и простымъ. „Мы не можемъ“ говорить онъ „уништожить въ мысляхъ пространства подобно всему другому; мы можемъ только опустошить его. Все можемъ мы выкинуть въ нашей мысли изъ пространства,— можемъ, напр., представить легко, что пространство между неподвижными звѣздами абсолютно пусто и т. п.; только отъ самого пространства мы никакимъ образомъ не можемъ отдалиться... Это несомнѣнно доказываетъ, что оно принадлежитъ самому нашему интеллекту, есть составная часть его самого и притомъ такая, которая даетъ первыя основныя чити для той ткани, на которой потомъ вышивается нами весь пестрый объективный міръ. Ибо пространство представляется намъ тотчасъ, какъ скоро мы хотимъ представить какой-либо объектъ, и сопровождаетъ затѣмъ всѣ движения и повороты моего созерцающаго интеллекта также постоянно, какъ очки, которыя я пошу на носу, всѣ движения и повороты моей особы, или какъ тѣнь сопровождаетъ мое тѣло. Но какъ скоро я замѣчу, что чѣчто находится при мнѣ повсюду и при всѣхъ обстоятельствахъ, то я заключаю, что это чѣчто принадлежитъ мнѣ; такъ напр., если особенный запахъ, отъ которого я могъ-бы уйти, если-бы онъ происходилъ отъ какой либо вещи, не оставлять однакоже меня, куда-бы я ни пошелъ, то я заключаю, что этотъ запахъ принадлежитъ мнѣ. Не иначе и съ пространствомъ; что-бы я ни думалъ, какой-бы міръ ни представляль себѣ, пространство является тотчасъ-же и

гіс современые философы, даже не принадлежащіе къ числу строгихъ послѣдователей Кантовой философіи. Съ нею при-нуждены считаться и до сихъ поръ не могутъ похвалиться рѣшительною побѣдою надъ нею философы, въ принципѣ не-согласные съ нею.

Кантова теорія пространства и времени, очевидно, нахо-дится въ тѣсной связи съ общимъ его воззрѣніемъ на сущность человѣческаго познанія. Мы не можемъ знать вещей самихъ по себѣ, а знаемъ только явленія, соотвѣтственно субъектив-нымъ законамъ и формамъ нашего познающаго духа, нала-гаемымъ на впечатлѣнія, производимыя въ насть неизвѣстнымъ намъ виѣшнимъ объектомъ. Къ числу этихъ субъективныхъ формъ, паравнѣ съ категоріями и идеями, принадлежать про-странство и время, какъ формы чувственнаго воззрѣнія. Но какъ скоро измѣнился взглядъ па значеніе пашго познанія, какъ скоро вмѣсто субъективнаго идеализма выступилъ па сцену философіи идеализмъ объективный или абсолютный въ системахъ Фихте, Шеллинга, Гегеля, — очевидно, должно было измѣниться и воззрѣніе на пространство и время. Вмѣсто субъ-ективныхъ формъ нашего познанія они должны были стать объективными формами самаго бытія, а такъ какъ истинное бытіе, по теоріи объективнаго идеализма, одно—абсолютное, то—формами или моментами самаго абсолютнаго. Таково именно значеніе этихъ понятій въ системѣ Гегеля. Пространство и время опѣ разсматриваются во второй ся части, — натурфило-софіи, которая разсуждаетъ обѣ абсолютной идеѣ въ формѣ ся иnobытія, явленія во виѣ самой себя, — въ формѣ природы.

---

я не могу уйтти отъ него". Вообще мысль обѣ объективномъ существованіи пространства Шопенгауеръ называетъ неѣпѣйшею (*absurdeste*) изъ мыслей головнаго мозга; не голова моя находится въ пространствѣ, но, напротивъ, пространство только въ моей головѣ. Что касается до времени, то идеальность его Шопенгауеръ доказываетъ преимущественно принадлежащимъ ме-ханикѣ закономъ косности. Этотъ законъ выражаетъ именію то, что время само по себѣ не можетъ произвести никакого физического дѣйствія, никакой иремѣніи въ покое и движениіи предметовъ; оно не есть какое-либо свойство или принадлежность вещей, иначе его количество, его продолжительность или краткость должны-бы производить какія-либо измѣненія въ предметахъ, но эти измѣненія производятся другими вещами, а не временемъ самимъ по себѣ. Время течетъ надъ вещами и помимо ихъ; оно не оставляеть на нихъ никакого слѣда. *Parerga et Paralipomena*. 1844. В. 11. § 29 30.

Такъ какъ истинное бытіе есть общее и большею или меньшою степенью общности или приближенія къ абсолютной идеи опредѣляется степень дѣйствительности бытія, то и въ природѣ наибольшую степень истины и дѣйствительности должно имѣть то, что наиболѣе носить на себѣ признаковъ общности.

Но самое всеобщее опредѣленіе идеи въ формѣ инобытия есть бытіе одно вънѣ другаго (*Aussereinanderseyn*). Мы при этомъ отвлекаемъ отъ всѣхъ единичныхъ существъ и предметовъ, ихъ частныхъ свойствъ и дѣятельностей и мыслить лишь одно, самое всеобщее, къ особенностямъ индифферентное, неопредѣленное бытіе одно вънѣ другаго.

Такое неопределенное, ко всѣмъ различиямъ равнодушно относящееся бытіе есть *пространство*; оно есть идеальное бытіе вещей одна вънѣ другой; различія этого вънѣ-бытія суть: пунктъ, линія, поверхность. Но, въ силу діалектическаго процесса, это бытіе должно носить въ себѣ самомъ и свое отрицаніе; такое отрицательное отношеніе къ бытію одно вънѣ другаго и подлѣ другаго, отрицательное единство этого бытія, которое не есть въ тоже время какъ оно есть и наоборотъ, созерцаемое измѣненіе или бываніе (*Werden*) есть *время*. Итакъ, пространство и время суть самыя всеобщія основныя формы природы или моменты идеи въ формѣ ея ипо-бытія. Но такъ какъ степенью общности опредѣляется и степень реальности бытія, то, очевидно, что пространство и время сами по себѣ суть самое реальное изъ всего, что только мы знаемъ въ природѣ. Не падающій, напр., по замѣчанію Гегеля, съ крыши кирпичъ убиваєтъ на смерть человѣка, но собственно пространство и время; кирпичъ производить это дѣйствіе не самъ по себѣ (положите кирпичъ на голову, онъ не убьетъ васъ); но именно разстояніемъ, которое отдѣляетъ его отъ человѣка (т. е. пространствомъ) и скоростью своего движенія или паденія (т. е. временемъ) \*).

\*<sup>1</sup>) Encycl. 2 Aufl. 1827. 236. Что касается до другаго корифея идеалистической философіи,—Шеллинга, то, по справедливому замѣчанію Фихте младшаго, чрезвычайно трудно составить сколько-нибудь определенное понятіе о возврѣніи этого философа на пространство и время. То онъ, повидимому, совершенно отрицааетъ реальное значеніе этихъ понятій. Время, по его словамъ, есть призрачный образъ (*Scheinbild*) вѣчности и неизмѣнности,—образъ, который возникаетъ только въ единичномъ (*vereinzellen*) и связаннымъ пу-

Съ паденіемъ идеалистической философіи въ новѣйшее время, конечно, не могли удержаться и тѣ основанія, которыя могли быть приводимы въ защиту объективнаго значенія понятій о пространствѣ и времени и которыя могли имѣть значеніе только съ точки зрѣнія этой философіи. Между тѣмъ необходимость отстоять реальное значение этихъ понятій выказывалась тѣмъ настойчивѣе, чѣмъ сильнѣе на смѣну идеализма выступало эмпирическое направленіе мысли; потому что, понятно, съ уничтоженіемъ объективнаго значенія пространства и времени, падало и реальное значеніе всѣхъ тѣхъ изслѣдований явлений и законовъ природы, которыя были основаны на предположеніе реальной значимости этихъ понятій и которыя составляли существенное содержаніе эмпирической науки. Путь, которымъ, большинство современныхъ философовъ идетъ къ достижению этой цѣли, есть путь психологического, отчасти физиологического изслѣдованія происхождения нашихъ представлений о пространственныхъ и временныхъ опредѣленіяхъ вещей. Но, не смотря на все значеніе подобнаго рода изслѣдований, нельзя сказать, чтобы современная философія достигла здѣсь какого-либо окончательного решенія вопроса въ пользу реальности рассматриваемыхъ нами

---

тами различныхъ отношеній мышленіи, и который тотчасъ исчезаетъ, т. е. признается неистиннымъ, какъ скоро, возвысившись на точку зрѣнія разума, наша мысль все созерцаеть въ цѣлости и внутреннемъ единстве. Точно также и пространство не есть что либо дѣйствительное, оно есть форма безъ содержательности, *Form Substanzlosigkeit*. Пространство и время отрицаютъ взаимно другъ друга, такъ что нигдѣ и ни въ чемъ они сами по себѣ не дѣйствительны; напротивъ, дѣйствительность выступаетъ только во взаимно-стороннемъ индифференцированіи или отрицаніи обоихъ. Но въ тоже время, не смотря на это, ясное, повидимому, отрицаніе реальности пространства и времени, у Шеллинга встрѣчаются выраженія, напоминающія Гегеля и говорящія въ пользу ихъ объективнаго значенія. Такъ у него субстанція полагаетъ протяженіе, какъ непосредственное слѣдствіе своего собственнаго реализованія и явленія своей силы, своей вѣчности; абсолютное проходить различные, послѣдовательные (слѣдовательно, временемъ опредѣляемые) моменты развитія и пр. Едва-ли можно найти ключъ къ примиренію этихъ противорѣчій въ такихъ, напр., неудобопонятныхъ положеніяхъ, что „субстанція есть протяженное, но сама не протяжена... что Богъ, какъ говорить Спиноза, есть *res extensa*, но въ тоже время *Deus* не есть *extensus*, какъ до нашего времени понимаютъ его ученые и неученая толпа“... и т. п. О Шеллингѣ см. Fichte: *Antropologie*. 1856. p 105 – 107.

понятій и чтобы возраженія Канта противъ объективнаго значенія эмпирическаго происхожденія ихъ были окончательно устраниены. „Извѣстно всему миру,” говоритъ одинъ современный философъ \*), „какой жесткій орѣшекъ предложилъ разгрызть записнымъ метафизикамъ Кантъ своею теоріе пространства и времени; девяносто лѣтъ уже грызутъ его и все не покончили съ нимъ. На нѣкоторое время орѣшекъ какъ будто исчезъ: Шеллинго-Гегелевская философія, съ ея здоровымъ желудкомъ,—абсолютнымъ, проглотила его; но переварить не смогла. Полузабытый споръ возобновился съ Шопенгауеромъ и съ тѣхъ поръ идетъ изъ году въ годъ съ переменными счастьемъ для той и другой партіи, подавая обильный поводъ къ различнымъ полемическимъ словопрѣніямъ безъ окончательного результата.“

Изъ представленнаго нами историческаго очерка мнѣній о пространствѣ и времени различныхъ философовъ видно, что, не смотря на частное различіе, ихъ вообще можно подвести подъ два основные типа, которые мы назовемъ объективною и субъективною теоріями этихъ понятій. По мнѣнию однихъ, пространство и время есть нѣчто имѣющее объективную реальность, существующее не только въ наст., но и внѣ наст., состоитъ-ли эта реальность въ томъ, что они суть объекты, свойства объектовъ или отноленія ихъ. По мнѣнию другихъ, эти представлія суть субъективныя произведенія нашего познающаго я и внѣ наст. имъ не соотвѣтствуетъ ничего реального. Остановимъ наше вниманіе на той и другой теоріи и прежде всего на субъективной.

1. Мы не станемъ здѣсь долго останавливаться на тѣхъ слабыхъ начаткахъ субъективной теоріи пространства и времени, которые принадлежатъ предшественникамъ Канта, искашившимъ источника или одного изъ этихъ понятій или обоихъ вмѣстѣ въ воображеніи и считавшимъ абсолютное пространство или время пустыми фантазмами (таковы напр. мнѣнія Епікура, Спинозы, Гоббса и др.). По многимъ существеннымъ признакамъ, пространство и время суть понятія до такой степени взаимно связанныя въ нашемъ представліеніи и мышленіи, что никакъ нельзѧ отрицать реальности одного изъ

---

\* ) Liebmamn, Zur Analysis der Wirklichkeit. 1876. 45.

нихъ, утверждая истину другаго, говорить, напр., что пространство реально существуетъ, а время нѣтъ, или наоборотъ. Говоря о времени, мы неизбѣжно представляемъ объектъ существующій во времени или мыслящій о времени; а если этотъ объектъ есть вѣшній, то также неизбѣжно представляемъ его какъ протяженный (пространственный) предметъ. Точно также, говоря о протяженномъ предметѣ, мы необходимо предполагаемъ, что онъ существуетъ не только гдѣ-либо, но и въ какое-либо время, не говоря о движениіи и измѣненіи, которое не можетъ быть мыслимо безъ времени. Не менѣе существенна связь такъ называемаго абсолютнаго или чистаго пространства и времени съ эмпирическимъ, то есть, съ опредѣленными мѣстами и временами, въ которыхъ являются тѣ или другія конкретныя вещи; поэтому нельзя ихъ раздѣлять, утверждая, напр., съ Гоббсомъ, что время и пространство той или другой вещи существуютъ, а пространство и время само по себѣ,—пустой вымыселъ воображенія. Поэтому что, если существуетъ пространство и время той или другой вещи, то, очевидно, должно существовать и пространство и время, принадлежащее всѣмъ вещамъ безъ исключенія, міровое или абсолютное; частнаго пространства и времена необходимо мыслятся нами, какъ вырѣзки или части этого абсолютнаго пространства и времени. Но и независимо отъ этого, понятіе абсолютнаго пространства и времени носитъ на себѣ такие признаки, которые не позволяютъ имъ быть простыми созданіями фантазіи. Если-бы они были ими, то они не могли-бы господствовать въ нась съ такою необходимостью и всеобщностью, что никто не въ состояніи истребить эти представленія въ своемъ сознаніи. Не только отдѣльныя вещи, по и весь міръ, и не только весь міръ, но и всѣ воображаемые нами предметы мы необходимо полагаемъ въ какомъ-либо пространствѣ, въ какое-либо время. Если-бы мы даже мысленно уничтожили все реально сущее, то и тогда осталось-бы въ нашемъ умѣ представлѣніе о пространствѣ и времени, какъ о вмѣстилищѣ возможнаго бытія. Такого значенія не могутъ имѣть никакія созданія воображенія. Точно также, если-бы они были такими созданіями, то не представлялись-бы принудительно всѣмъ людямъ безъ исключенія, но составляли-бы случайную принадлежность того или другаго лица, какъ и всѣ другія созданія воображенія.

Итакъ, во всякомъ случаѣ, если-бы даже пространство и время не имѣли реальнаго значенія виѣ нась, источника ихъ мы никакъ не могли-бы искать въ той силѣ нашего духа, которую мы называемъ воображеніемъ. Они должны составлять не случайное явленіе въ насъ, но существенную принадлежность самой природы нашего познающаго духа. Къ этому заключенію, какъ мы знаемъ, и пришелъ Кантъ, признавшій ихъ необходимыми формами нашего чувственного познанія.

Съ вѣрностю той мысли, что пространство и время составляютъ необходимыя формы познанія, не согласиться нельзя; въ пользу ея говорить тотъ простой и очевидный фактъ, что мы ничего не можемъ ни представить, ни мыслить (следовательно познавать) безъ этихъ формъ. Но вопросъ въ томъ, вытекаетъ-ли отсюда дальнѣйшее заключеніе, что, будучи формами нашего познанія, они eo ipso не имѣютъ никакого реальнаго значенія виѣ нашего познающаго субъекта?

Какъ извѣстно, главнымъ основаніемъ въ пользу субъективнаго только значенія пространства и времени для Канта служитъ неэмпирическое происхожденіе этихъ понятій. Мы приписываемъ имъ такіе признаки, которые не могутъ быть даны ни опытомъ, ни абстракціею отъ данныхъ опыта, напр., бесконечною протяженіе, бесконечная дѣлимость пространства; мы приписываемъ эти признаки необходимо всѣмъ вещамъ безъ исключенія, но опытъ не можетъ дать намъ понятія ни о чѣмъ необходимомъ и всеобщемъ. Если-же эти понятія не происходятъ изъ опыта, а только опытъ можетъ свидѣтельствовать о реальномъ существованіи чего-либо виѣ нась, то имъ не можетъ принадлежать какой-либо реальности виѣ нашего духа.

Такое заключеніе па первый взглядъ представляется правильнымъ. Поэтому, большая часть философовъ, защищающихъ, вопреки Канту, реальность пространства и времени, стараются поколебать силу и твердость тѣхъ общихъ посылокъ, изъ которыхъ выводится у него это заключеніе. Именно, они настаиваютъ на той мысли, что эти понятія, если и не безусловно эмпирическаго происхожденія, какъ учить сенсуализмъ, то во всякомъ случаѣ обязаны своимъ происхожденiemъ столько-же опыту, сколько и нашему духу, следовательно и обозначать собою могутъ столько-же существующее

впѣ пасъ, какъ и въ пасъ. Пространство и время, говорять, возникаютъ въ нашей душѣ не прежде представляемыхъ всѣй, какъ самостоятельныя и предшествующія имъ формы, но вмѣстѣ съ самыми вещами и по поводу ихъ дѣйствія на насъ; это доказывается, что они принадлежать не только познающему субъекту, но и познаваемому объекту; ибо что могло-бы быть поводомъ къ возникновенію въ нашемъ духѣ понятій о пространствѣ и времени, какъ не пространство и время, существующее въ самыхъ вещахъ? Далѣе, необходимость и всеобщность вовсе не суть такие признаки, которые бы рѣшительно говорили о неэмпирическомъ,aprіорномъ происхожденіи тѣхъ понятій, которая носятъ ихъ на себѣ, въ томъ числѣ и понятій пространства и времені. Такъ мы видимъ, что многія понятія завѣдомо полученыя путемъ опыта и индукціи, напр., понятія о законахъ природы, имѣютъ необходиомое и всеобщее значеніе. Положеніе: всѣ люди смертны, есть рѣшительно эмпирическое положеніе; между тѣмъ оно есть всеобщес и необходимое. Эмпирическая философія идетъ еще дальше; она утверждаетъ, что самыя понятія необходимости, всеобщности, безпредѣльности (признаки пространства и времені) вовсе не имѣютъ того абсолютаго и слѣдовательно независимаго отъ опыта значенія, какое приписывается имъ, вмѣстѣ съ Кантомъ, рациональная философія. На самомъ дѣлѣ, необходимымъ, всеобщимъ мы называемъ только постоянно и въ большей части предметовъ замѣчаемое на опыте; безконечнымъ то, чего конца или предѣла мы не достигаемъ нашимъ наблюдениемъ, напр., конца вселенной. Но подобнаго рода понятія могутъ быть образованы и при помощи индукціи. Если-же теперь краеугольные камни, на которыхъ держится теорія Канта,—апріорность понятій необходимаго, всеобщаго, безконечнаго, разрушаются, то вмѣстѣ съ тѣмъ падаетъ и все его ученис о пространствѣ и времені, какъ о понятіяхъ не эмпирическихъ, субъективныхъ.

Но такого рода критику Кантовой теоріи мы не можемъ признать удачною. На чѣлѣ которыхъ положенія ся мы находимъ забытый ею отвѣтъ въ самомъ ученис Канта. Такъ напр., какъ мы видѣли, Кантъ вовсе не говоритъ того, что-бы представленія пространства и временіи вовсе не зависѣли отъ опыта, лежали въ нашемъ духѣ, какъ готовыя врожденныя формы

или идей. Они возникаютъ вмѣстѣ съ опытомъ, по поводу опыта, хотя и не изъ опыта; если-бы не существовало впѣ насть вещей и онѣ не дѣйствовали на насъ, то въ насть не возникло-бы и представлений о пространствѣ и времени. Правда, дѣйствіе виѣшнихъ предметовъ служить мотивомъ для возбужденія въ насть этихъ представлений: по мотиву можетъ быть вовсе не тождественъ съ возбуждаемымъ имъ дѣйствіемъ; такъ напр. ощущеніе свѣта и колебательное движеніе эфира, его производящее, существенно различны; по этому изъ того, что по поводу дѣйствія виѣшнихъ объектовъ въ насть возникаетъ представленіе пространства, вовсе не слѣдуетъ, чтобы и виѣши-ніе предметы сами по себѣ были пространственны.—Замѣчаніе, что и путемъ опыта мы можемъ получать всеобщія и необходи-мые понятія (напр. о законѣ тяготѣнія, о смертности людей), нисколько не говоритъ, чтобы такимъ-же образомъ мы получали и понятія о пространствѣ и времени,— и доказа-тельства, приведенные Кантомъ въ защитуaprіорнаго про-исхожденія этихъ понятій, этимъ замѣчаніемъ нисколько не устрашаются. При томъ же забываютъ, что и въ подобного рода положеніяхъ, утвержденіе ихъ всеобщности и необходи-мости принадлежитъ не опыту, а разуму, слѣд., предпола-гается нѣкоторое aprіорное начало или идея. На основаніи одного опыта мы могли-бы сказать только, что, сколько до-ступны нашему наблюденію небесныя тѣла, законъ тяготѣнія имѣеть къ нимъ приложеніе; что, сколько мы ни знаемъ лю-дей па опыте, они смертны; но чтобы сказать безусловно: вся вселенная подчинена закону тяготѣнія, всѣ люди не только тѣ, которые памъ извѣстны, но и будущіе, смертны,—нужна нѣкоторая aprіорная идея, принадлежащая разуму,—идея за-коносообразности, постоянства и неизмѣнности міровыхъ зако-повъ.—Что же касается до отрицанія самаго существованія въ нашемъ разумѣ понятій обѣ абсолютнo необходимомъ, все-общемъ, бесконечномъ, которая въ сущности будто-бы со-ставляютъ только неточныя словесныя обозначенія *болѣе* по-стоиншаго, *чще* встрѣчающагося, не имѣющаго видимой гра-ницы,—то это сенсуалистическое ученіе идетъ рѣшительно вопреки нашему сознанію и нашему разуму и въ результа-тѣ ведетъ къ разрушенню достовѣрности всякаго раціональнаго

познанія, отрицая возможность всеобщихъ и необходимо обязательныхъ истинъ \*).

Итакъ, не въ слабости основныхъ положеній или посылокъ мы должны искать слабой стороны Кантовой теоріи пространства и времени, но въ выводѣ заключенія изъ этихъ посылокъ. Что пространство и время суть понятія необходимыя и не всеобщія, и что въ какой мѣрѣ они носятъ на себѣ эти признаки, они не могутъ происходить изъ опыта, противъ этого едва-ли могутъ быть сдѣланы серьезныя возраженія. Но противъ правильности дальнѣйшаго заключенія, что, какъ не происходящія изъ опыта, они не могутъ имѣть и никакого реальнаго значенія въ предметахъ опыта, будучи принадлежностью одной только нашей познавательной способности,—мы имѣемъ право сказать, что оно не вытекаетъ необходимо изъ посылокъ, положенныхъ самимъ Кантомъ и потому не можетъ быть признано состоятельнымъ.

Въ самомъ дѣлѣ, главною ошибкою Канта мы здѣсь считаемъ то, что въ происхожденіи нашихъ понятій онъ искалъ рѣшенія вопроса объ ихъ реальности или нереальности; то, что происходитъ отъ субъекта, составляеть форму его познанія, не можетъ имѣть реальнаго значенія впѣ нашого познающаго духа. Но на чмъ основано это предположеніе? Очень можетъ быть, и эта возможность ни чѣмъ не устранина у Канта, что формамъ познанія въ нашемъ духѣ соответствуютъ формы дѣйствительного, познаваемаго бытія. И если пространство и время дѣйствительно составляютъ такія формы, то это еще не служить препятствиемъ быть имъ объективными и впѣ нашей познавательной силы. Когда Кантъ, какъ слѣдствіе своего анализа, выводить ту мысль, что пространство и время суть только субъективныя формы, то это прибавленіе: *только*, ни на чмъ не основано и ни мало не слѣдуетъ изъ его посылокъ. Невѣрность заключенія здѣсь происходитъ отъ того, что Кантъ понятію: субъективный въ знаніи, несправедливо противополагаетъ понятіе: реальный въ бытіи, и потому субъективное происхожденіе какого-либо понятія счита-

---

\* ) Болѣе подробное раскрытие происхожденія и значенія понятій: всеобщности, необходимости, бесконечности, должно дать метафизическое учение объ априорныхъ понятіяхъ разсудка или категоріяхъ.

етъ несомнѣннымъ признакомъ его нереальности. Разъ на всегда раздѣливши субъективное и объективное непроходимою преградою, онъ относитъ предметы то къ одному, то къ другому разряду, не предполагая и возможности, чтобы субъективное по происхожденію могло имѣть отношеніе къ реальному бытю или, какъ онъ выражается, къ вещи самой по себѣ.

Но на чёмъ собственно основывается эта невозможность? Кантъ указываетъ на признаки всеобщности, необходимости, безконечности, какъ на такие, которые не могутъ принадлежать эмпирическимъ предметамъ и которые прецедентствуютъ представлениямъ пространства и времени, носящимъ па себѣ эти признаки, быть чѣмъ-либо реальнымъ впѣ пашего ума. Положимъ, эти признаки не могутъ быть даны опытомъ; па опытъ мы не можемъ усмотреть ничего безусловно всеобщаго, необходимаго, безконечнаго; они даются нашимъ умомъ. Но это ближайшими образомъ говорить только о происхожденіи нашихъ понятій обѣ этихъ признакахъ, но не решаетъ еще вопроса о томъ, могутъ или неѣтъ принадлежать они самой дѣйствительности, виѣ насы находящейся. Это доказывается только, съ одной стороны, ограниченность пашего индивидуального опыта, недозволяющаго существу, ограниченному въ свомъ бытіи данными предѣлами времени, всеобъемлющаго восприятія всего сущаго, съ другой,—существованіе въ нашемъ духѣ не эмпирическаго, априорного знанія, но не доказывается, чтобы утверждаемое этимъ знаніемъ не соответствовало подлинному бытю вещей. Очень можетъ быть, что указаннымъ выше признакамъ, усматриваемымъ не опытомъ, а разумомъ, соответствуетъ что-либо реальное и виѣ пашего разума. Прежде всего въ пользу этого предположенія говорить уже то, что опытъ, хотя и не даетъ восприятія этихъ признаковъ пространства и времени, но въ то-же время не представляеть и препятствій къ признанію ихъ реальными; напр., опытъ не показываетъ намъ никогда предѣловъ пространства или времени, точно также какъ границъ мыслимой нами безконечной дѣлимости вещества, принимаемой па основаніи безконечной дѣлимости пространства. Далѣе, только съ признаніемъ реального значенія этихъ признаковъ удобно

выясняется самое существование ихъ въ нашемъ умѣ, тогда какъ при чисто субъективномъ значеніи они составляютъ непонятное и загадочное явленіе въ организаціи нашей познавательной способности. Вполнѣ мыслимо, что пространство и время потому и являются въ нашемъ духѣ съ предикатами необходимости и всесообщности, что они и на самомъ дѣлѣ суть всеобщія и необходимыя определенія бытія. Но совершенно непонятно, для чего, для какой субъективной цѣли въ насъ, существахъ конечныхъ, существуютъ познавательныя формы съ признаками, которымъ ничего не соотвѣтствуетъ въ дѣйствительности.

Итакъ, самая теорія субъективаго происхожденія понятій пространства и времени не только не устраниетъ предположенія объ ихъ объективномъ значеніи, но дѣлаетъ даже такое предположеніе вѣроятнымъ, какъ объясняющее не объяснимые иначе признаки, съ какими они являются въ нашемъ сознаніи. Но это вѣроятное предположеніе становится несомнѣннымъ, какъ скоро мы обратимъ вниманіе на ту принудительность, съ какою являются нашему сознанію пространственная и временная опредѣленія вещей и которая была-бы необъяснима, если-бы эти опредѣленія не давались намъ отвѣтъ, какъ реальный опредѣленія бытія, возникали-бы изъ свойствъ самого познающаго субъекта.

Прежде всего, эта принудительность выражается въ томъ общемъ фактѣ нашего сознанія, въ той непосредственной и неискоренимой увѣренности, что не только наши представленія, но и самые предметы въ настѣ дѣйствительно существуютъ въ пространствѣ и времени. Конечно, могутъ сказать, что философія не обязана считаться съ непосредственною увѣренностью, какъ-бы всеобща и сильна она ни была. Относительно пространства и времени можно сказать тоже, что Кантъ говорилъ вообще о всей своей философіи, перенесшей центр тяжести знанія изъ объекта въ субъектъ: непосредственное чувство говоритъ намъ о неподвижности земли и обращеніи около нея солнца и планетъ; но это нисколько не препятствуетъ быть истиннымъ совершенно противоположному воззрѣнію. Положимъ; однакоже здѣсь есть существенное и упущенное изъ виду Кантомъ различіе. Дѣло въ томъ, что и противоположное общему сознанію воззрѣніе, утверждающее

движение земли и неподвижность солнца и звездъ, есть вполнѣ мыслимое и представимое. Какъ скоро наука доказала его вѣрность, мы легко мыслимъ и представляемъ себѣ обращеніе земли и планетъ около солнца, точно также какъ легко, напр., допускаемъ, что величина звѣздъ гораздо больше кажущейся, что сводъ неба не есть твердая, куполообразная покрышка земли, что подъ нами живутъ антиподы и т. под. Но можемъ ли мы точно также легко и удобно представить, что вещи на самомъ дѣлѣ не имѣютъ протяженія, что не голова наша, какъ выражается Шопенгауеръ, находится въ пространствѣ, а пространство въ нашей головѣ? Или что смына годовыхъ временъ, — весны, лѣта, осени, зимы есть только смына моихъ представлений, а не реальные периоды въ жизни самой природы? Очевидно, нѣтъ. Мысль о субъективномъ только значеніи пространства и времени всегда будетъ оставаться только абстрактною мыслю, не существимою въ представленіи. Далѣе, когда наука указываетъ на несоответствие нѣкоторыхъ нашихъ эмпирическихъ представлений действительному бытию вещей, то она вмѣстѣ съ тѣмъ и объясняетъ, какъ и почему возникаютъ въ насъ эти несоответствующія истинѣ представлениія. Не ограничиваясь, напр., доказательствомъ истины системы Коперника, она, при помощи физики и физиологии, объяснила намъ и то, почему именно по оптическимъ законамъ нашего зрѣнія солнце должно казаться намъ движущимся, а земля неподвижною. Но сдѣлали ли относительно представленій пространства и времени что-либо подобное Кантомъ? Причина, почему всѣ люди считаютъ реальными время и пространство, нигдѣ имъ не выяснена, да и сколько-нибудь правдоподобно объяснена быть не можетъ, что и свидѣтельствуетъ о несостоятельности его теоріи.

Еще менѣе, чѣмъ общее убѣжденіе въ реальности пространства и времени, можетъ быть объяснено съ точки зрѣнія Канта различие частныхъ временно-пространственныхъ опредѣленій, какія мы приписываемъ тѣмъ или другимъ вещамъ. Представленія объ этихъ свойствахъ даются нашему сознанію съ такою принудительностью и такого независимостию отъ какихъ-либо субъективныхъ условій нашего познанія, которыя невольно заставляютъ предполагать, что основанія для этого заключаются не въ насъ, а въ существованіи въ самихъ вещахъ.

пространственныхъ и временныхъ отличій. Если-бы пространство и время были чистымъ порожденіемъ нашей познающей силы, субъективными только формами чувственного восприятія, то величина, фигура, продолжаемость вещей не были-бы въ ощущеніи воспринимаемы столь-же пассивно, какъ напр.: цветъ, запахъ, вкусъ предмета, но въ опредѣлениі этихъ временно-пространственныхъ свойствъ и отличій вещей такъ или иначе высказывалось-бы активное участіе нашего познающаго духа. Но на дѣлѣ ничего подобнаго не замѣчается. Того и другаго рода свойства и отличія одинаково воспринимаются сознаніемъ, какъ даннаго отвѣтъ, какъ свойства самыхъ вещей. Представляется-ли намъ что-либо круглымъ, не въ нашей власти представить его четырехугольнымъ. Какъ-бы кто ни желалъ сократить данное разстояніе или раздѣлить то, что дано какъ смежное, этого не произойдетъ въ нашемъ представлениі въ силу только нашего желанія или мышленія; на-противъ, мы всегда вынуждены признавать даннаго пространственная формы. Тоже должно сказать и относительно формъ времени; и опѣ не суть продуктъ нашего представлениія, но также принудительно навязываются памъ самыми вещами, какъ и формы пространства. Временное теченіе данного происшествія или явленія нельзя опредѣлить или измѣнить по произволу; произвольно измѣненное въ мысли опредѣлениѳ времени будетъ уже вымыщенное, воображаемое время, а не истиннос. Извѣстно, какъ важно въ историческихъ или описательныхъ наукахъ самое точное опредѣлениѳ времени, какъ оно дѣйствительно было, независимо отъ нашего желанія или воображенія; требование такой точности было-бы не нужно, если-бы теченіе времени (счислениe, — по Аристотелю) зависѣло только отъ одного познающаго субъекта. Такимъ образомъ принудительность для пасъ такого или иного опредѣлениа временно-пространственныхъ отличій вещей и пассивность при этомъ нашей познающей силы вполнѣ оправдываетъ непосредственную увѣренность нашего сознанія въ реальности рассматриваемыхъ нами понятій.

Что конкретная временно-пространственная опредѣлениа вещей не составляютъ результата примѣненія къ нимъ апріорныхъ понятій пространства и времени по какимъ либо (неизвѣстнымъ намъ) чисто субъективнымъ законамъ нашей по-

знатательной силы, но выражаютъ реальные свойства самыхъ вещей, это доказывается, также, какъ совпаденiemъ различныхъ чувственныхъ впечатлений, имѣющихъ отношеніе къ этимъ свойствамъ, такъ и согласиемъ независимой отъ настъ дѣйствительности съ априорнымъ, чисто рациональнымъ познаніемъ временно-пространственныхъ ея свойствъ и отношеній. Такъ напр., о протяженіи и формѣ предметовъ мы получаемъ свѣдѣнія при помощи различныхъ чувствъ,—зрѣнія и осознанія. Посредствомъ этихъ чувствъ, дѣйствующихъ по совершеню различнымъ физиологическимъ законамъ, мы воспринимаемъ совершенно различные свойства тѣлъ; но, несмотря на это, пространственные сужденія, составленные на основаніи показаній того и другаго чувства, оказываются согласными и взаимно другъ друга подтверждающими. Шаръ напр., который мы видимъ, и при осознаніи кажется намъ шаромъ, а не кубомъ или другой какой формы тѣломъ. Если-бы сами предметы не были пространственны, то было бы въ высшей степени удивительно, что они разными путями производятъ въ нашей души столь согласные пространственные образы; но это явленіе становится понятнымъ, какъ скоро признаемъ пространство реальною формою вицѣнаго бытія.

Точно также необъяснима, съ точки зрѣнія Канта, и специальная связь пространственныхъ воззрѣній съ извѣстными только чувствами. По его мнѣнію, пространство есть форма воспріятія вицѣнныхъ впечатлений, время,—внутреннихъ состояній. Но въ такомъ случаѣ мы необходимо должны-бы прилагать форму пространства къ воззрѣніямъ каждого вицѣнаго чувства, а форму времени ко всѣмъ воззрѣніямъ внутренняго чувства, какъ необходимое субъективное условіе самой возможности ихъ воспріятія. Кантъ, какъ мы знаемъ, и утверждаетъ это рѣшительно. Но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Если мы внимательнѣе изслѣдуемъ и сравнимъ наши чувственныя воспріятія, то окажется, что пространственное протяженіе мы собственно приписываемъ только воспріятіямъ двухъ чувствъ: зрѣнія и осознанія. Ощущенія прочихъ чувствъ непосредственно и сами по себѣ не содержатъ никакого указанія на пространственность. Какъ извѣстно, пространство существенно опредѣляется тремя измѣреніями, кои суть: длина, широта, высота. Но имѣютъ-ли въ нашемъ ощущеніи эти

признаки пространства впечатлений чувства слуха? Сравнимъ, напр., впечатлений звуковъ флейты и скрипки въ ихъ полной индивидуальности, какъ они даны въ непосредственномъ ощущеніи. Который изъ нихъ пространственно, а не въ переносномъ смыслѣ, выше и ниже, вверху и внизу? Или: какъ они высоки, длинны, плотны сами по себѣ? Который изъ нихъ лежитъ нальво, который направо, который впереди, который позади по мѣсту? Точно тоже можно сказать и объ опущеніяхъ вкуса и запаха. Запахъ розы выше или ниже, шире или уже запаха фіалки и т. п.?

Правда, звуковыя ощущенія мы привыкли соединять съ представлениемъ пространства, напр., звукъ мы представляемъ идущимъ отъ определенного пункта пространства, распространяющимся въ пространствѣ посредствомъ движения или колебанія волнъ воздуха; по направленію и силѣ звука судимъ о мѣстѣ, о близости или удаленности звучащаго предмета. Но при ближайшемъ анализѣ этихъ явлений оказывается, что эти пространственныя определенія только виѣшнимъ образомъ связываются съ ощущеніями упомянутыхъ трехъ чувствъ чрезъ соотношеніе и связь ихъ съ показаніями чувствъ зрѣнія и осозанія и что во впечатленияхъ чувствъ слуха, обонянія, вкуса самихъ по себѣ и непосредственно нѣть никакого указанія на пространство. Безъ дополненія ощущенія этихъ чувствъ чувствами зрѣнія и осозанія, что достигается постепенно и плавкомъ, мы не имѣли бы никакого понятія о пространствѣ или мѣстѣ звуковъ, запаховъ, точно также какъ безъ чувства слуха и обонянія—о тонахъ и запахахъ.

То, что мы замѣтили противъ необходимости приложенія пространства, какъ субъективной формы познанія, къ воспріятіямъ всѣхъ виѣшнихъ чувствъ, имѣеть мѣсто и относительно формы времени, какъ необходимой формы внутреннихъ воспріятій. И здѣсь не все мы неизбѣжно представляемъ существующимъ во времени; такъ, напр., математическая положенія, логическая определенія, правила языка, нравственные законы и предписанія мы можемъ представлять безъ всякаго временнаго процесса. Самая вѣчность (напр. у Спинозы, Шлейермакера) не есть безконечно продолжающееся временное бытіе, но бытіе виѣхъ всякаго времени или безвременное бытіе.

Сказанное пами не тотъ, конечно, имѣеть смыслъ, будт-

не все воспринимаемое нами существует въ пространствѣ и времени, но тотъ, что пространственные и временные опредѣленія составляютъ не субъективныя только условія нашего познанія, но реальныя опредѣленія и самыхъ вещей, въ насъ существующихъ. Если-бы они были только субъективными формами познанія, то должны-бы налагаться нашимъ умомъ на всѣ представлениа безъ исключенія. Если-же на самомъ дѣлѣ, какъ мы видѣли, этого нѣтъ (напр. въ впечатлѣніяхъ слуха, обонянія), а тѣмъ не менѣе мы, вслѣдствіе сопоставленія ихъ съ данными зрѣнія, относимъ ихъ къ данному пространству, то это показываетъ, что основаніе къ тому заключается не въ субъективныхъ условіяхъ нашего чувственного познанія, но въ чисто эмпирическихъ фактахъ, заставляющихъ насъ считать и эти впечатлѣнія имѣющими отношеніе къ пространству.

Точно также, какъ согласие пространственныхъ показаний различныхъ чувствъ и независимость ихъ отъ субъективныхъ условій нашего познанія, реальное значеніе разматриваемыхъ нами понятій доказывается и совпаденіе результатовъ, рационально выведенныхъ изъ априорныхъ представлений пространства и времени, съ дѣйствительнымъ бытіемъ вещей. Такъ напр. если мы сравнимъ данный нашимъ мышленіемъ трехугольникъ съ реальнымъ трехугольникомъ, то при всѣхъ опытахъ измѣненія найдемъ, что въ послѣднемъ вполнѣ оправдывается и подтверждается тотъ же законъ, который даѣтъ намъ и чистымъ мышленіемъ, именно, что сумма угловъ равняется двумъ прямымъ; тоже должно сказать и о другихъ математическихъ положеніяхъ. Но въ тоже время мы ясно сознаемъ и различаемъ, что мыслимый нами, математический трехугольникъ не есть тоже самое, что реальный трехугольникъ, точно также какъ и всякая другая геометрическая фигура не есть тоже, что соответствующей ей предметъ. Это доказывается, кроме нашего сознанія, и тотъ простой фактъ, что ни одинъ дѣйствительный трехугольникъ или кругъ не осуществляется всей правильности и точности линій идеального, мыслимаго треугольника или круга. Что-же отсюда слѣдуетъ? Независимое отъ опыта происхожденіе математическихъ построений и вслѣдствіе этого нѣкоторое отличіе ихъ отъ реальнаго отображенія въ дѣйствительности показываетъ не эмпирическое

происхождение идеи пространства въ нашемъ умѣ; въ этомъ мы согласны съ Кантомъ; но въ тоже время согласие реальныхъ пространственныхъ определеній съ независимыми отъ нихъ математическими определеніями показываетъ, что и самимъ вещамъ принадлежать пространственные свойства, которыхъ вполнѣ согласуются съ идею пространства, данного въ нашемъ умѣ. Отсюда видно, что пространство и время суть формы, принадлежащія не только субъекту, но и объекту, не только нашему познающему уму, но и познаваемому бытію. Различіе между ними состоить только въ томъ, что въ нашемъ умѣ онѣ даны въ идеальной формѣ, тогда какъ въ нашого ума, въ своихъ конкретныхъ проявленіяхъ, онѣ только приближаются къ этой формѣ, что, какъ показываетъ и опытъ, никакъ не противорѣчить ихъ единству и совпаденію, дѣлающему возможнымъ примѣненіе математики къ познанію природы и ея законовъ.

Несостоятельность субъективной теоріи пространства и времени дѣлаетъ очень сомнительнымъ и достоинство тѣхъ пріемъній, которыя могутъ быть сдѣланы изъ нихъ при решеніи различныхъ научныхъ и философскихъ вопросовъ, на что Кантъ и его послѣдователи указываютъ, какъ на косвенное доказательство въ ся пользу. Съ одной стороны, ея преимущества въ этомъ отношеніи предъ теоріею, признающею объективное значеніе этихъ понятій, обманчивы и далеко не такъ велики, какъ думаетъ критическая философія, съ другой,—послѣдовательное проведение субъективной теоріи пространства и времени можетъ привести и къ такимъ, разрушительнымъ для знанія и жизни результатамъ, которые гораздо важнѣе, чѣмъ предполагаемая невозможность решить тѣ или другіе частные метафизические вопросы въ противоположной теоріи. Кантъ, прежде всего, вмѣняетъ себѣ въ заслугу то, что только съ точки зреінія его теоріи пространства и времени можетъ быть несомнѣнно доказана независимость отъ опыта и, вслѣдствіе этого, абсолютная необходимость положеній математическихъ, какъ основанныхъ на чистоaprіорной идеѣ пространства, чѣмъ по связи математики съ естествознаніемъ полагается твердое основаніе для чисто научнаго, рационального изученія законовъ природы. Но если рабочее значение математики и ея примѣненій къ естество-

значенію утверждается на такомъ основаніи, какъ субъективное происхожденіе и значеніе формъ пространства и времени, то это основаніе слишкомъ ненадежно; потому что ничто не ручается при такомъ воззрѣніи, чтобы эти формы были въ точномъ и строгомъ смыслѣ необходимыми, следовательно, единственно истинными и достовѣрными формами познанія. Это формы только нашего специально человѣческаго воззрѣнія; другія существа, что допускаетъ и Кантъ, могутъ имѣть другія формы воззрѣнія или совершенно отличныя отъ нихъ, или существенно видоизмѣненные, напр., пространства съ двумя или пятью измѣреніями; но тогда явится и совершенно иная геометрія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ приложенія, какія сдѣлала математика въ области естествознанія, всѣ законы, которые она наложила на природу, всѣ пути движения и взаимнаго отношенія, какіе она предписала небеснымъ тѣламъ, окажутся пустыми мечтами *нашего* субъективнаго воззрѣнія. Если естественные науки получили такую точность и несомнѣнность чрезъ подчиненіе своихъ наблюдений измѣренію и исчисленію, то эти качества окажутся очень сомнительными при мысли о субъективномъ только значеніи понятія о пространствѣ. Наоборотъ, то самое явленіе, что независимыя отъ опыта, выведенныя a priori изъ чистой идеи пространства положенія математическія имѣютъ полное приложеніе къ дѣйствительнымъ явленіямъ, даютъ возможность не только ихъ изучать, но даже предугадывать (напр. время солнечныхъ и лунныхъ затмѣній), ясно показываетъ, что форма пространства и времени не есть только субъективная форма познанія, но паходитъ себѣ средство и соотвѣтствіе внѣ нась, въ мірѣ объективномъ.

По отношенію къ философіи субъективный идеализмъ хвалился тѣмъ, что его теорія пространства и времени уничтожила разногласіе между эмпирізмомъ и идеализмомъ и навсегда примирila ихъ тѣмъ, что, вопреки первому, доказала существованіеaprіорного элемента въ нашемъ познаніи, вопреки второму, поставивши возникновеніе этихъ понятій въ связь съ дѣйствиемъ на наши чувства внѣшнихъ предметовъ, доказала существованіе внѣ нась находящейся реальной дѣйствительности. Но если первое справедливо, то нельзя сказать того-же относительно послѣдняго. Исторія философіи показала, что Кантово признаніе, хотя независимой отъ нась,

по совершенно неизвестной намъ „вещи самой по себѣ“ не только не устранило идеализма, но, напротивъ, оказалось ему существенную услугу, что вскорѣ послѣ Канта и оправдалось на дѣлѣ въ возникновеніи и господствѣ чисто идеалистическихъ системъ Фихте, Гегеля и Шеллинга, внутренняя связь которыхъ съ системою Канта и зависимость отъ нея есть фактъ общепризнанный и несомнѣнныи.

Субъективный идеализмъ указываетъ далѣе на преимущество своей теоріи пространства и времени при рѣшеніи нѣкоторыхъ затруднительныхъ метафизическихъ вопросовъ, возникающихъ при противоположномъ воззрѣніи на нихъ, какъ на нечто реальное. Но эти затруднительные вопросы или вовсе не имѣютъ серьезнаго значенія или принадлежать къ числу такихъ, которые не могутъ быть устранены простымъ отрицаніемъ ихъ значенія.

Что касается до космологическихъ недоумѣній въ родѣ напр., такихъ, почему, если пространство и время реальны, Богъ не сотворилъ міра тысячию годами раньше или позже, тысячию милями длинище или короче, то мы сомнѣваемся, предлагала-ли гдѣ и какая метафизика подобные странные вопросы. Кажется, они выдуманы самыми послѣдователями Канта, съ парочитою цѣллю показать превосходство своей теоріи, и принадлежать къ числу только возможныхъ, а не дѣйствительно существовавшихъ проблеммъ. Да и прежняя метафизика не имѣла нужды въ возбужденіи подобныхъ вопросовъ, потому что въ пей они сами собою и лѣтко устранились тѣмъ, что пространство и время признавались или свойствами или отношениями вещей. Если-бы пространство, напр., признавалось само по себѣ сущимъ вмѣстилищемъ вещей, въ которомъ плавалъ-бы, такъ сказать, міръ, то мы, конечно, имѣли-бы право спросить, почему онъ не помѣщенъ въ этомъ вмѣстилишѣ правѣ или лѣвѣ, на тысячу миль дальше или ближе. Равнымъ образомъ, если-бы мы считали время чѣмъ-то реально сущимъ независимо отъ вещей, то опять могли-бы спросить о причинѣ такого или иного начала міра въ этомъ самостоятельно текущемъ потокѣ. Но какъ скоро пространство и время признаются опредѣленіями самыхъ вещей, вѣнчихъ не имѣющими реальности, то подобного рода вопросы, очевидно, падаютъ сами собою. Какой можетъ быть вопросъ о

мѣстъ, занимаемомъ міромъ въ пространствѣ, когда самаго пространства виѣ міра не существуетъ? Тоже должно сказать и относительно времени. При томъ-же, спрашивать о количествѣ лѣтъ или географическихъ миль до начала міра, какъ опредѣленій и мѣръ чистаго времени и пространства, неумѣстно и потому уже, что эти опредѣленія возникаютъ изъ реальнаго отношенія человѣка къ дѣйствительно существующимъ предметамъ природы,—отношеній, которыхъ, поэтому, и не могло быть тогда, когда не было ни природы, ни человѣка. Такъ напр., годы, мѣсяцы, дни, часы опредѣляются сравнительнымъ движениемъ существующихъ уже вещей,—земнаго шара около солнца и около своей оси.

Что касается до вопроса о мѣстопребываніи души, который будто-бы совершенно упраздняется субъективною теоріею пространства, какъ не имѣющій смысла, такъ какъ пространство есть только субъективная форма воззрѣнія и при томъ однихъ виѣшихъ предметовъ, то, не касаясь здѣсь подробно этого психологического вопроса, замѣтимъ, что отношеніе души къ пространству необходимо должно быть допущено па основаніи тѣсной и существенной связи ся съ вещественнымъ (слѣд. пространственнымъ) тѣломъ. Если душа не механически только соединена съ организмомъ, но составляетъ въ этомъ соединеніи съ нимъ одно, цѣльное человѣческое существо, то, очевидно, пока она соединена съ тѣломъ, она должна имѣть ближайшее отношеніе какъ къ частнымъ физиологическимъ (слѣд. мѣстнымъ) процессамъ, такъ и къ общей формѣ существованія всего нашего организма (пространству). Дѣйствительно, такое отношеніе показываетъ не только общая, такъ называемая, зависимость души отъ тѣла, по и прямые факты, показывающіе мѣстное пріуроченіе извѣстныхъ психическихъ дѣятельностей къ извѣстнымъ частямъ организма. Эти факты ни коимъ образомъ не могутъ быть объяснены при субъективномъ воззрѣніи на пространство. Съ точки зрѣнія Канта никакъ нельзя привести сколько нибудь достаточнаго объясненія, почему наша душа, существо не материальное, локализируетъ свои отправленія. На семъ основывается, напр., наше неискоренимое сознаніе, что процессъ мышленія совершается въ передней части головы, что тоска давить сердце, что мы видимъ именно глазомъ, слышимъ ухомъ, осозаемъ рукою и

пр. Если-бы пространство было только субъективною формою воззрѣнія, то мы не видимъ причины, почему-бы съ равнымъ правомъ мы не могли-бы относить извѣстные психические акты къ другимъ частямъ тѣла, чѣмъ къ тѣмъ, къ которымъ относимъ ихъ теперь; почему-бы, напр., не представлять намъ мышленіе совершающемся не въ головѣ, а въ рукѣ, зреющіе въ ухѣ и т. п. \*).

Итакъ услуги Кантовой теоріи пространства и времени для математики, естествознанія и философіи очень сомнительны. Для послѣдней онѣ равняются простому устраненію нѣкоторыхъ предполагаемыхъ или дѣйствительно затруднительныхъ метафизическихъ проблемъ.

Но сомнительныя выгоды его теоріи далеко перевѣшиваются несомнѣнными невыгодами ея въ дальнѣйшемъ примѣненіи ея результатахъ въ знаніи и жизни. Мы уже видѣли, что, думая положить своею теоріею прочное основаніе для естествознанія, Кантъ на самомъ дѣлѣ разрушаетъ его достовѣрность, обращая весь внѣшній міръ съ его пространственными и временными различіями въ субъективный призракъ и тѣмъ пролагая дорогу идеализму. Но разрушительное вліяніе его теоріи идетъ гораздо дальше. Повидимому, понятія о пространствѣ и времени такія абстрактныя понятія, что такое или иное мнѣніе о нихъ въ метафизикѣ не можетъ имѣть никакого вліянія помимо теоретической области знанія. Но не такъ на самомъ дѣлѣ. Вся наша жизнь, вся наша нравственная дѣятельность состоить въ послѣдовательномъ, временномъ осуществленіи извѣстныхъ цѣлей, всѣ наши юридическая и соціальная отношенія (напр. право собственности, какъ обладаніе извѣстными материальными предметами) такъ проникнуты убѣждениемъ въ реальности пространства и времени, что, съ уничтоженіемъ истины этого убѣжденія, становятся невозможными. Такъ напр., понятія раскаянія, награды, наказанія немыслимы безъ *временно* предшествующаго дѣйствія и во времени слѣдующаго результата этого дѣйствія. Все, что дѣлаетъ наши поступки нравственными, юридически правыми и не правыми, зависить отъ

\* ) О наиболѣе серьезномъ возраженіи Канта противъ теоріи, признающей реальность пространства и времени,—что, допуская ее, мы впадаемъ въ пантеизмъ, рѣчь будетъ впереди.

времени и мѣста ихъ совершения, предполагаетъ пространство и время, какъ реальная опредѣленія вещей въ насть существующихъ и собственного нашего бытія. Поэтому, если эти понятія—субъективный призракъ, то точно такой-же призракъ мораль и право. Поэтому Кантъ обманываетъ, когда думаетъ, что его теоретическая философія оставляетъ совершенно неприкосновенною практическую и что послѣдняя, независимо отъ первой, даетъ познаніе о дѣйствительныхъ предметахъ, о долгѣ, о Богѣ, о бессмертіи. Уже Шопенгауэръ вывелъ то совершенно послѣдовательное заключеніе изъ раздѣляемой имъ теоріи Канта, что съ уничтоженіемъ реальности пространства и времени, какъ вещей самихъ по себѣ, не можетъ удержаться и множественность людей, какъ существъ ограниченныхъ извѣстнымъ мѣстомъ и временемъ. Отсюда слѣдуетъ дальнѣйшее заключеніе, что *многие* люди, — это только призракъ, что на самомъ дѣлѣ существуетъ только одна безпространственная и бессовременная *вола*. Но мораль и право предполагаютъ реальную множественность людей; если эта множественность только призракъ, то точно также нравственность и право \*).

2. Подвергая критическому разбору субъективную теорію пространства и времени, мы не только показали ея несостоятельность, но и представили несомнѣнныя данные, которые заставляютъ насъ признать объективное значеніе этихъ понятій. Пространство и время есть реальная принадлежность самихъ вещей, а не субъективная только форма познанія ихъ. Но этимъ общимъ выводомъ не рѣшается еще окончательно вопросъ о дѣйствительномъ ихъ значеніи. Мы видѣли, что и мнѣнія философовъ, признавшихъ ихъ реальность, далеко не согласны между собою въ дальнѣйшемъ опредѣленіи значенія этихъ понятій. Поэтому возникаетъ вопросъ, въ чёмъ же состоитъ истинная реальность времени и пространства?

Прежде всего, мы не можемъ остановиться на томъ мнѣніи, что пространство и время суть самостоятельно сущіе, независимые отъ вещей, предметы. Пространство, напр., мы не можемъ представлять себѣ чѣмъ-то въ родѣ воздуха, въ которомъ плаваютъ всѣ вещи, время чѣмъ-то въ родѣ Гераклито-

---

\* ) Kirchmann. Erläuter. zu Kant's Kritik d. r. Vernunft. 1870, p. 15.

вѣй рѣки, по которой неудержимо несется все существующее. Если бы они были бытіи такими предметами, то должны-бы заявить чѣмъ-либо о свѣдѣмъ; независимомъ отъ вѣщей, существованіи. Для всѣхъ другихъ реальныхъ предметовъ такимъ метафизическими признаками, свидѣтельствующими о ихъ реальности, служать признаки такъ называемаго дѣйствія и страданія (*actio et passio*), то есть, какъ они должны производить на насъ какое либо впечатлѣніе, такъ и испытывать съ нашей стороны, или со стороны другихъ предметовъ, воздействиѣ на нихъ. Правда, въ обыкновенной рѣчи мы постоянно говоримъ о такомъ дѣйствіи и воздействиѣ; говоримъ, напр., о возможности сократить разстояніе, протянуть время; говоримъ о всесокрушающемъ и все уничтожающемъ дѣйствіи времени и пр. Но при ближайшемъ вниманіи сейчасъ-же оказывается, что это не болѣе, какъ метафорическая выраженія; то, что мы относимъ здѣсь на счетъ пространства и времени самихъ по себѣ, должно быть отнесено вполнѣ на счетъ вещей и явленій, существующихъ въ пространствѣ и времени. Если-бы никакая внѣшнія или внутреннія причины измѣненія не дѣйствовали въ предметахъ, не измѣняли-бы ихъ положенія и состоянія, то они оставались бы навсегда неподвижными и неизмѣнными; пространство и время были-бы безсильны противъ нихъ. Такъ наше я, если-бы не заключало источника своей жизни и измѣненій въ самомъ себѣ и въ окружающихъ его условіяхъ, пребывало-бы вѣчнымъ и недоступнымъ временному процессу бытія. Предметы внѣшніе, какъ справедливо замѣтилъ Шопенгауэръ, въ силу физического закона косности или инерціи, если-бы на нихъ не дѣйствовали другіе предметы и не сообщали имъ движенія, не вызывали-бы перемѣнъ въ ихъ положеніи, оставались-бы вѣчно неизмѣнными. Итакъ то, что мы называемъ дѣйствіемъ пространства и времени и воздействиѣмъ на нихъ, въ сущности есть дѣйствіе и воздействиѣ вещей, существующихъ въ пространствѣ и времени, и немыслимо безъ нихъ.— Далѣе, чтобы быть реальными объектами, пространство и время должны бы иметь какія либо *положительные* реальные свойства или качества, какъ и прочія реальные вещи, именно,—свойства бытія материальнаго (если они имѣютъ материальную реальность) или духовнаго, потому что только въ той или иной формѣ мыслимы нами

рсальные вещи. Что о времени самомъ по себѣ ни того ни другаго сказать нельзя, само собою понятно; если мы и можемъ представить себѣ время, какъ нѣчто самостоятельное, то скорѣе какъ пѣкоторую силу, постоянно разрушающую и уничтожающую всякое бытіе, какъ абсолютное отрицаніе всѣхаго бытія, но не какъ силу самого бытія. Что касается до пространства, то мы знаемъ, что положительный характеръ ему, какъ самому по себѣ существу бытію, думаль придать Декартъ чрезъ отожествленіе понятія о протяженіи съ понятіемъ о матеріи, въ слѣдствіе чего и явилась возможность мыслить протяженіе, какъ субстанцію всего материальнаго. Но такое отожествленіе пространства и матеріи не можетъ быть допущено. Матерію мы мыслимъ существующею *въ пространствѣ*, сплошь-ли наполняющею его, или въ видѣ атомовъ, но не смышиваемъ ее съ самыми пространствомъ. И это вполнѣ законно; матерія имѣеть извѣстныя качества, напр.: плотность, вѣсъ, проницаемость, даже форму. Но, считая ее тожественною съ пространствомъ, можемъ - ли мы сказать, что пространство или часть его непроницаемы, плотны, вѣсомы, имѣютъ сами по себѣ то или иное очертаніе и пр. Очевидно, нѣтъ. Въ слѣдствіе такого отличія ихъ мы въ абстракції можемъ мыслить пространство совершенно чистымъ отъ матеріи (напр. при построеніяхъ геометрическихъ), но не наоборотъ, что и показываетъ, что то и другое понятія не тожественны.

Если-же теперь пространство и время не могутъ быть самостоятельно сущими и независимыми отъ вещей объектами, то съ точки зрѣнія реального пониманія ихъ остается, повидимому, единственно правильнымъ заключеніе, что они составляютъ принадлежность самыхъ вещей, суть ихъ свойства или качества. Но какого рода вещей, какого рода бытія свойствами они могутъ быть?

Если отъ эмпирическихъ, временно-пространственныхъ определеній вещей обратимся къ чистому понятію пространства и времени самихъ по себѣ, то увидимъ, что они обладаютъ предикатами необходимости, всеобщности, безконечности; но такихъ свойствъ, не представляютъ намъ конкретныхъ вещей; въ действительномъ, эмпирическомъ бытіи мы не видимъ ничего всеобщаго, необходимаго, безконечнаго. И такъ, нови-

димому, ясно, что сами по себѣ они могутъ быть свойствами только такого бытія, которое одно лишь можетъ обладать подобного рода свойствами,—абсолютного, божественного. Къ такой мысли, какъ мы знаемъ, склонялись даже нѣкоторые философы съ таистическимъ міросозерцаніемъ (напр. Кларкъ); они готовы были отожествить абсолютное пространство и время съ божественною безконечностью и вѣчностью. Но особенное значеніе и смыслъ такое воззрѣніе должно было получить въ идеалистической философіи, гдѣ пространство и время, съ ихъ предикатами всеобщности и безконечности, всего естественнѣе могли явиться модусами или модификаціями абсолютного бытія. Такъ мы видѣли, что протяженіе Спиноза почиталъ модусомъ абсолютной субстанціи, а Гегель пространство и время самыми общими, а потому и самыми реальными опредѣленіями абсолютной идеи, въ какой мѣрѣ она является въ формѣ инобытия (природы). Но такое воззрѣніе на нихъ, очевидно, стоитъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ понятіемъ объ абсолютномъ. Не только по обыкновенному (теистическому) воззрѣнію на абсолютное, какъ на Существо всесовершенное, но и по представлению о немъ въ идеалистической философіи оно должно быть мыслимо, какъ противоположность частному, ограниченному бытію въ томъ смыслѣ, что оно есть бытіе единое и неизмѣнное, не подверженное, слѣдовательно, дѣлности на части или процессу временнаго измѣненія. Но можемъ-ли мы сохранить за нимъ эти предикаты, если внесемъ въ понятіе его пространство и время, какъ модусы или моменты его бытія? Абсолютное пространство и время мы, конечно, можемъ отличать отъ эмпирическаго; но нельзя забывать, что и въ этой своей формѣ они носятъ на себѣ существенный и неотъемлемый признакъ безконечной дѣлности; въ пространствѣ мы необходимо мыслимъ возможность неограниченаго дѣленія на части; во времени,—различие дискретныхъ моментовъ. Но въ такомъ случаѣ и самому абсолютному, въ какой мѣрѣ оно принимаетъ на себя эти формы, мы должны будемъ приписать эти, столь противорѣчашія понятію его, свойства; мы должны будемъ уравнять его съ бытіемъ матеріальнымъ. Не говоримъ о томъ, что абсолютное пространство и время не составляютъ чего-либо отдѣльного отъ эмпирическаго пространства и времени и ему противо-

положнаго. Дѣйствительныя пространства и времена, какъ справедливо замѣтилъ Кантъ, составляютъ части абсолютнаго пространства. Но въ такомъ случаѣ не только общія формы пространства и времени, но и дѣйствительныя временно-пространственные вещи должны быть также признаны частями и моментами абсолютнаго; мы должны будемъ допустить пантеизмъ въ самой рѣзкой и грубой формѣ. Спиноза думаетъ уклониться отъ этого вывода, пожертвовавъ однимъ изъ этихъ понятій (временемъ) въ пользу другаго (пространства). Правда, время, мыслимое не иначе какъ въ видѣ дискретныхъ моментовъ, представляеть наиболѣе рѣзкое противорѣчіе понятію объ абсолютномъ; съ идею пространства удобнѣе можетъ быть согланено представление о вѣчности и неизмѣнности. Но, съ одной стороны, понятія пространства и времени до такой степени тѣсно и существенно связаны въ нашемъ мышленіи и дѣйствительности, что невозможно разъединять ихъ, утверждая реальность одного и отрицая истину другаго; они стоять или падаютъ вмѣстѣ. Съ другой стороны, такимъ утвержденіемъ истины одного абсолютнаго пространства мы ровно ничего не выигрываемъ; потому что, если время представляеть дискретные моменты и сопровождается понятіемъ постояннаго измѣненія, то и пространство въ свою очередь представляеть дискретныя части и сопровождается понятіемъ дѣлимы; для абсолютнаго одно не лучше другаго.

Повидимому, удачнѣе уклоняется отъ представленнаго нами противорѣчія Гегель, когда пространство и время считаетъ самыми общими формами ибытія абсолютнаго,—природы; то и другое являются здѣсь, какъ и слѣдуетъ, именно предикатами бытія противоположнаго абсолютному и понятіе абсолютнаго остается неповрежденнымъ. Но все достоинство подобнаго возврѣнія сейчасъ-же теряется, какъ скоро вспомнимъ, что мнимое ибытіе абсолютнаго есть однако-же его собственное ибытіе, что природа въ сущности есть только модификація абсолютнаго, такъ что название пространства и времени формами ибытія исколькъ въ сущности по противополагаетъ ихъ абсолютному; въ томъ или иномъ видѣ они становятся моментами его собственнаго бытія. Но и независимо отъ этого недостатка, общаго всѣмъ идеалистиче-

скимъ системамъ, самое понятіе Гегеля о пространствѣ и времени не выдерживаетъ критики. Онъ защищаетъ реальность ихъ тѣмъ, что, по его мнѣнію, самое общее есть eo ipso и самое дѣйствительное и потому они, какъ наиболѣе общія опредѣленія міроваго бытія, суть и самое реальное изъ всего, что мы ни знаемъ въ природѣ. Но опытъ показываетъ намъ, что самое реальное въ мірѣ есть не общее, а конкретное, живое, опредѣленное; общее безъ конкретнаго не имѣть ни силы, ни жизни, ни дѣйствительности. Въ отношеніи ко всей совокупности міроваго бытія самая общая основа реальности конкретныхъ вещей есть матерія для предметовъ чувственныхъ, духовная субстанція для духовныхъ; но и эти основы міроваго бытія получаютъ истинную реальность только индивидуализируясь въ отдѣльныхъ материальныхъ предметахъ и живыхъ органическихъ и духовныхъ существахъ. При такомъ конкретномъ характерѣ истинно реального бытія несправедливо утверждать, будто такія всеобщія опредѣленія, какъ пространство и время, не только реальны сами по себѣ, но, какъ наиболѣе общес, суть и наиболѣе реальное въ міровомъ бытіи. Напротивъ, безъ конкретныхъ вещей, существующихъ въ пространствѣ и времени, сами они не имѣли-бы никакой силы и значенія. Поэтому и парадоксальный примѣръ, приведенный Гегелемъ въ защиту своей мысли о реальности этихъ понятій, именно, что собственно убиваетъ человѣка не кирпичъ падающій на его голову съ крыши, а пространство и время, т. е. быстрота и направление паденія кирпича, такъ и остается парадоксомъ. Гегель забылъ, что въ кирпичѣ вся суть дѣла; что безъ него не могло-бы быть ни быстроты, ни направления пространства и времени самихъ по себѣ.

Несостоятельность идеалистического пониманія объективности пространства и времени приводить насъ къ тому, единственно остающемуся намъ, заключенію, что они суть опредѣленія или принадлежности реального бытія, но не абсолютнаго, а ограниченного или міроваго. Такимъ образомъ мы приходимъ къ тому мнѣнію, что пространство и время суть свойства или качества дѣйствительныхъ вещей,—мнѣнію, раздѣленному Локкомъ и нѣкоторыми другими философами. Но и противъ этого мнѣнія, преимущественно съ точки зре-

нія субъективного идеализма, были возбуждаемы возраженія, которых на первый взглядъ кажутся основательными.

Если-бы, говорятьъ, пространство и время были существенно принадлежащими предметамъ ихъ свойствами, то, съ уничтоженіемъ въ нашей мысли предметовъ, уничтожились-бы и ихъ свойства; *sublata re, tollitur qualitas rei*; съ огнемъ уничтожается и свойство его теплоты, съ водою ея жидкость. Но мы можемъ мысленно удалить всѣ предметы изъ пространства и времени, но при этомъ представлениѣ какъ того, такъ и другаго не исчезнетъ. Напротивъ, мы необходимо представляемъ, что и за исчезновеніемъ всѣхъ предметовъ въ пространствѣ и времени со всѣми ихъ свойствами самое время и пространство не исчезаютъ. Значитъ, какъ то, такъ и другое, не свойства предметовъ, но нѣчто отъ нихъ различное.

Далѣе, если-бы пространство было свойствомъ вещей, то между вещами или тамъ, где мы предполагаемъ отсутствіе вещей, не должно-бы быть и пространства, напр., между атомами или между частями, составляющими вещи. Но мы никакъ не можемъ представить такого отсутствія пространства между вещами или частицами вещей. Итакъ, если пространство мы необходимо представляемъ существующимъ не только въ вещахъ, но и внѣ ихъ и безъ нихъ, то оно не можетъ быть свойствомъ самыхъ вещей. Все сказанное нами о пространствѣ, очевидно, можетъ быть примѣнено и къ понятію времени.

Подобнаго-же рода затрудненій не избѣжимъ мы и тогда, если понятіе свойства вещей замѣнимъ понятіемъ ихъ отношенія и вмѣстѣ съ Лейбницемъ и Вольфомъ будемъ считать пространство и время отношеніями вещей между собою. По этому мнѣнію, существованіе отдѣльныхъ вещей, находящихся между собою въ отношеніяхъ совмѣстности и послѣдованія, производить въ насъ представлениѣ пространства и времени. Если-бы это было такъ, то пространство и время могли-бы быть мыслимы не иначе, какъ съ самыми вещами, отношенія которыхъ они составляютъ и за уничтоженіемъ въ нашей мысли самыхъ предметовъ не оставалось-бы и попятій ихъ отношенія (т. е. пространства и времени), потому что не было-бы ничего, что къ чему-бы относилось. Но мы видимъ

противное; мы не только мыслимъ абсолютное пространство и время безъ всякаго отношенія къ реальнымъ предметамъ, но изъ этихъ понятій a priori построеваемъ цѣлую систему отношеній математическихъ, независимыхъ отъ отношеній между дѣйствительными предметами.

Кромѣ того, самое понятіе отношенія, которое прилагается къ пространству и времени Лейбнице-Вольфовою школою, не опредѣленно и запутанно. Какія здѣсь разумѣются отношенія между вещами, дѣйствительныя или мыслимыя только? Если они суть дѣйствительныя, то они суть временные и пространственные; но такого рода отношенія, чтобы быть мыслимыми, предполагаютъ уже пространство и время, какъ нечто предшествующее этимъ отношеніямъ и лежащее въ ихъ основѣ. Потому что мы должны сперва предположить существование предметовъ въ пространствѣ и времени, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ мыслить о временно-пространственныхъ ихъ отношеніяхъ, каковы напр., относительная ихъ величина, удаленность, близость, большая или меньшая скорость движенія и т. п. Если-же они суть только мыслимыя, нами устанавливаемыя отношенія между предметами, то въ такомъ случаѣ они не будутъ уже реальными отношеніями вещей, а только субъективными формами познанія ихъ. Взглядъ Лейбница такимъ образомъ сольется съ теоріею Канта.

Но если теперь послѣднее, остававшееся единственно возможнымъ, заключеніе о пространствѣ и времени, какъ о свойствахъ вещей или ихъ отношеніяхъ, оказывается несостоятельнымъ, то мы, повидимому, потеряли всякую надежду дать какое-бы то ни было разъясненіе этихъ понятій. Не должны ли мы возвратиться къ тому-же замѣчанію бл. Августина, которымъ начали наше изслѣдованіе; „пока у меня не спрашиваютъ, что такое время“ (прибавимъ: и пространство), „я ясно понимаю, что оно такое; но какъ скоро я хочу объяснить это понятіе другимъ, оказывается, что я ничего не знаю“.

Но подобное признаніе, если-бы въ немъ состояло окончательное рѣшеніе вопроса о рассматриваемыхъ нами понятіяхъ, слишкомъ-бы плохо рекомендовало нашу науку. Поэтому мы должны попытаться еще разъ остановиться на послѣднемъ рѣшеніи вопроса о пространствѣ и времени и по-

смотрѣть, дѣйствительно-ли возраженія, выставленныя противъ него, такъ неотразимы, какъ кажется.

Прежде всего замѣтимъ, что название пространства и времени свойствами вещей, дѣйствительно, не совсѣмъ удачно и способно вызвать недоразумѣнія. Свойство, какъ показываетъ самое слово, есть нечто *свое*, отличающее одну вещь отъ другой, обособляющее ее, какъ опредѣленную вещь въ ряду другихъ. Но пространство и время составляютъ общую принадлежность всѣхъ вещей; сами по себѣ они не отличаются одну вещь отъ другой, но, напротивъ, обобщаютъ ихъ въ извѣстномъ отношеніи. Отличаетъ одну вещь отъ другой и составляетъ отличительное свойство каждой не пространство и время вообще, но различная опредѣленности ихъ. Такъ одна вещь можетъ быть больше или меньше другой, имѣть извѣстное, свойственное себѣ только, очертаніе или фигуру, продолжать свое существование большее или меньшее время и т. п. и этими конкретными, временно-пространственными свойствами отличаться отъ другихъ вещей; но пространство и время сами по себѣ совершенно одипаковы и однородны для каждой вещи; пространство, занимаемое однимъ предметомъ, не отличается отъ пространства, занимаемаго другимъ. Итакъ пространство и время, какъ универсальная и однородная принадлежность всѣхъ вещей безъ исключения, условливающая саму возможность частныхъ временно-пространственныхъ свойствъ вещей, отличающихъ ихъ одну отъ другой, правильнѣе могутъ быть названы не свойствами, а всесообщю существенною принадлежностью реальнаго бытія, которая и служитъ причиной того, что это бытіе является намъ въ видѣ отдельныхъ, конкретныхъ вещей, какъ бытіе множественное и потому ограниченное. Но такого рода существенная принадлежность предмета, которая условливается только самый способъ или образъ его существованія, независимо отъ тѣхъ или другихъ качественныхъ особенностей его (содержанія), метафизика обыкновенно называетъ способомъ или *формою* его бытія. Такимъ образомъ пространство и время могутъ быть названы *формами ограниченного бытія*. Съ этимъ опредѣленiemъ сходится и то, которое называетъ ихъ *формами ограничения вещей*, потому что именно пространство и время дѣлаютъ вещи ограниченными и конечными; бытіе неогра-

ниченное предѣлами пространства и времени есть абсолютное.

Но такъ какъ подъ общую категорію ограниченного бытія подпадаетъ не только чувственная дѣйствительность (природа), но и наше собственное духовное бытіе и, притомъ, не только бытіе вообще, но всѣ проявленія его, въ томъ числѣ и наше познаніе, то, очевидно, пространство и время составляютъ формы не только виѣшняго, объективнаго, но и внутренняго, субъективнаго бытія, и не только бытія, но и познанія. Въ этомъ смыслѣ они должны быть признаны столько-же объективными, какъ и субъективными формами какъ бытія, такъ и познанія. Такимъ образомъ наше понятіе о нихъ не отрицаетъ воззрѣнія Канта, но включаетъ его въ себя, уничтожая лишь его односторонность, по которой они признаются *только* субъективными формами познанія.

Но памъ скажутъ: много-ли вы выигрываете, признавая пространство и время формами существованія вещей, а не свойствами ихъ? Не есть-ли это замѣна только одного слова другимъ, не устраниющая никакъ затрудненій, которыхъ возникали изъ признанія ихъ свойствами вещей. Форма, перифразируемъ ирежнее возраженіе, мыслима не иначе, какъ въ связи съ вещью, форму которой она составляетъ. Если-бы, поэтому, пространство и время были формами бытія вещей, то за исключеніемъ въ нашей мысли вещей не осталось-бы и формы ихъ. Но мы можемъ мыслить пространство и время независимо и въ чистотѣ отъ вещей, ихъ наполняющихъ; следовательно, они не могутъ быть и формами вещей, точно также, какъ не могутъ быть и свойствами ихъ.

Остановимся на этомъ возраженіи и посмотримъ, такъ-ли оно неопровергжимо, какъ полагаетъ субъективный идеализмъ.

Прежде всего, дѣйствительно-ли вѣрна мысль, лежащая въ его основѣ,—именно, что мы можемъ *представить* чистое пространство и время безъ вещей, въ нихъ находящихся? При болѣе внимательномъ психологическомъ анализѣ оказывается, что такое представление невозможно. Что касается до времени, то это очевидно; мысля о времени, я никакъ не могу отрѣшиться отъ своего собственнаго я, какъ объекта существующаго во времени; осуществить это представление я могу не иначе, какъ протягивая, такъ сказать, въ мосмъ воображеніи.

нія свое собственное существование въ абстракціи отъ всѣхъ конкретныхъ опредѣленій моего бытія, представлений, чувствъ, мыслей и пр.; понятіе чистаго времени неизбѣжно совпадаетъ съ сознаніемъ моего собственного бытія; не мысля себя, я не могу мыслить о времени. Что касается до пространства, то на первый взглядъ представляется, что я какъ будто могу представить чистое пространство, опустошенное, такъ сказать, отъ всѣхъ конкретныхъ вещей. Но на самомъ дѣлѣ, какъ показываетъ психологическое наблюденіе, мы при этомъ самую пустоту мыслимъ какъ нѣкоторый предметъ, который повсюду наполняетъ поле нашего зрѣнія и которому мы даже придаемъ нѣкоторыя свѣтовыя свойства,—представляемъ напр. его свѣтлымъ или темнымъ или сѣрымъ, чѣмъ-то въ родѣ безбрежнаго воздуха или тумана, окружающаго насъ. Точно также, представляя въ нашемъ умѣ лишеннаго, повидимому, всякой эмпирической предметности, опредѣленія чистаго пространства (геометрическія точки, линіи, фигуры) мы на самомъ дѣлѣ не отрѣшаемся вполнѣ отъ представлений реальнаго бытія, воображаемъ себѣ напр. геометрическія черты въ видѣ черточекъ извѣстнаго, напр. черного, цвѣта и т. п. Итакъ нельзя сказать, чтобы мы могли представлять абсолютно чистое пространство и время безъ вещей (воображаемыхъ, конечно), наполняющихъ то и другое. Но если это такъ, то сила приведенного выше возраженія падаетъ и остается неприосновеннымъ наше положеніе, что они суть неотдѣлимые отъ вещей формы ихъ бытія,—такъ называемое, чистое время, форма бытія нашего собственного я, чистое пространство—форма внѣшняго намъ бытія, какъ реального, такъ и нами представляемаго.

Однако-же говоря это, мы вовсе не думаемъ утверждать, что *понятіе* о чистомъ пространствѣ и времени невозможно. Ближайшимъ образомъ изъ сказаннаго нами слѣдуетъ только то, что невозможно или неосуществимо *представленіе* или, какъ выражается Кантъ, чувственное воззрѣніе ихъ. Но вполнѣ возможно и осуществимо рациональное *понятіе* о нихъ, т. е. *отвлеченіе* отъ содержанія представлений о вещахъ одной формы ихъ бытія и мысленіе объ этой формѣ съ устраниемъ того содержанія, форму которого она составляетъ. Но если чистое пространство и время есть понятіе, а не воз-

зрѣніе или представлениe \*), то, очевидно, и по способу своего происхожденія и по своему значенію оно должно стоять на ряду со всѣми другими понятіями, то есть, оно не можетъ быть ни чистымъ продуктомъ нашей познавательной способности, такъ какъ оно отвлечено отъ дѣйствительного содержанія, даетъ намъ его-же общія свойства,—и не можетъ быть въ тоже время простымъ, чистымъ отображеніемъ дѣйствительной вещи, такъ какъ въ немъ отвлечены только *нѣкоторые* признаки этой вещи; словомъ,—пространство и время не могутъ быть ни субъективными только формами познанія, ни реальными самостотельно существующими вещами, а именно только признаками, свойствами или, какъ мы точнѣе ихъ назвали, *формами* существованія вещей. Но если таково значеніе рассматриваемыхъ нами понятій, то, очевидно, возможность мыслить ихъ въ абстракціи отъ вещей пискалько не говорить объ ихъ дѣйствительной независимости отъ вещей, не можетъ служить опорою того мнѣнія, что они суть *только* формы нашего познанія. Допуская такое мнѣніе, мы совершенно незаконно выводимъ заключеніе о сущности пространства и вре-

\*) Ближайшее разъясненіе мысли, что чистое пространство и время не есть представлениe или возврѣніе, какъ думаетъ Кантъ, но понятіе см. у Вундта въ его Logik. 1880. 1. В. р. 449. 450. Впрочемъ, признавая ихъ абстрактными понятіями, спѣшимъ оговориться, что мы имѣемъ здѣсь въ виду вовсе не абстракцію отъ вѣнчихъ, эмпирически данныхъ временно-пространственныхъ вещей; невозможность быть имъ такого рода понятіями ясно указана Кантомъ. Но возможна другого рода, такъ сказать, обратная абстракція, гдѣ мы не отъ частныхъ представлений отвлекаемъ общія свойства, но отъ данного въ умѣ понятія отвлекаемъ тѣ частные опредѣленія, съ которыми оно эмпирически связано. Такъ отъ данной въ нашемъ умѣ обширной формы пространства и времени мы отбрасываемъ и отвлекаемъ то частное содержаніе, въ смышеніи съ которымъ въ дѣйствительности являются эти формы и получаемъ идею чистаго пространства и времени. Самъ Кантъ, признающій апріорное ихъ происхожденіе, замѣчаетъ, однако-же, что они не лежать въ насъ какъ готовыя, врожденныя понятія, но возникаютъ въ насъ вмѣстѣ съ опытомъ и по новоду опыта. Если-же они первоначально являются нашему сознанію вмѣстѣ съ содержаніемъ даннаго опытомъ, то чтобы получить понятіе объ этихъ апріорныхъ формахъ, какъ о чистыхъ формахъ, мы должны отвлечь ихъ отъ содержанія, съ которымъ они слитно существуютъ въ нашемъ умѣ. Итакъ, и признавая апріорное происхожденіе пространства и времени въ нашей душѣ, мы имѣемъ право называть ихъ понятіями, а такъ какъ всякое понятіе по происхожденію и по существу предполагаетъ абстракцію, то—абстрактными понятіями.

мени на основанії процесса суб'єктивнаго образованія понятія о нихъ въ нашемъ умѣ. Чтобы получить такое понятіе, мы мысленно выкидываемъ изъ пространства и времени всѣ предметы, оставляемъ лишь абстрактное понятіе о формѣ ихъ бытія и отсюда заключаемъ, что и на самомъ дѣлѣ это понятіе (чистое пространство и время) можетъ существовать безъ предметовъ, какъ одна форма ихъ познанія. Но позволительно ли такое заключеніе? Если-бы намъ на самомъ дѣлѣ въ природѣ указали случаи, что, за исключениемъ извѣстной вещи изъ даннаго пространства, остается самое пространство, какъ нѣчто реальное и ничѣмъ не наполненное vacuum, а что вещь, выключенная изъ пространства, лишилась чрезъ это пространственныхъ опредѣленій, стала быть безъ протяженія, величины, фигуры, длины, широты, то мы, конечно, имѣли-бы право сказать, что пространство не есть существенная форма бытія вещи, а нѣчто могущее существовать и независимо отъ нея, какъ реальный объектъ или какъ субъективная форма познанія. Точно также, если-бы намъ на опытѣ указали, что, за исключениемъ вещи существующей во времени, гдѣ-либо осталось чистое, ни чѣмъ не наполненное время, а самая вещь стала существовать не во времени, а какъ-либо иначе, то опять мы могли-бы сказать, что время не есть форма бытія вещей, ибо можетъ существовать безъ нихъ. Но ничего подобного нѣтъ и быть не можетъ. Итакъ очевидно, что на самомъ дѣлѣ чистое пространство и время не существуютъ. Если же вопреки дѣйствительности мы мыслимъ ихъ существующими въ нашемъ умѣ, то это есть естественное явленіе познавательной дѣятельности нашего разсудка, нисколько не заставляющее отрицать реальный фактъ вида нашего разсудка. Способность абстракціи составляетъ самую природу этой познавательной силы. Вслѣдствіе коренныхъ законовъ нашего познанія, мы, для достиженія его цѣли, разъединяемъ и держимъ разъединеннымъ то, что на самомъ дѣлѣ существуетъ слитно и нераздѣльно; но такое разсудочное разъединеніе нисколько не говорить о возможности разъединенія реальнаго. Такъ, мы отвлекаемъ отъ содержанія предмета его форму и то и другое можемъ мыслить отдельно, въ видѣ двухъ понятій, отвлекаемъ отъ всего конечнаго бытія его самую общую форму, — пространство и время, но заключать

отсюда о реальной ихъ отдѣльности отъ бытія также неосновательно, какъ было-бы неосновательно изъ возможности мыслить какое угодно абстрактное понятіе безъ представленія частныхъ предметовъ, съ которыхъ оно снято, заключать,— будто это понятіе не имѣть никакого значенія виѣ нашего ума, будто признаки, входящіе въ составъ этого понятія, не составляютъ реальныхъ признаковъ тѣхъ предметовъ, которые обозначаются этимъ понятіемъ. Изъ того, напр., что мы можемъ имѣть понятіе о свѣтѣ, звукѣ вообще абстрактно отъ свѣтящихся и звучащихъ предметовъ, не слѣдуетъ, чтобы они были реальными свойствами самыхъ предметовъ; изъ того, что мы можемъ мыслить вообще человѣка, животное, не слѣдуетъ, чтобы свойства, мыслимыя въ нихъ, не могли быть свойствами дѣйствительныхъ людей, животныхъ. Точно также изъ того, что мы можемъ мыслить чистое пространство и время, не слѣдуетъ, чтобы они не составляли принадлежности реального бытія, какъ его формы \*).

Такимъ образомъ возможность мыслить чистое пространство и время въ абстракціи отъ всѣй, нисколько не противорѣчить нашему опредѣлѣнію, что они суть реальные формы ко-

---

\*) Изъ сказанного нами видно, что самое убѣдительное и сильное доказательство въ пользу субъективности формъ пространства и времени, основанное на предполагаемой возможности мыслить чистое пространство и время, не такъ убѣдительно, какъ это кажется защитникамъ этого мнѣнія. По мнѣнію Шопенгауера, истина, что пространство и время суть субъективныя формы а priori, такова, что всякому, кто находится въ здравомъ умѣ, мгновенно должна быть ясна также, какъ  $2 \times 2 = 4$ . „Приведите мнѣ“, говорить онъ, „мужика отъ сохи, растолкуйте ему вопросъ, и онъ скажетъ вамъ, что если бы всѣ предметы на небѣ и землѣ исчезли, пространство все-таки осталось-бы; и если-бы всѣ перемѣны на небѣ и землѣ заинулись, время не переставало-бы идти“. (О вольѣ въ природѣ. Пер. Фета. 1886. IX). Отсюда слѣдуетъ, что пространство и время принадлежатъ не вещамъ, а мыслящему о вещахъ нашему головному или мозговому интеллекту. Но слабость этого доказательства видна изъ того уже, что при помощи его можно доказать и совершенно обратное тому, что хочетъ доказать Шопенгауэръ. Его мужика отъ сохи мы можемъ спросить: вообрази себѣ, что на землѣ исчезли всѣ люди, а съ ними всѣ мозговые интеллекты; станется-ли безъ нихъ пространство и время въ мірѣ? Шопенгауэръ мужикъ сказалъ-бы, что, конечно, пространство и время остались-бы и тогда, если-бы людей вовсе даже не было. Что-же отсюда должно слѣдовать? Что пространство и время вовсе не субъективныя формы нашего только интеллекта, что они суть нѣчто существующее реально, независимо отъ насъ, какъ принадлежность бытія.

нечного бытія. Затрудненіе, и притомъ, дѣйствительно серьезное, возникаетъ здѣсь съ другой стороны; оно заключается въ признакѣ *безконечности*, который мы необходимо соединяемъ съ этими понятіями. Какъ-бы мы ни отдаляли начало міра, какъ скоро полагаемъ его начало, мы неизбѣжно мыслимъ, что за этимъ моментомъ начала тянется пустое, бесконечное время, что міръ получилъ начало *во* времени. Какъ-бы ни расширяли пространственные предѣлы мірозданія, мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли, что за этими предѣлами простирается бесконечное пространство, что міръ находится *въ* пространствѣ. Итакъ, предполагаемыя формы бытія оказываются гораздо шире того содержанія, котораго формами мы ихъ признали. Да и въ самомъ дѣлѣ, можетъ-ли быть бесконечная форма конечного, ограниченного бытія? Не заключается ли въ соединеніи этихъ понятій логическое противорѣчіе? Если пространство и время дѣйствительно бесконечны, то и формами они могутъ быть только бесконечного, иначе, — абсолютного или божественного бытія, они могутъ быть только модусами, моментами или свойствами абсолютной субстанціи, а самый временно-пространственный міръ — конкретною модификацією этихъ свойствъ; мы впадаемъ въ рѣшительный пантезизмъ. Если-же, желая уклониться отъ этого вывода, пожелаемъ въ тоже время удержать за рассматриваемыми нами понятіями существенно принадлежащій имъ признакъ бесконечности, то придемъ къ совершенно нелѣпой мысли, что существуетъ не одно, а три бесконечныхъ: абсолютное существо, абсолютное пространство и время.

Мы видѣли, что на это затрудненіе указалъ еще Кантъ, какъ на неразрѣшимое съ точки зрењія объективности пространства и времени и въ устраненіи этого затрудненія его последователи находили одно изъ доказательствъ въ пользу своей теоріи. Дѣйствительно, при понятіи о пространствѣ и времени, какъ о субъективныхъ только формахъ нашего человѣческаго познанія, исчезаютъ всякие вопросы объ отношеніи ихъ къ чему-бы то ни было реальному, къ бытію абсолютному точно также, какъ и къ міровому. Въ этомъ отношеніи мы могли-бы позавидовать той философіи, которая сумѣла-бы разомъ и навсегда отрѣшаться отъ трудныхъ вопросъ, составляющихъ камень преткновенія для метафизики,

если-бы только въ этомъ случаѣ истина не была принесена въ жертву иеврѣйной теорії. Но и это чувство нѣкоторой зависти сейчасъ-же исчезаетъ, какъ скоро мы ближе всмотримся въ предлагаемое этою теоріею устраниеніе нашихъ недоумѣній, потому что на самомъ дѣлѣ оказывается, что они въ ней нисколько не устраняются, а только замаскировываются и переносятся изъ объективной области бытія въ субъективную область познанія. Положимъ, безконечное пространство и время, какъ субъективныя формы познанія, не имѣютъ никакого реальнаго значенія виѣ нашего познанія въ приложеніи къ вещамъ самимъ по себѣ. Но въ такомъ случаѣ, какое-же значеніе этотъ признакъ безконечности имѣть въ нашемъ познаніи? То-ли онъ значитъ, что хотя вещи не существуютъ реально въ пространствѣ и времени, но въ силу заповѣтъ нашего познанія мы *должны мыслить* ихъ не только временно пространственными, но и совокупностью ихъ—міръ безконечно протяженнымъ и вѣчно продолжающимся во времени? Но на это, по учению Капта, мы не имѣемъ ни малѣйшаго права; одинаково противорѣчитъ его теоріи познанія, будемъ-ли мы мыслить міръ конечнымъ или безконечнымъ, имѣющимъ начало или вѣчнымъ. И такъ, что-же значитъ безконечность пространства и времени, признакъ существенно имѣя приналежащи, по который одинаково не приложимъ ни къ вещамъ самимъ по себѣ, ни къ нашему представленію или мышлению о нихъ? И какимъ образомъ въ нась, существахъ конечныхъ, можетъ находиться безконечная форма познанія, которой ничего не соотвѣтствуетъ ни въ дѣйствительности, ни въ напемъ познаніи? Вотъ вопросы, едва-ли менѣе затруднительные, чѣмъ тѣ, которые возникаютъ съ признаніемъ реальности пространства и времени. Прямаго отвѣта на нихъ не даетъ Кантъ. Впрочемъ, изъ нѣкоторыхъ разясненій его при разборѣ космологическихъ антиномій можно видѣть, что значеніе признака безконечности въ этихъ формахъ онъ полагаетъ въ томъ, что онъ должны служить къ возбужденію и поощренію любознательности нашего ума, къ тому, чтобы при изученіи природы онъ не останавливался ни передъ какими границами пространства или времени, но неудержимо простирая свои изслѣдованія дальше и дальше,—въ безконечность! Но такого рода объясненіе можно назвать

болѣе остроумнымъ, чѣмъ состоятельный. Не говоримъ о томъ, что это объясненіе не имѣеть ничего специально доказательного для субъективной теоріи пространства и времени, потому что имъ удобно можетъ воспользоваться и теорія противоположная. Мы можемъ, допуская реальность ограниченного пространства и времени, существование въ настѣ идеи безконечности того и другаго объяснять съ той-же телеологической точки зрењія, какъ и Кантъ, и тѣмъ устранить его возраженія его же оружиемъ. Но самая мысль о необходимости идеи безконечнаго пространства и времени, для возбужденія въ настѣ безконечной любознательности, едва-ли можетъ быть признана вѣрною. Если даже допустимъ, что міръ ограниченъ пространствомъ и временемъ, то дѣйствительные предѣлы его, какъ показываетъ опытъ, до такой степени далеки отъ предѣловъ нашего, не только настоящаго, но и будущаго познанія, что не предвидится никакой возможности опасаться, что умъ остановится въ своемъ поступательномъ движеніи, достигнувъ предѣловъ міра въ пространствѣ и времени, и что нужно особое поощреніе его любознательности фикціею неограниченности того и другаго. Да и самая мысль, что для возбужденія въ человѣкѣ стремленія къ познанію нужна подобнаго рода фикція, кажется довольно странною. Достойно-ли понятія о высочайшемъ Виновникѣ нашей разумной природы то, что Онъ влагаетъ въ нашъ умъ обманчивыя представлениа, чтобы вести настѣ къ истинѣ? Ужели для возбужденія любознательности нужна нѣкоторая уловка, которая на самомъ дѣлѣ можетъ столько-же расширить, сколько и уничтожить се неутѣшительною мыслю, что мы *никогда* не можемъ достигнуть цѣли нашего познанія при безконечности познаваемаго, т. е. міра, кажущагося намъ неограниченнымъ по пространству и времени.

Итакъ, если вопросъ о безконечности пространства и времени въ сущности не можетъ быть устраненъ даже тою единственою теоріею, которая обѣщаетъ, повидимому, легко устранить его, то рѣшеннія его мы должны искать въ предѣлахъ той, раздѣленной нами, теоріи, которая признаетъ реальное значеніе за этими понятіями.

Довольно часто рѣшаютъ его такимъ образомъ, что, признавая пространство и время реальными опредѣленіями вещей,

считаютъ въ тоже время нереальнымъ лишь входящій въ нихъ признакъ безконечности. Безконечное пространство и время есть не что иное, какъ чистая фикція или иллюзія нашего ума \*). Конечно, такимъ различеніемъ въ одномъ и томъ-же понятіи признаковъ фiktивныхъ (напр. безконечность) и реальныхъ, выставленное нами затрудненіе рѣшалось-бы просто и легко, если-бы только мы могли найти какой-либо слѣдъ фiktивности этого признака. Но ничего подобнаго нѣть; на-противъ, все говорить намъ за то, что этотъ признакъ есть существенный и необходимый, безъ котораго немыслимы раз-сматриваемыя нами понятія. Признакъ фiktивный есть, пре-жде всего, признакъ случайный въ предметѣ, который въ немъ можетъ быть и не быть, который затѣмъ легко устранимъ въ понятіи о предметѣ, какъ скоро мы дознали его ложность. Но таковъ-ли признакъ безконечности въ представленияхъ времени и пространства? Напротивъ, можемъ-ли мыслить ог-раниченное пространство и время? Не представляемъ-ли мы необходимо за каждымъ даннымъ пространствомъ и временемъ, какъ бы они велики не были, новаго пространства и времени и такъ далѣе до безконечности? И не странный-ли феноменъ представляла бы наша познавательная способность, будучи не въ состояніи представить то, что дѣйствительно есть (огра-ниченное пространство и время) и, напротивъ, неудержимо стараясь представить то, чего въ дѣйствительности нѣть и что создано однимъ воображеніемъ (безконечное пространство и время). Иллюзія оказывается для насъ сильнѣе и принуди-тельнѣе, чѣмъ дѣйствительность. Да и какая способность могла-бы создать намъ иллюзію безконечнаго пространства и времени? Конечно, такою способностію можетъ быть только воображеніе, какъ сила свободно увеличивать и уменьшать данныя въ дѣйствительности пространства и времена, точно также какъ можетъ она увеличить размѣры каждого предмета. Но та принудительность и настойчивость, съ какою являются намъ представлениія безконечнаго пространства и времени, ни какъ несогласима съ понятіемъ о свободныхъ произведеніяхъ фантазіи, которая не могутъ имѣть ни всеобщности, ни не-обходимости. Образы, созданные воображеніемъ, также легко

---

\* ) H. Ulrich: System d. Logik. 259.

могутъ быть выкинуты изъ нашей головы, какъ легко составлены. Да и какой смыслъ и цѣль подобныхъ чудовищныхъ образовъ, какъ безконечное пространство и время?

Притомъ, считая эти понятія чистою иллюзіею воображенія, забываютъ, что предѣлы самаго воображенія ограничены, что элементы, изъ которыхъ слагаются его образы, заимствуются изъ эмпирической дѣйствительности, что дѣятельность его ограничивается только свободнымъ видоизмѣненіемъ и комбинаціею того, что получено отъ дѣйствительности путемъ чувственныхъ впечатлѣній; абсолютно новаго воображеніе создать не можетъ. Въ силу этого воображеніе можетъ, положимъ, представить громадныя пространства и времена, но не можетъ создать понятія о *безконечности* пространства и времени въ точномъ смыслѣ слова. Безконечность есть понятіе, существенно принадлежащее разуму, такъ какъ ничто существующее эмпирически не можетъ дать идеи о безконечномъ. Какъ понятіе чисто рациональное, оно стоитъ на ряду со всѣми другими подобного рода понятіями (категоріи и идеи) и не можетъ быть фикціею воображенія. Поэтому, считая его такого рода фикціею, мы, по связи этихъ понятій, подвергаемся величайшей опасности поколебать все зданіе нашего рационального познанія. Достовѣрность всѣхъ подобного рода понятій основывается на томъ, что они суть понятія всесобщія и необходимыя для нашего мышленія. Если же мы допустимъ, что въ числѣ признаковъ ихъ могутъ быть фиктивные и обманчивые (напр. безконечность въ понятіяхъ пространства и времени), то ничто не ручается, что бы тотъ-же признакъ не могъ быть такимъ же и въ другихъ. Возьмемъ высочайшее изъ этихъ понятій,— понятіе Существа всесовершенаго. Если признакъ безконечности, входящій необходимо въ составъ этого понятія, можетъ быть признанъ фиктивнымъ, то не правы-ли будутъ тѣ, которые самую идею Существа безконечно совершенаго считаютъ не болѣе какъ продуктомъ силы воображенія, расширяющей въ мнимую безконечность тѣ свойства и совершенства, которыя мы замѣчаемъ въ бытіи эмпирическомъ? Если-же мы считаемъ признакъ безконечности не производимъ изъ дѣятельности воображенія и на этомъ основаніи считаемъ его реальнымъ признакомъ въ идеѣ Существа высочайшаго, то, повидимому, и въ другихъ понятіяхъ, где необходимо встрѣчается тотъ-же

признакъ, мы не имѣемъ права считать его фиктивнымъ. По крайней мѣрѣ, нужны очень вѣскія и сильныя доказательства въ пользу той мысли, что одинъ и тотъ же признакъ безконечности въ одномъ случаѣ можетъ быть истиннымъ, въ другомъ—ложнымъ, не смотря на то, что въ обоихъ случаяхъ имѣется одинаково характеръ необходимости для нашего мышленія.

Повидимому, представленное нами затрудненіе относительно признака безконечности, входящаго въ составъ нашихъ понятій о пространствѣ и времени, разрѣшилось-бы очень легко, если-бы мы признали, что то самое бытіе, форму котораго, по нашему опредѣленію, они составляютъ, т. е. бытіе конечное или міровое, неограничено по пространству и времени, что міръ дѣйствительно вѣченъ и безконеченъ; такого мнѣнія, какъ извѣстно, держались многіе философы. При такомъ воззрѣніи, гдѣ форма безконечности была-бы реальнаю формою дѣйствительного содержанія, была-бы вполнѣ гарантирована достовѣрность основныхъ понятій нашего разума, безъ необходимости допускать въ нихъ нѣкоторые фиктивные элементы, что неминуемо должно подрывать довѣріе къ истинѣ нашего рационального познанія. Что касается до того возраженія, что, признавая безконечность пространства и времени, какъ реальную форму міроваго бытія, мы или должны принять пантеистическое понятіе о мірѣ, какъ проявленіи Божества, или допустить немыслимое представлѣніе о трехъ бесконечныхъ вмѣсто одного, то это возраженіе, повидимому, не такъ неустранимо, какъ кажется. Если-бы мы признавали міръ совершенно самостоятельнымъ и не зависимъ отъ Бога и и по происхожденію и по сущности бытіемъ, то почитая его безконечнымъ, мы, конечно, должны-бы допустить противорѣчашее разуму понятіе о двухъ бесконечныхъ. Но какъ скоро мы признаемъ Бога абсолютную, творческою причиной міра, а его безконечность не самостоятельной, а условливаемою Его волею, то противорѣчіе исчезаетъ, потому что бесконечный міръ будетъ въ сущности бесконечнымъ обнаруженіемъ единой творческой воли Божества. Бога мы можемъ мыслить какъ Существо вѣчно дѣятельное и потому вѣчно творящее, а міръ, поэтому, вѣчно осуществляемымъ въ тѣхъ формахъ бытія, которыя онъ только и можетъ имѣть въ силу своей ограниченности,—въ формѣ бытія безконечнаго по пространству и времени.

Но подобного рода воззрѣніе не можетъ быть допущено, такъ какъ встрѣчаетъ себѣ сильное противодѣйствіе въ самыхъ понятіяхъ о Богѣ и мірѣ. Понятіе о вѣчной жизни и дѣятельности Божества вовсе не предполагаетъ, чтобы единственнымъ выраженіемъ этой дѣятельности могло быть только постоянное твореніе міра; напротивъ, такое понятіе о Богѣ ограничило-бы Его. Самый міръ, по его ограниченности и по его свойствамъ, не можетъ быть вѣчнымъ и безконечнымъ \*). Поэтому мы должны искать разъясненія и оправданія признака безконечности въ понятіяхъ пространства и времени не въ свойствахъ вицѣшняго или міроваго бытія, но въ свойствахъ нашего познанія.

Анализъ различныхъ воззрѣній на пространство и время привелъ насъ, какъ мы видѣли, къ тому заключенію, что они имѣютъ не только объективное, но и субъективное значеніе, то есть, они суть формы не только бытія, но и познанія. Но будучи общими знанію и бытію формами, они не суть въ тоже время формы абсолютно тождественные. по аналогичныя, болѣе или менѣе соотвѣтственныя. Если-бы они были абсолютно тождественными, то для насъ исчезло-бы различіе между познаніемъ и познаваемымъ; мы-бы должны признать тождество мышленія и бытія и принять всѣ результаты подобного воззрѣнія, какъ они выразились въ философіи Гегеля. Но если теперь пространство и время въ нашемъ умѣ не абсолютно тождественны съ пространствомъ и временемъ вицѣ нашего ума, то естественно ожидать, что понятія ихъ въ нашемъ разумѣ могутъ носить некоторые отличительные признаки, которые имѣютъ значеніе только для нашего познанія, не осуществляясь вполнѣ во вицѣшней, эмпирической дѣйствительности. Къ числу такого рода признаковъ и принадлежитъ безконечность. Понятіе безконечности, по самому характеру своему, есть чисто рациональное по происхожденію, субъективное понятіе; на опытѣ мы не находимъ ничего безконечнаго. Но не имѣя ничего соотвѣтствующаго себѣ въ эмпирической дѣйствительности, это понятіе, чтобы быть не мечтательнымъ или фиктивнымъ представленіемъ (невозможность

\*). Подробное разъясненіе вопроса о томъ: вѣченъ-ли міръ и безконечнъ-ли по пространству,—принадлежитъ рациональной космологіи.

чего мы видѣли), оно должно имѣть что-либо соответствующее себѣ въ самомъ напицемъ познающемъ субъектѣ, выраженіемъ и отображеніемъ чего оно могло бы служить. Что-же можетъ соответствовать въ нашемъ познанію этому понятію? Прежде всего, самое наше познаніе. Въ силу самого строя и превосходства нашей разумной природы наше познаніе не стѣснено и не ограничено предѣлами бытія, даннаго въ наличной дѣйствительности вѣнчшаго и внутренняго опыта. Оно простирается не только на реальное, но и на мыслимое или возможное бытіе. Но область возможнаго бытія, очевидно, неограничена; мы можемъ представить себѣ бесконечное множество тѣль, которыя по самому свойству вѣнчшаго бытія должны быть мыслимы не иначе, какъ протяженными; мы можемъ представить себѣ бесчисленное множество моментовъ бытія этихъ тѣль и измѣненій ихъ движенія (что все имѣеть мѣсто въ математикѣ); но для осуществленія этихъ представлений необходима умственная идея бесконечнаго пространства и времени. Такимъ образомъ, мы можемъ согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ философовъ, которые бесконечное пространство и время признаютъ формою не реальнаго, а возможнаго или идеальнаго бытія.

Но признавая бесконечное пространство и время адекватно формою возможнаго, слѣдовательно, неограниченного бытія, мы тѣмъ самымъ не уничтожаемъ-ли всякое значение этихъ понятій и не возвращаемся-ли съ нѣкоторымъ видоизмѣненіемъ къ мнѣнию тѣхъ философовъ, которые считаютъ ихъ простою фикцію или иллюзію воображенія? Бытіе возможное есть бытіе не существующее реально, слѣдовательно, фiktивное. Но не трудно убѣдиться, что есть существенное различіе между бытіемъ (логически) возможнымъ и бытіемъ фiktивнымъ; послѣдняго рода бытіе въ сущности есть бытіе невозможное; такого рода напр. созданія воображенія; но бытіе возможное есть бытіе логически мыслимое и потому могущее осуществиться, какъ скоро будутъ даны вѣнчшія условія его осуществленія. На этомъ характеристическомъ признакѣ бытія возможнаго утверждается вся состоятельность нашего чисто рациональнаго познанія, въ частности,—познанія математическаго. Мы на опытъ видимъ, что построенія и вычисления математической, не смотря на то, что совершаются въ представляе-

момъ, возможномъ или идеальномъ пространствѣ и времени, тѣмъ не менѣе находять свое полное приложеніе въ эмпирической дѣйствительности и составляютъ такимъ образомъ независимое отъ опыта, хотя и подтверждаемое опытомъ, познаніе ея.

Но значеніе рассматриваемыхъ нами понятій безконечнаго пространства и времени не ограничивается тѣмъ, что они суть субъективныя формы только возможнаго бытія. Такъ какъ пространство и время суть необходимыя формы не только бытія, но и познанія ограниченаго, какимъ въ сущности только и можетъ быть наше человѣческое познаніе, то очень естественно ожидать, что эту единственную возможную для нась гносеологическую форму мы станемъ прилагать и къ познанію того бытія, которое по существу своему не ограничено этой формою, — бытія абсолютнаго, вѣчнаго, божественнаго. Мы должны будемъ прилагать ее необходимо, такъ какъ иной формы познанія, кроме ограниченной, у нась нѣть и такъ какъ для существа ограниченного и условнаго не можетъ быть доступно полное воспріятіе или созерцаніе вѣчнаго и безконечнаго. Но тѣкъ какъ эта форма въ тоже время не адекватна воспринимающому содержанію, ибо безусловное не можетъ быть бытіемъ ограниченнымъ временемъ и пространствомъ, то единственный способъ по возможности уничтожить эту неадекватность состоитъ въ томъ, что мы, прилагая эту форму къ абсолютному, расширяемъ ее до безконечности, и сколько возможно уравниваемъ ее съ нимъ, т. е. вѣчное и безконечное мыслимъ подъ формою безконечно текущихъ моментовъ времени и беспредѣльного пространства. Съ этой точки зрења безконечное время есть не что иное, какъ движущійся образъ или символъ неподвижной вѣчности, а безграничное пространство, — образъ истинной безконечности. Отсюда видно, что глубочайшаго основанія того явленія, что пространству и времени мы приписываемъ признакъ безконечности, мы должны искать ни въ чёмъ иномъ, какъ въ принадлежащей нашему уму идей безконечнаго. Эта идея, составляющая преимущество высшей, духовно-разумной природы человѣка, простираетъ свое вліяніе на всѣ познавательныя его силы, въ томъ числѣ и на способность представлениія. Мы не только созерцаємъ, мыслимъ, но и представляемъ безусловное, вѣчное, неизмѣнное. Но какъ

скоро мы *представляемъ* его, то не иначе можемъ сдѣлать это, какъ въ формахъ свойственныхъ представленію и бытію, которое посредствомъ его познается, т. е. временно пространственныхъ формахъ, расширенныхъ до безконечности. Поэтому, если бы мы бытіе безусловное мыслили даже какъ существо личное, то и тогда, представляя это существо, нѣкоторыя свойства его, напр. вѣчность и вездѣприсутствіе должны бы представлять себѣ въ видѣ безконечно идущихъ моментовъ времени и въ видѣ наполненія или проникновенія безконечнаго пространства. Хотя нашъ разумъ въ своихъ *понятіяхъ* возвышается надъ этою ступенью представлениія и сознаетъ его неадекватность, но такъ какъ человѣкъ есть въ тоже время не только мыслящее, но и представляющее существо, то онъ и не можетъ никогда вполнѣ освободиться и отрѣшиться отъ этой гносеологической формы. Отсюда въ дѣйствительности и возникали многіе затруднительные вопросы какъ въ области религіознаго, такъ и философскаго знанія, разрѣшеніе которыхъ требовало долговременного труда и напряженія философской мысли. Какъ трудно отрѣшиться отъ этой представительной формы познанія безусловнаго; показываетъ не только исторія религіи, гдѣ человѣкъ на низшихъ ступеняхъ развитія неудержимо стремился, вопреки истинному смыслу идеи о Богѣ, представить Божество, какъ ограниченное пространствомъ и временемъ (политеизмъ), но и исторія философіи, которая, какъ мы видѣли, представляетъ по рѣдкіе примѣры отожествленія чистаго пространства и времени съ модусами или моментами развитія абсолютной субстанціи.

Если, такимъ образомъ, въ образованіи признака безконечности въ понятіяхъ пространства и времени мы должны признать участіе идеи безусловнаго, свойствъ котораго онъ служить отображеніемъ въ нашемъ представлениі, то мы уже не можемъ сказать, чтобы этотъ признакъ имѣлъ только субъективное значеніе въ томъ смыслѣ, что ему не соответствуетъ ничего реальнаго въ нашего познанія, потому что онъ указываетъ на нѣкоторыя реальные свойства бытія абсолютнаго. Но въ тоже время онъ не есть чистое отображеніе этого реального содержанія въ нашемъ умѣ; это содержаніе выражается въ формѣ бытія и познанія ограниченного; поэтому въ немъ находится неизбѣжная примѣсь субъективнаго эле-

мента, принадлежащаго нашему ограниченному познанию. Отсюда видно, что касается до вопроса о томъ, субъективный или объективный характеръ имѣть наше понятіе о безконечномъ пространствѣ и времени, то мы должны сказать тоже, что и о всѣхъ другихъ нашихъ представленияхъ и понятіяхъ, именно, что въ нихъ соединены субъективный и объективный элементы. Въ этомъ состоять характеристическая черта нашего человѣческаго познанія, ис препятствующая, впрочемъ, его достовѣрности, такъ какъ возвышающееся надъ непосредственнымъ сознаніемъ рациональное познаніе даетъ намъ возможность различить эти элементы и познать такимъ образомъ подлинное бытіе вещей.

Въ предыдущемъ нашемъ изслѣдованіи о пространствѣ и времени мы рассматривали эти понятія преимущественно съ метафизической точки зреіпія, независимо отъ вопроса о происхожденіи этихъ понятій въ нашемъ умѣ. Это потому, что, какъ мы и замѣтили, решеніе вопроса о значеніи этихъ понятій не связывается необходимо съ вопросомъ объ ихъ происхожденії. Будутъ-ли эти понятія независимыми отъ опыта априорными формами нашей чувственно-познавательной способности, какъ думалъ Кантъ,—это, какъ мы видѣли, не мѣшаетъ быть имъ въ тоже время и реальными формами вещей, впѣ нашей познавательной способности. Будутъ-ли происходить эти понятія изъ опыта, какъ полагаютъ эмпирики, такое происхожденіе ихъ не дастъ еще отвѣта на вопросъ, что-же такое пространство и время сами по себѣ, точно также какъ напр. эмпирическое происхожденіе представлений о свѣтѣ, звукахъ и пр. не дастъ еще познанія о томъ, что такое звукъ, свѣтъ, сами по себѣ.

Но вопросъ о происхожденіи понятій о пространствѣ и времени, не связанный непосредственно съ решеніемъ метафизического вопроса объ ихъ сущности, имѣть важное гносеологическое значение въ борьбѣ между эмпиризмомъ и рационализмомъ относительно происхожденія нашего познанія вообще. Всѣ-ли наши познанія обязаны своимъ происхожденіемъ вѣнѣнному опыту, или въ нашемъ познаніи есть априорный, не эмпирический элементъ,—для решенія этого вопроса, кроме изслѣдованія содержания категорическихъ понятій и идей, издавна прибегали къ анализу понятій математическихъ. За-

щитники раціоналізма обикновенно указували на эти понятія, какъ на одно изъ сильнейшихъ доказательствъ существованія априорныхъ познаній въ нашемъ умѣ. Математика, независимая въ своихъ построеніяхъ и вычисленіяхъ отъ всякаго опыта, повидимому, представляла самое ясное и наглядное подтвержденіе возможности и дѣйствительности чисто раціонального познанія. Сенсуалисты старались ослабить это доказательство различными попытками объяснить возможность чисто эмпірическаго происхожденія математическихъ истинъ. Но такъ какъ математическая истина очевидно предполагаютъ въ своей основѣ понятія пространства и времени, то понятно, что вопросъ о происхожденіи этихъ истинъ неразрывно связанъ съ вопросомъ о происхожденіи идей пространства и времени въ нашемъ умѣ и рѣшеніе этого... послѣдняго вопроса должно предшествовать рѣшенію первого..

1. Какъ возникаютъ въ нашемъ умѣ представлениа о пространствѣ и времени? Для рѣшенія этого вопроса, повидимому, возможны два пути,—раціональный и эмпірический. Мы можемъ подвергнуть логическому анализу эти понятія, опредѣлить ихъ существенные признаки и затѣмъ решить вопросъ: возможно ли объяснить происхожденіе этихъ признаковъ изъ влішняго опыта на основаніи того, что мы знаемъ о сущности и границахъ этого опыта? Или мы можемъ сдѣлать попытку чисто опытнымъ путемъ открыть дѣйствительный, психологический генезисъ этихъ понятій въ нашемъ умѣ и такимъ образомъ решить, эмпірическаго они или априорного происхожденія.

Какъ известно, первымъ путемъ, для рѣшенія вопроса о происхожденіи рассматриваемыхъ нами понятій, шелъ Кантъ, которому первому принадлежитъ несомнѣнная заслуга строгаго философскаго анализа этихъ понятій, установления ихъ характеристическихъ признаковъ и доказательства, на основаніи этихъ признаковъ, ихъ не эмпірическаго происхожденія. Кантъ, какъ мы видѣли, представилъ вполнѣ основательныя доказательства, что возврѣнія пространства и времени не могутъ, ни непосредственно происходить изъ опыта, ни быть отвлечеными отъ эмпірическихъ представлений понятіями, такъ какъ для самого представления частныхъ явлений, существующихъ гдѣ нибудь въ опредѣленномъ мѣстѣ, или когда нибудь въ

определенное время, мы должны уже иметь предшествующую возврѣпія пространства и времени вообще. Затѣмъ, въ характеристическихъ признакахъ этихъ возврѣпій,—ихъ всесообщности, необходимости и безконтактности, онъ справедливо видѣлъ указание на то, что понятія о нихъ не эмпирическаго происхожденія, такъ какъ на опыте мы не видимъ ничего всесообщаго, необходимаго, безконтактнаго. На основаніи опыта и основанной на немъ индукціи мы никогда не имѣли бы права сказать, что все вещи необходимо существуютъ въ пространствѣ и времени, или что пространство и время должны быть мыслимыми пами, какъ бесконечное протяженіе и продолженіе. Если дальнѣйший затѣмъ выводъ Канта, что, будучи не эмпирическаго происхожденія, пространство и время не имѣютъ *по-тому самому* и эмпирической реальности и суть только субъективныя формы нашего познанія, оказался посостоятельнымъ и не вытекающимъ строго логически изъ его собственной теоріи, то это нисколько не ослабляетъ состоятельности посылокъ, изъ которыхъ сдѣланъ такой неправильный выводъ,—ученія объ априорности понятій пространства и времени.

Но можетъ быть путь, избранный Кантомъ для решенія вопроса о происхожденіи этихъ понятій, былъ выбранъ неудачно и потому онъ могъ прийти и къ невѣрному заключенію? Не разъ упрекали Канта за то, что его анализъ этихъ понятій есть не психологический, а скорѣе логической или метафизической, что вообще въ своихъ психологическихъ возврѣніяхъ онъ вполнѣ стоялъ на точкѣ зреінія современной ему философіи и что онъ не обратилъ должнаго вниманія на дѣйствительный психологический генезисъ признанныхъ имъ за априорные возврѣніи, категоріи и идеи. Не входя здѣсь въ оценку собственно психологическихъ возврѣній Канта, замѣтимъ только, что по отношенію къ вопросу о происхожденіи понятій о пространствѣ и времени онъ избралъ вѣрный и, при этомъ, кратчайший путь: что никакая специально психологическая изслѣдованія не могли бы изменить того окончательнаго результата, къ которому онъ пришелъ. Можеть быть, эти изслѣдованія были бы и не излишними, но только какъ отрицательное доказательство въ пользу его теоріи, именно,—что эмпирическимъ путемъ нельзя объяснить происхожденія указанныхъ имъ характеристическихъ признаковъ.

пространства и времени. Что такое отрицательное доказательство было-бы вполнѣ возможно, свидѣтельствуетъ до сихъ поръ продолжающаяся неудача попытокъ опровергнуть заключенія Канта при помощи психологіи и объяснить происхожденіе этихъ понятій путемъ эмпирическимъ. На этотъ путь, съ большою надеждою на успѣхъ, устремились всѣ защитники односторонне эмпирическаго воззрѣнія на происхожденіе нашихъ познаній. Послѣ Канта появилось много прекрасныхъ психологическихъ, отчасти физіологическихъ, изслѣдований о томъ, какъ постепенно, подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ эмпирическихъ впечатлѣній, образуются въ насъ представленія и сужденія о различныхъ пространственныхъ и временныхъ отношеніяхъ вещей. Сами по себѣ эти изслѣдованія имѣютъ несомнѣнное научное значеніе въ области психологіи. Но подъ вліяніемъ столь распространенныхъ въ наше время сенсуалистическихъ и материалистическихъ теорій, эти изслѣдованія нерѣдко принимаютъ тенденціозный характеръ доказательства той мысли, будто самыя понятія пространства и времени чисто эмпирическаго происхожденія, что нашъ умъ при образованіи ихъ находится въ чисто пассивномъ состояніи, не внося въ нихъ съ своей стороны никакого активнаго, априорнаго элемента. Но и не входя въ частный разборъ этихъ, очень разнообразныхъ, впрочемъ, психологико-физіологическихъ теорій, что составляетъ задачу психологіи, не трудно замѣтить, что сами по себѣ они не приводятъ и не могутъ привести ни къ какому решительному выводу о первоначальномъ источнике разматриваемыхъ нами понятій; этотъ выводъ не вытекаетъ изъ нихъ логически, но можетъ быть только привязанъ къ нимъ съ предзанятіемъ мыслю. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти изслѣдованія говорятъ намъ только о происхожденіи и постепенномъ образованіи подъ вліяніемъ опыта нашихъ сужденій о величинѣ, относительномъ положеніи, близости и удаленности отъ насъ предметовъ, скопости и медленности ихъ движенія и т. п. Но ни одинъ рационалистъ никогда и не утверждалъ, будто подобного рода сужденія мы составляемъ a priori независимо отъ опыта и не отвергалъ несомнѣнныхъ показаній опыта о ихъ постепенномъ образованіи. Поэтому, вооружаясь фактами, свидѣтельствующими объ эмпирическомъ происхожденіи частныхъ вр-

менно-пространственныхъ определеній, какъ оружиемъ противъ рационализма, эмпиризмъ, очевидно, попадаетъ не въ цѣль и сражается съ фантомомъ собственного воображения, такъ какъ воюетъ противъ мысли, которую не думаетъ защищать рационализмъ. Что же собственно защищаетъ рационализмъ, говоря объ апріорности попытій пространства и времени? Очевидно, не то, что эмпирическія определенія времени и пространства реально существующихъ вещей образуются въ нась a priori, но то, что самая основная идеи, лежащія въ основе этихъ определеній,— идеи такъ называемаго чистаго пространства и времени не происходятъ изъ опыта. Но къ опроверженію этой мысли не могутъ служить специальные изслѣдованія, напр., о происхожденіи представлений о разстояніи, о величинѣ, объ относительномъ положеніи предметовъ и пр., потому что эти представленія уже производны; они предполагаютъ за собою идеи пространства и времени и безъ нихъ не могли бы образоваться. Чтобы сказать напр.: этотъ предметъ ближе, дальше, больше, меньше другаго, мы должны имѣть вѣкото-рое предварительное представление о пространствѣ, въ кото-ромъ помѣщаются предметы, и о величинѣ вообще. Но про-исходять-ли эти основные идеи изъ опыта или нѣтъ, непо-средствѣнныиий опытъ ничего сказать не можетъ, потому что, по справедливому замѣчанію Канта, они предшествуютъ вся-кому, по крайней мѣрѣ, сознательному опыту и только полу-чаютъ дальнѣйшую определенность и развитіе при помоши опыта въ сужденіяхъ о внѣшнихъ, эмпирическихъ временно пространственныхъ отношеніяхъ вещей. Поэтому, чтобы чисто-эмпирическимъ путемъ самонаблюденія сказать что-нибудь объ этихъ основныхъ, предваряющихъ всякий опытъ, понятіяхъ, мы должны-бы обратиться къ этому, такъ сказать, предсознатель-ному опыту, къ такому состоянію души въ самомъ раннемъ періодѣ ея жизни, которое или предшествовало возникновенію какихъ-бы то ни было представлений о временно-пространственныхъ вещахъ или, по крайней мѣрѣ, выражало-бы первый моментъ ихъ возникновенія. Но очевидно, что подобного рода психологический опытъ, касающійся первыхъ моментовъ воз-никновенія въ душѣ представлений о вещахъ,—невозможенъ. Отсюда видно, что эмпирікъ, ищущій въ генезисѣ перво-начальныхъ временныхъ и пространственныхъ определеній

реальныхъ вещей разрешенія вопроса о происхожденіи понятій времени и пространства вообще, никакъ не можетъ достигнуть своей цѣли, если думаетъ стоять на почвѣ одного чистаго опыта. И его заключеніе объ эмпирическомъ происхожденіи этихъ понятій вовсе не будетъ результатомъ прямаго наблюденія, а именно только умозаключеніемъ отъ тѣхъ или другихъ общихъ свойствъ представлений, условливаемыхъ этими понятіями, къ первоначальному (недоступному опыту) ихъ источнику. Поэтому такъ называемый эмпирическій или психологическій путь рѣшенія вопроса о происхожденіи рассматриваемыхъ нами понятій вовсе не такъ различенъ отъ пути, избраннаго Кантомъ, какъ то можно предположить на первый взглядъ. Если-же результатъ, къ которому приходитъ по такъ называемому эмпирическому пути, столь различенъ отъ заключеній Канта, то это зависитъ не столько отъ метода рѣшенія вопроса, сколько отъ неправильности и пелогичности того вывода, который дѣлается изъ данныхъ опыта.

Когда эмпирікъ говоритъ, что понятія пространства и времени происходятъ изъ виѣшняго опыта, то онъ предполагаетъ тѣмъ самымъ, что элементы ихъ заключаются въ данныхъ этого опыта; ибо, очевидно, опытъ не могъ бы дать нашей душѣ того, чего онъ самъ въ себѣ не заключается. Но дѣйствительно - ли эти элементы находятся въ данныхъ опыта? Какъ известно, виѣшніе предметы мы воспринимаемъ не иначе, какъ посредствомъ ощущеній при помощи нашихъ чувствъ, или что тоже, — предметы виѣшняго міра даны намъ только въ нашихъ ощущеніяхъ. Но не трудно замѣтить, что въ этихъ ощущеніяхъ, самихъ по себѣ, не заключается ничего пространственного и временнаго, ничего, что давало-бы понятіе о бытіи предметовъ одинъ подъ другого и одинъ послѣ другаго. Въ ощущеніяхъ ближайшимъ образомъ не заключается ничего, кроме ихъ собственного специального (по различию чувствъ) содержанія; чтобы представленіе напр. *a* находилось или лежало подъ представлениемъ *b* или слѣдовало послѣ него, этого не заключается ни въ *a* ни въ *b*. Определенный напр. звукъ, который я слышу, есть только этотъ опредѣленный звукъ и ничего болѣе; что опь слѣдуетъ послѣ другаго звука, этого я не слышу; самое послѣдовательность звуковъ во времени, не есть предметъ ощущеній слуха.

Точно также въ представленихъ чувства зрѣнія я вижу не пространство, а свѣтъ и цвѣтъ; самое нахожденіе одного предмета *подлѣ* другаго не есть объектъ чувства зрѣнія; поэтому и самыя воззрѣнія или представлениа, въ которыхъ мы воспринимаемъ предметъ, не сознаются нами, какъ лежащія въ душѣ одно подлѣ другаго, или одно позади другаго. Отсюда слѣдуетъ заключеніе, что пространство и время первоначально не заключаются въ самыхъ ощущеніяхъ, но только присоединяются къ нимъ въ нашемъ сознаніи въ самый моментъ ихъ возникновенія и затѣмъ, въ силу сознанія, что эти ощущенія суть не наши субъективные продукты, но впечатлѣнія внѣшнихъ объектовъ, относятся нами и къ внѣшнему миру какъ реальныя пространственные и временные опредѣленія тѣхъ или иныхъ предметовъ. Вслѣдствіе же разнородности впечатлѣній и сами пространственные (равно и временные) опредѣленія являются разнородными, опредѣляясь въ этой разнородности не субъективнымъ произволомъ, но именно различиемъ и особенностями самихъ ощущеній. Отсюда и возникаютъ конкретная временно пространственные опредѣленія, показать образованіе которыхъ въ связи съ различиемъ и взаимнымъ отношеніемъ ощущеній и составляетъ дальнѣйшую задачу психологии \*).

\*) Для подтверждѣнія нашего вывода о невозможности вывести понятія о пространствѣ и времени эмпирическимъ путемъ изъ однихъ ощущеній, изъ многочисленныхъ, попытокъ этого рода, остановимся на одной довольно распространенной и раздѣляемой въ числѣ другихъ и извѣстнымъ съствоепытателемъ Гельмольцомъ. Гельмольц соглашается, что въ ощущеніяхъ чувства зрѣнія непосредственно не дано намъ никакого понятія о разстояніи. И наблюденія надъ слѣпопорожденными, получившими зрѣніе при помощи операции, показываютъ, что все предметы первоначально кажутся памъ лежащими на одной плоскости, какъ на картишѣ. Однако-же, не смотря на то, что мы извѣстное ощущеніе иссыщываемъ въ глазѣ, тѣмъ не менѣе предметъ ощущенія считаемъ находящимся въ наст., въ пространствѣ. Отъ чего это происходитъ? Гельмольцъ, вмѣстѣ съ другими сенсуалистами (напр. Кондильякомъ), объясняетъ это явленіе тѣмъ, что здѣсь на помощь чувству зрѣнія приходитъ осознаніе. Ощупывая видимый предметъ рукою, мы скоро убѣждаемся, что онъ находится въ наст., Отсюда мало по-малу мы привыкаемъ относить изображеніе, находящееся на сѣтчатой оболочки глаза, къ чему-то въ наст. находящемуся и получаемъ такимъ образомъ понятіе о пространствѣ. Однако-же, чтобы руководствоваться осознаніемъ для опредѣленія разстоянія предметовъ, нужно прежде всего, чтобы памъ глазъ видѣть самую свою руку не въ

Что первоначальный источникъ нашихъ понятій о пространствѣ и времени не можетъ заключаться въ ощущеніяхъ виѣшняго опыта, это, кромѣ анализа содержалія ощущенія, показываетъ и самая сущность этихъ понятій. Пространство и время мы опредѣлили, какъ форму ограниченія всего бытія условнаго. Но подъ понятіе такого бытія, очевидно, подпадаетъ не только міръ виѣшпій, матеріальный, но и собственное наше я, въ какой мѣрѣ и оно есть бытіе условное и ограниченное. Но въ такомъ случаѣ, если формы пространства и времени составляютъ одинаково формы какъ виѣшняго, такъ и внутренняго бытія, то памъ уже неѣть никакой нужды, для объясненія происхожденія понятій обѣихъ, выходитъ виѣть себя, въ область опыта виѣшняго. Естественное и скорѣе всего источника ихъ мы можемъ искать въ этомъ послѣднемъ внутреписемъ бытіи, въ сознаніи нашимъ я существенно принадлежащихъ ему способовъ существованія. На этотъ именно источникъ, какъ мы видѣли, указываетъ уже отсутствіе элементовъ пространства и времени въ первоначальномъ чувственномъ ощущеніи, между тѣмъ какъ, наоборотъ, въ нашемъ собственномъ самосознаніи, при самомъ начальномъ его обнаруженіи, мы уже встрѣчаемъ болѣе или менѣе ясное ощущеніе указанныхъ нами формъ нашего существованія. Что касается до времени, то возможность такого субъективнаго происхожденія представлена о немъ очевидна; о времени мы ближайшимъ образомъ получаемъ понятіе изъ ощущенія течения собственной нашей жизни, изъ постоянной смены ся моментовъ; такъ я сознаю свое прошедшее въ послѣдо-

---

глазѣ, а виѣ его на извѣстномъ разстояніи. Отсюда видно, что для того, чтобы употребить въ дѣло свою руку для пріобрѣтенія понятія о пространствѣ, человѣкъ долженъ имѣть уже понятіе о пространствѣ, т. е. видѣть самую свою руку, какъ неѣчто лежащее въ опредѣленномъ разстояніи отъ глаза. Не говоримъ о другихъ затрудненіяхъ принять представленное объясненіе. Каждый, кто наблюдалъ дѣтей, знаетъ что у нихъ зрѣніе развивается гораздо раньше осознанія рукою; для рано понимаѣтъ, что извѣстные предметы находятся виѣ его, хотя никогда не училось этому посредствомъ ощупыванія. У животныхъ это видно еще яснѣе. Цыпленокъ, только что вышедший изъ ляйца, тотчасъ начинаетъ искать зерна; еслибы ему сначала нужно было учиться проекціи посредствомъ осознанія, то онъ умеръ бы съ голоду. О Гельмгольцѣ см. Чичерина „Наука и Религія“, 46. Тамъ же критика ученія о пространствѣ Вундта

вательности пережитыхъ состояній. Трудъе, повидимому, соглашься съ мыслю о субъективномъ, априорномъ происхождении идей пространства, такъ какъ оно принадлежитъ исключительно вѣшнимъ предметамъ; душа наша не есть прѣятственное цѣлое; отсюда естественно думать, что и понятие о немъ образуется именно путемъ ощущенія этихъ вѣшнихъ, пространственныхъ предметовъ. Но мы забываемъ при этомъ, что наша *человѣческая* природа не есть исключительно духовная сущность, что наше я паходится въ тѣснѣшемъ соединеніи съ организмомъ и что это соединеніе не есть механическое только сближеніе двухъ противоположныхъ субстанцій, но органическое и непосредственное единеніе. Поэтому и понятіе коренной формы бытія вѣшняго можетъ быть дано непосредственно, какъ сознаніе одной изъ перараздѣльныхъ (въ настоящее время) сторонъ нашей собственной духовно-органической природы. Въ пространствѣ мы сознаемъ форму не только чуждаго себѣ, но и своего собственного бытія, точно также какъ, напримѣръ, въ ощущеніяхъ нашихъ чувственныхъ органовъ, въ различныхъ физиологическихъ чувствованіяхъ, напримѣръ — усталости, различного мускульного напряженія, различныхъ видовъ боли разныхъ частей тѣла мы сознаемъ не чуждыя себѣ состоянія, но наши собственные состоянія. Въ этомъ смыслѣ не только время, но и пространство мы можемъ назвать формою нашего собственного бытія, въ какой мѣрѣ человѣкъ есть существо не чисто духовное, по духовно-органическое; а съ этимъ вмѣстѣ дается и возможность чисто априорного происхожденія понятія не только времени, но и пространства.

Но если анализъ содержанія чувственнаго ощущенія показываетъ невозможность искать первоначальпаго источника этихъ понятій въ чувственномъ опыте, если самая сущность ихъ, какъ формъ не только вѣшняго, но и внутреннаго бытія, дѣлаетъ возможной и вѣроятною мысль объ ихъ субъективномъ происхожденіи, то эта возможность превращается въ несомнѣнность, какъ скоро вспомнимъ о тѣхъ характеристическихъ признакахъ этихъ понятій, съ какими они являются въ нашемъ умѣ и которые съ такою ясностію указаны Кантомъ. Такъ, напр., мы съ абсолютнотою, не допускающею исключеній, необходимостію утверждаемъ о времени, что все

подлежитъ закону временнаго бытія, измѣняется, имѣть начало и конецъ бытія. Но могли-ли-бы мы утверждать это па основаніи опыта и наблюденія? Опытъ, напротивъ, въ природѣ представляетъ памът много постояннаго и неизмѣннаго во все время, пока продолжается наблюденіе, не только единичнаго лица, но и цѣлыхъ поколѣній человѣчества. Такъ, напр., сколько ни живеть человѣкъ, онъ видить ту же землю, то-же солнце и луну, тѣ-же горы и моря. Но человѣку во все не нужно было ждать появленія геологии и астрономіи, чтобы убѣдиться, что все это произошло; имѣло начало во времени. Безъ всякаго опыта, а priori онъ съ древнѣйшихъ временъ признавалъ начало міра и гадаль о концѣ его. Самое возникновеніе наукъ, занимающихся решеніемъ вопроса о происхожденіи природы, было-бы невозможномъ, если-бы уму человѣка не предносилаасьaprіорная идея безконечнаго времени, съ его опредѣляющими каждый эмпирическій предметъ моментами настоящаго, прошедшаго и будущаго. Тотъ-же самый aprіорный, необъяснимый эмпирически элементъ находимъ и въ понятіи пространства. На опытѣ мы видимъ отдельные, ограниченные пространствомъ, предметы; слѣдовательно, на основаніи опыта, путемъ индукціи мы должны-бы заключить, что и самое пространство, равно какъ и весь міръ по протяженію, долженъ быть ограниченъ. Но между тѣмъ, вопреки опыту, мы представляемъ, и притомъ необходимо, пространство неограниченнымъ. Какимъ образомъ можно объяснить происхожденіе такого противорѣчашаго опыту понятія изъ самаго же опыта? Эмпиріки, и въ числѣ ихъ Милль, объясняютъ возникновеніе понятія о безконечности пространства тѣмъ, что на опытѣ мы никогда не видимъ предмета, за которымъ не было-бы другаго предмета; отсюда заключаемъ, что рядъ пространственныхъ предметовъ, слѣдовательно и самое пространство, идетъ въ безконечность. Но при крайней ограниченности нашего опыта, въ сравненіи съ громадностью природы, такое заключеніе было-бы крайне послѣднѣмъ, въ высшей степени гипотетическимъ, что совершенно не соответствуетъ той априоритической увѣренности, съ ка-кою мы представляемъ себѣ всѣ предметы существующими въ пространствѣ, а самое пространство безконечнымъ. Даже въ кругу нашего ограниченного наблюденія мы, довольствуясь

только наблюдениемъ, не можемъ сказать, что за каждымъ данимъ предметомъ непремѣнно долженъ слѣдовать другой и такъ далѣе въ безконечность. Такъ, напримѣръ, перемѣння мѣсто, двигаясь отъ одного предмета къ другому, мы за однимъ предметомъ постоянно открываемъ новые и новые предметы; но если мы, двигаясь далѣе и далѣе, обѣдемъ весь земной шаръ, то снова встрѣтимъ прежніе предметы и должны будемъ прийти къ эмпирическому заключенію, что рядъ предметовъ вѣвсе не идетъ въ безконечности. Но намъ могутъ сказать: оставьте землю, поднимите глаза къ небу и вы увидите надъ собою безконечный небесный сводъ, за которыми уже ничего не видно или, что тоже, — видно безконечное пространство. Что за предѣлами, доступными нашему простому и телескопическому зрѣнію мы ничего не видимъ; — это такъ; но что это невидимое есть безконечное пространство, это мы можемъ предполагать или лучше, — воображать, въ слѣдствіе нашегоaprіорнаго понятія о пространствѣ, но никакъ не на основаніи опыта, который никогда не можетъ эмпирически доказать намъ этого. Каждое видимое нами пространство ограничено и потому никакъ не можетъ служить источникомъ представлениія о чёмъ либо безграничномъ и безконечномъ.

Правда, намъ говорятьъ, что, присоединяя въ мысли одно ограниченное пространство къ другому, мы можемъ получить представлениіе о пространствѣ безграничномъ, такъ какъ этотъ процессъ присоединенія, въ силу наблюденія, показывающаго постоянно слѣдоваліе одного пространственного предмета за другимъ, мы можемъ по законамъ иллюкціи считать идущимъ въ безконечность; такъ — изъ соединенія множества кирпичей составляется цѣлый домъ и представлениe кирпичей здѣсь въ нашемъ умѣ предшествуетъ представлению дома. Но присоединя одно пространство къ другому, мы, очевидно, можемъ получать только представлениія большаго и большаго пространства, но никакъ не дѣйствительно безконечнаго пространства. О неудачности же представленнаго (Кирхманомъ) примѣра и говорить нечѣ; сколько бы и какъ-бы мы ни складывали въ умѣ кирпичей, мы никогда не получимъ понятія о домѣ, а только о большемъ и болѣшемъ количествѣ кирпичей.

2. Если теперь первоначального источника понятий о чистом пространстве и времени съ ихъ существенными признаками: всеобщности, необходимости и бесконечности мы, на основании самыхъ этихъ признаковъ, должны искать не въ опыте, а въ самомъ разумѣ, признавать ихъ, следовательно, понятиями априорными, то второй выставленный нами вопросъ, о происхождении математического познанія, въ принципѣ решается самъ собою. Этого рода познаніе, какъ всецѣло основанное на идеяхъ чистаго пространства (геометрія) и времени (ариѳметика) также не можетъ происходить изъ опыта и наблюденія падь данными опыта. Оно есть чисто рациональное познаніе.

Что наши математическія познанія не происходятъ изъ опыта, это наглядно показываетъ уже самый обыкновенный опытъ. Производя ариѳметическія операции съ миллионными и билліонными цифрами, мы не спрашиваемъ съ опытомъ, вѣрны ли наши вычисления; мы успокойимо уверены, что наши, правильно составленныя, вычисления вѣрны, хотя бы простирались на такія громадныя цифры, которымъ ничто не соответствуетъ въ действительности и которыхъ мы никогда не можемъ проверить на опытѣ. Точно также мы мысленно чертимъ геометрическія фигуры, разнообразно комбинируя ихъ, опредѣляемъ различныя отношенія ихъ, не спрашиваясь, существуетъ ли действительно что либо похожее на эти фигуры и построения въ природѣ. Напротивъ, мы очень хорошо понимаемъ, что въ сущности геометрическимъ линіямъ, фигурамъ и ихъ комбинаціямъ неѣтъ ничего реально соответствующаго; въ природѣ неѣтъ идеального математического круга, треугольника, квадрата, какъ неѣтъ геометрической точки и не имѣющей никакой ширины и толщины линіи.

По самымъ иссомыѣннымъ доказательствомъ априорного происхождения математическихъ истинъ служитъ то, что они несутъ тѣ же существенные признаки необходимости и всеобщности, какъ и тѣ коренные понятия, на которыхъ они основаны. Распространяться обѣ этихъ свойствахъ математическихъ положений неѣтъ нужды. Разъ математическая формула, начиная съ самой простой ариѳметической истины и кончая самыми сложными геометрическими построениями, разъяснена и понята, она безспорно принимается всѣми, какъ необходима.

мая и неопровергимая истина. Достовѣрность математики вошла въ пословицу; „это вѣрно, какъ дважды два чѣтыре“; это доказано съ математическою точностью.

Но такого рода необходимыя, всеобщія и абсолютно достовѣрныя познанія, какія мы видимъ въ математикѣ, не могутъ быть приобрѣтаемы путемъ опыта и основанной на опыте индукціи. Опытъ и индукція, какъ показываетъ логика, могутъ привести къ членю вѣроятному, но не къ несомнѣнному и потому имѣющему силу всеобщей обязательности для разума. Чтобы убѣдиться въ этомъ, возьмемъ самый простой примѣръ:  $75+25$  даютъ въ итогѣ 100. Въ достовѣрности и всеобщности этой истины я вполнѣ увѣренъ, не имѣя пужды прибѣгать къ опыту и къ дѣйствительному перечисленію предметовъ. Если-бы я эмпирическимъ путемъ долженъ былъ убѣдиться, что это *всегда* бываетъ такъ, то я долженъ бы произвести рядъ многочисленныхъ, систематическихъ опытовъ и наблюденій; я бы долженъ изслѣдовать, не измѣнится ли это положеніе, если мы подвернемъ счету не однаковые, а совершенно разнородные предметы, возьмемъ ихъ при различныхъ сочетаніяхъ и обстоятельствахъ. Но при ограниченности доступныхъ нашему опыту предметовъ, мы, при всемъ томъ, не могли-бы достигнуть здѣсь аподиактической достовѣрности.

Но можетъ быть (какъ и говорятъ эмпирики), чтобы достигнуть такой достовѣрности, памъ вовсе не нуженъ такой продолжительный и неосуществимый на дѣлѣ путь. Можетъ быть, наблюдая довольно значительное число случаевъ, когда  $75+25$  даютъ въ итогѣ сто, мы сейчасъ спѣшимъ обобщить эту истину, заключаемъ, что и во *всѣхъ* случаяхъ, кроме наблюдавшихъ нами, получается тотъ-же результатъ, — дѣлаемъ такъ называемую пеполнную индукцію. Можетъ быть даже и въ такой неполной, сознательной индукціи нѣтъ нужды; часто повторяющіеся случаи, когда  $75+25$  даютъ 100, неизвѣстно возбуждаютъ въ умѣ известную ассоціацію идей и наша мысль такъ привыкаетъ къ этой ассоціаціи, что она принимаетъ видъ всеобщей и необходимой истины. Но въ такомъ случаѣ, что-же становится съ достовѣрностію и несомнѣнностію математики, которая выставляется какъ образецъ самыхъ достовѣрныхъ познаній? Не будутъ-ли всѣ математич-

скія истины, напротивъ, самыми поспѣшными и логически несостоительными обобщеніями или простыми фактами привычки, безъ всякой гарантіи своей истины? Не говоримъ о томъ, что подобное объясненіе всеобщности математическихъ истинъ можетъ быть приложено только къ очень небольшому количеству и притомъ простѣйшихъ ариометрическихъ и геометрическихъ положеній, которые могутъ дозволять проверку на опыте (какъ въ примѣрѣ нами представленномъ). Но какъ объяснить отсюда операции, производимыя надъ громадными рядами цифръ, которымъ ничего не соотвѣтствуетъ на опыте? Между тѣмъ вся ариометрическая операция, будутъ ли они совершаться надъ малыми или громадными цифрами, мы со знаемъ одинаково достовѣрными и имѣющими всеобщее значеніе и приложеніе, что ясно говорить о независимости ихъ отъ опыта.

Казалось-бы трудно спорить противъ столь очевидной истины, какъ рациональное происхожденіе и, въ силу этого, необходимость, всеобщность и абсолютная достовѣрность математического познанія. Но признать это значило-бы подорвать въ корень основной, гносеологический принципъ сенсуализма, что въ нашемъ познаніи нѣтъ ничего, что не происходило бы изъ опыта. Признать это значитъ допустить, что въ нашемъ духѣ существуетъ самостоятельная способность понимать независимо отъ опыта. Итакъ, сенсуализму для собственного спасенія, во что-бы то ни стало, нужно доказать: а) возможность эмпирическаго происхожденія математики, а въ следствіе этого б) эмпирический характеръ и самыхъ математическихъ положеній, т. е. что эти положенія имѣютъ только вѣроятное, а не несомнѣнное значеніе \*).

\*). Априорное происхожденіе математики, отрицаютъ вообще всѣ философы эмпирическаго направленія. Но особенно оживленные споры этотъ вопросъ избудилъ въ Английской философіи, на которую здѣсь сильно воздѣйствовало видѣніе Юма. Дюгальдъ Стюартъ, вообще не принадлежащий къ числу его последователей, защищалъ однакоже мысль, что всѣ наши геометрическія положенія основаны на гипотезахъ и потому не могутъ имѣть абсолютной достовѣрности. Защитникомъ этого ученія явился извѣстный астрономъ Гершель и, затѣмъ, почти во всемъ съ нимъ согласный Д. С. Милль, какъ въ своей логикѣ, такъ и въ полемикѣ противъ Вевеля, отстаивавшаго априорность математики. Объ этой полемикѣ см. Lange: Geschichte d. Materialismus. 1874. 2 В. р. 16, 17, 116—118.

а) Что въ настоящее время при ариѳметическихъ вычисленияхъ и геометрическихъ построенияхъ никто не прибѣгасть ни къ опыту, ни къ проверкѣ опыта, это, говорять, ис-сомнѣнно. Но вопросъ въ томъ, какъ *первоначально* дошелъ человѣкъ до представлениія числовыхъ отношений и основныхъ геометрическихъ построеній и ихъ элементарныхъ комбинацій? Конечно, при помощи опыта. Видя, что два предмета, напр. камня или яблока, и два такихъ-же предмета даютъ постоянно одинаковое число предметовъ, — четыре, онъ, на основаніи простаго наблюденія, пришелъ къ убѣждению, что и отвлеченные отъ предметовъ ихъ обозначенія по количеству или числа всегда должны относиться одинаковыми образомъ. Точно также и въ геометріи; отвлеченные, лежащія въ основаніи фигуры: круга, линіи, плоскости, квадрата и т. и., человѣкъ не изобрѣлъ *a priori*, но составилъ при помощи идеализаціи наблюдавшихъ имъ эмпирическихъ предметовъ; солнце напр. или луна могли дать ему понятіе о кругѣ, ровная гладь рѣки или океана — о плоскости, прямые предметы, напр., жердь или древесный стволъ, — о линіи; призматическая формы кристалловъ о другихъ геометрическихъ фигурахъ. Не будь на опыте исчисляемыхъ предметовъ или вещей аналогичныхъ съ геометрическими фигурами, человѣкъ никогда не создалъ-бы ни ариѳметики, ни геометріи.

При этомъ объясненіи эмпирическаго происхожденія математики, въ опроверженіе рационального ся начала, очевидно берется не реальный, а только возможный и предполагаемый, или лучше, воображаемый фактъ. О первоначальной исторіи происхожденія математики и геометріи, конечно, никто ничего сказать не можетъ. Замѣною невозможаго здѣсь исторического опыта могло-бы служить наблюденіе надъ образованіемъ математическихъ понятій у дѣтей; по аналогіи мы могли-бы отсюда заключать о способѣ везниковенія такого рода понятій въ человѣчествѣ. Но элементарныя математическія представлениія (а не слова обозначающія ихъ) образуются такъ рано, что и здѣсь опытъ не можетъ дать никакого определенного отвѣта. Напротивъ, дальнѣйшее развитіе математического пониманія, говоритъ скорѣе противъ, чѣмъ въ пользу представленнаго объясненія. Для того, чтобы объяснить ребенку сложеніе, вычитаніе, умноженіе, дѣленіе, нѣтъ никакой

нужды производить предварительные операции падь камнями, яблоками или пальцами. Подобного рода операции могутъ, конечно, своею наглядностью помочь не твердому еще отвлеченному мышлению, объясняя или иллюстрируя абстрактныя понятія конкретными представленими; но само собою понятно, что не въ этихъ иллюстраціяхъ сущность математическаго пониманія. Это видно уже изъ того, что учитель всегда можетъ безъ нихъ обойтись; новѣйшая педагогика совѣтуетъ даже при первоначальномъ преподаваніи математики обходиться не только безъ помощи такихъ вещей, какъ камни или яблоки, но даже безъ пособія такихъ чисто-отвлеченныхъ, наглядныхъ символовъ, каковы напр. цифры, написанныя на доскѣ или на бумагѣ, и пріучать дѣтей къ чисто умственному счислению. Тоже должно сказать и о происхожденіи въ нашемъ умѣ понятій о геометрическихъ фигурахъ. Ссылаясь на объясненія происхожденія ихъ, подобныя приведеннымъ выше, значитъ не указывать на фактъ, а чисто фантазировать, забывая, что геометрическія фигуры, по своей идеальной строгости и точности, не имѣютъ ничего общаго съ мнимо аналогичными имъ предметами природы. Положимъ, круглota солнца могла дать человѣку первое понятіе о шарѣ. Но что общаго между геометрическою линіею и плоскостію и тонкимъ древеснымъ стволомъ или зеркальною поверхностию воды? А. гдѣ въ природѣ человѣкъ увидѣлъ квадратъ, эллипсъ, трехугольникъ разныхъ формъ? Ссылаются на геометрически очерченныя формы кристалловъ: Но геометрія существовала прежде, чѣмъ химія или внимательнос наблюденіе открыли свойства кристалловъ. Въ глубочайшей древности, не имѣя понятія о геометріи какъ наукѣ, человѣкъ уже обтесывалъ камни въ четвероугольныя и другія правильныя формы, дѣлалъ конусообразныя крыши, ящики и т. п. У самыхъ грубыхъ дикарей въ ихъ украшеніяхъ, насъчкахъ на утвари мы видимъ изображенія правильныхъ геометрическихъ фигуръ, линій и ихъ комбинацій. Неужели, чтобы сдѣлать все это, человѣкъ долженъ быть подражать природѣ и видѣть гдѣ-нибудь подобные предметы? Очевидно, нѣтъ; эти правильныя математическія формы создавались имъ первоначально въ умѣ независима отъ всякаго опыта; а имѣя въ виду эти мысленные фигуры, онъ обрабатывалъ и предметы природы, со-

образно начертаннымъ въ умѣ типамъ. Человѣкъ имѣтъ, какъ и теперь имѣтъ, совершилъ независимую отъ опыта способность создавать геометрическія очертанія, послужившія первымъ пачаломъ размышленія падъ свойствами и отношеніями этихъ очертаній,—т. е. геометріи.

Не дѣлая бесполезныхъ попытокъ наглядно объяснить происхожденіе математики и даже не отвергая въ ней нѣкоторагоaprіорнаго элемента, болѣе сдержанные эмпірики, тѣмъ не менѣе, утверждаютъ присутствіе въ ней первоначальной эмпірической основы, исходя изъ своего общаго ученія о происхожденіи всѣхъ нашихъ познаній. „Нѣтъ никакого сомнѣнія“, говорить Бенеке, „что основы математической воззрѣнія, по крайней мѣрѣ, по своимъ элементамъ, происходятъ изъ опыта. Мы не обладаемъ никакими математическими познаніями прежде, чѣмъ вообще не восприняли чего-либо виѣшнимъ образомъ. Кромѣ того, какъ известно, мы не можемъ создать ничего абсолютно нового силою воображенія,—въ геометріи точно также, какъ и въ поэзіи... Конечно, мы не утверждаемъ того, чтобы геометрическія пачертанія были заимствованы изъ опыта въ томъ именно видѣ, въ какомъ они употребляются теперь въ этой науцѣ, но только то, что изъ опыта взяты ихъ основные элементы, которые затѣмъ скомбинированы и идеализированы воображеніемъ соответственно цѣлямъ науки; несовершенное и несущественное въ нихъ отброшено; напротивъ, существенное выдѣлено и выражено съ большою ясностью“ \*).

Итакъ, по мнѣнію Бенеке, выходитъ, что для того, чтобы доказатьaprіорность математики, нужно доказать, что мы знали математику, по крайней мѣрѣ, „основные элементы ея“, прежде, чѣмъ стали видѣть, слышать, вообще воспринимать что-либо виѣшими чувствами. Странное требованіе, которое, впрочемъ, предъявляется обыкновенно и другими эмпіриками отнюдь не только математики, но и другихъaprіорныхъ понятій и идей! Конечно, прежде чѣмъ начали дѣйствовать виѣшнія чувства и безъ продолжающагося дѣйствія этихъ чувствъ, мы не только не могли-бы имѣть математики, но даже и самаго разсудка; безъ сообщенія со виѣшнимъ міромъ, при

\* ) Beneke, Metaph. p. 230.

посредствъ чувствъ, не было бы и самаго человѣка, какъ существа сознательнаго, мыслящаго, разумнаго. Но что-же отсюда можетъ слѣдоватъ относительно рѣшенія вопроса объ априорномъ элементѣ нашего познанія? Ровно ничего. Еще Кантомъ справедливо замѣчено, что a priori опыта вовсе не значитъ—совершенно независимо отъ опыта, но только вмѣстѣ съ опытомъ; о пространствѣ и времени онъ прямо говоритъ, что если-бы не дѣйствовали на насъ никакія вѣщнія впечатлѣнія, то не было-бы въ насъ и возврѣній пространства и времени; но какъ скоро они дѣйствуютъ, то вмѣстѣ съ ними и по поводу ихъ a priori возникаютъ тотчасъ же и эти возврѣнія. Тоже можно сказать и относительно основанныхъ на этихъ возврѣніяхъ математическихъ понятіяхъ. Внѣшнія впечатлѣнія и совокупность ихъ, называемая внѣшимъ опытомъ, дѣйствуетъ, какъ пробуждающій и возбуждающій психическую жизнь мотивъ. Но такое значеніе опыта писколько еще не говорить, чтобы и все содержаніе психической жизни условливалось только этимъ опытомъ и не заключало-бы въ себѣ ничего болѣе, чѣмъ сколько даетъ онъ.

Тоже самое должно сказать и о значеніи такъ называемыхъ эмпирическихъ элементовъ въ идеальныхъ созданіяхъ нашего воображенія, къ которымъ Беноксъ причисляетъ и построепія геометрическія. Положимъ, — хотя, какъ мы видѣли, съ какою либо вѣроятностю допустить это трудно,—на первоначальное возникновеніе геометрическихъ начертаній имѣли вліяніе какія нибудь аналогичныя чувственныя впечатлѣнія. Но очевидно, что эти впечатленія могли имѣть значеніе не болѣе какъ простыя мотивы для самостоятельной дѣятельности нашего ума въ извѣстномъ направленіи; они не создали математики, а только дали толчекъ нашей мысли къ ея созданію. Говоря о зависимости геометрическихъ начертаній отъ опыта, какъ будто намѣренно забываютъ, что не въ этихъ начертаніяхъ сущность дѣла и что не въ нихъ собственно заключается математика. Положимъ,—какія нибудь чувственныя впечатлѣнія побудили наше воображеніе идеализировать ихъ и создать на основаніи ихъ формы квадрата, треугольника, круга, эллипса и т. п. Если бы въ насъ не было способности математического познанія, что заставило бы человѣка размышлять о свойствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ этихъ формъ,

создавать затѣмъ различныя ихъ комбинаціи, опредѣлять ихъ законы и проч., — вообще изобрѣтать геометрію. Въ сего воображеніи и остались бы павсегда одни круги, квадраты, трехугольники паравнѣ съ другими созданіями воображенія, по никакого научнаго употребленія изъ нихъ онъ сдѣлать не могъ-бы.

Въ защиту эмпирическаго происхожденія математики указываютъ иногда на постепенность, съ какою приобрѣтаются математическія познанія, о которой свидѣтельствуетъ какъ личный опытъ, такъ и исторія математики вообще. Если-бы, говорятъ, математическія истины лежали въ нашемъ умѣ a priori, то мы должны-бы имѣть о нихъ ясное понятіе съ самымъ первымъ пробужденіемъ нашего сознанія; но на дѣлѣ онѣ доются намъ такимъ же продолжительнымъ путемъ, какъ и эмпирическія истины. Очевидно, это возраженіе тоже самое, которое эмпирики издавна любили выставлять противъ всякаго рода „врожденныхъ идей“ и априорныхъ элементовъ въ нашемъ познаніи. Но вмѣстѣ съ этимъ они постоянно забывали, что защитники существованія этихъ элементовъ въ нашемъ разумѣ никогда не отрицали постепенности въ ихъ развитіи, при чёмъ известную долю участія въ этомъ развитіи представляли не одному только разуму, по и опыту. Есть громадное различіе между первичною формою существованія этихъ элементовъ въ нашемъ разумѣ и послѣдующею формою, когда они являются намъ въ видѣ ясныхъ и логически отчетливыхъ понятій, — различіе, которое можно сравнить съ различіемъ сѣмени и развивающагося изъ него растенія. Поэтому, постепенность въ развитіи математическаго мышленія нисколько не можетъ говорить противъ априорной натуры тѣхъ первичныхъ элементовъ, изъ которыхъ оно развилось. Иное дѣло, еслибы намъ было доказано, что эти элементы суть чисто эмпирическаго происхожденія и что, затѣмъ, и развиваются они совершенно тѣмъ же путемъ, какъ и все прочія эмпирическія познанія. Но первого, какъ мы видѣли, эмпиризмъ доказать не можетъ; а собственный опытъ каждого и исторія науки ясно показываютъ, что процессъ развитія математическаго познанія вовсе не аналогиченъ съ процессомъ познанія эмпирическаго. Эмпирическое познаніе, въ тѣсномъ смыслѣ слова, развивается и расширяется по мѣрѣ накопленія опытныхъ данныхъ, получаетъ большую и большую достовѣрность

по мѣрѣ подтвержденія эмпирическихъ гипотезъ вновь открывасмыми фактами. Познаніе математическое развивается и усовершается посредствомъ чисто умственного процесса вниманія, обдумыванія, соображенія и анализа уже известныхъ математическихъ положеній, безъ всякой помощи опыта; мы не ждемъ отъ опыта и не ищемъ въ немъ подтвержденія нашихъ математическихъ положеній, да и не нуждаемся въ томъ. Такимъ образомъ есть существенное различіе между развитіемъ познанія математического и эмпирическаго; поэтому и то обстоятельство, что математическая истины, не смотря на ихъaprіорность, не вдругъ и не первоначально выступаютъ въ нашемъ сознаніи, не только не говорить объ ихъ эмпирическомъ источникѣ, но, напротивъ, особенность способа этого развитія даетъ право заключать и объ особенности ихъ происхожденія. „Сознаніе математическихъ истинъ“, справедливо замѣчаѣтъ Ланге, „конечно не дается само собою, математической положенія, даже самыя аксиомы, безъ сомнѣнія, должны быть открыты“. Но онъ открываютъ посредствомъ напряженія мышленія и воззрѣнія, или посредствомъ быстраго и счастливаго соединенія того и другаго. Въ сущности открытие здѣсь состоитъ только въ правильномъ направлениі умственного взора на данный вопросъ. Отъ этого математическая положенія, какъ скоро мы знакомимъ съ ними другихъ, также легко передать нашимъ ученикамъ, какъ трудно было ихъ первоначально найти. Того, кто пытается открыть новую истину въ математикѣ, новую сторону въ математическомъ воззрѣніи, можно сравнить съ тѣмъ, кто день и ночь съ великимъ вниманіемъ изслѣдуетъ небо, пока не найдетъ новой кометы. Но какъ здѣсь все дѣло въ установлении телескопа такъ, чтобы за тѣмъ легко могъ увидать комету каждый, кто обладаетъ здоровымъ зрѣніемъ, такъ и въ математикѣ новое математическое положеніе, разъ оно открыто, безъ труда можно показать такъ, что легко долженъ признать его истину каждый, кто только вообще способенъ къ правильному умозрѣнію, будеъ-ли то посредствомъ начертанія фигуры, или при помощи образа фантазіи. Поэтому, то обстоятельство, что математическая истины часто съ трудомъ отыскиваются и находятся, не имѣеть ничего общаго съ ихъaprіорностью“ \*).

\* ) Lange: Geschichte des Materialismus. 1874. II. В. р. 13.

б) Какъ на доказательство априорнаго происхожденія математического познанія мы указывали на абсолютную необходимость и достовѣрность математическихъ истинъ. Такой необходимости и достовѣрности онѣ не могли-бы имѣть, если-бы приобрѣтались путемъ эмпирическимъ. Опытъ и основанпый на опыте индуктивный методъ могутъ привести только къ положеніямъ вѣроятнымъ, но никогда къ несомнѣннымъ \*).

Чтобы ослабить это доказательство, эмпирики, и въ числѣ ихъ извѣстный Д. С. Милль, рѣшаются даже на противорѣчащее всеобщему убѣжденію и, повидимому, парадоксальное утвержденіе, будто на самомъ дѣлѣ математическая аксиома, на которыхъ, въ концѣ концовъ, утверждается доказательность всѣхъ прочихъ математическихъ положеній, вовсе не суть необходимыя и абсолютно достовѣрныя истины. По его мнѣнію, строгая необходимость господствуетъ въ математикѣ только въ той мѣрѣ, въ какой она основывается на опредѣленіяхъ и на выводахъ изъ этихъ опредѣленій. Такъ называемыя аксиомы суть большею частію только опредѣленія, или могутъ быть сведены къ опредѣленіямъ. Остающееся затѣмъ, — именно основныя положенія Евклидовы геометріи, что двѣ прямые линіи не могутъ включать собою никакого пространства и что двѣ параллельныя линіи могутъ быть продолжены въ бесконечность, никогда не пересѣкая одна другую, — эти двѣ единственно истинныя аксиомы суть не что иное, какъ

---

\*). Каждое опытное положеніе, какъ таковое, всегда можетъ быть опровергнуто новымъ опытомъ. Цѣлыхъ тысячи лѣтъ люди видѣли, что неподвижны звѣзды не перемѣняютъ своего мѣста и отсюда заключили, что они неподвижны. Это было опытное положеніе; но оно могло быть исправлено болѣе точными наблюденіями и вычисленіями и дѣйствительно оно было исправлено. Подобного рода примѣры исторія науки представляетъ на каждой страницѣ. Мы обязаны, главнымъ образомъ, по преимуществу логическому таланту Французскихъ ученыхъ тѣмъ, что въ настоящее время точные науки во всей области опыта вообще не выставляютъ болѣе никакихъ абсолютныхъ истинъ, но только относительныя, что мы постоянно помнимъ объ *условіяхъ* приобрѣтаемаго познанія и точность всякаго рода возврѣній принимаемъ не иначе, какъ съ оговоркою и допущеніемъ возможности болѣе совершеннаго воззрѣнія. Но ничего подобнаго неѣтъ въ области познаній математическихъ; всѣ они, относятся ли къ простымъ выводамъ или къ основнымъ понятіямъ, одинаково соединены съ сознаніемъ ихъ абсолютной необходимости". Lange, ib. p. 13.

обобщенія изъ опыта, результаты индукціи. Поэтому онъ и не имѣютъ характера строгой необходимости, какая свойственна определеніямъ. Ихъ необходимость въ нашемъ сознаніи есть только субъективная, объясняемая психологически. Мы часто воображаемъ необходимыми положенія, которые даже вовсе не типы, объявляемъ что-либо немыслимымъ, непонятнымъ, противорѣчащимъ логикѣ, что прежде можетъ быть сами считали истиннымъ. Точно также образовалось и наше убѣженіе въ необходимости положеній математическихъ. Но если происхожденіе математическихъ аксиомъ, какъ возникающихъ изъ ассоціаціи идей и рассматриваемыхъ съ психологической точки зрѣнія, нисколько не лучше происхожденія и нѣкоторыхъ заблужденій, то изъ этого сице никаколько не слѣдуетъ, чего можетъ быть опасаются нѣкоторые, чтобы онѣ когда нибудь могли быть опровергнуты. Отсюда слѣдуетъ только то, что для достовѣрности, какую мы имъ приписываемъ, мы не имѣемъ никакого другаго источника кромѣ того, какой имѣемъ и для всѣхъ нашихъ эмпирическихъ познаній вообще. По степени силы индукціи, изъ которой вытекаютъ, онѣ кажутся намъ или вѣроятными, или достовѣрными, или абсолютно необходимыми; но послѣднее название есть только выраженіе для обозначенія ихъ наибольшей вѣроятности; иной какой-либо привилегіи на достовѣрность, сравнительно съ достовѣрностю эмпирическихъ познаній, математическая истины не имѣютъ \*).

Не станемъ входить въ споръ, законно или нѣть постулатъ Милль, ограничивъ число геометрическихъ истинъ двумя вышеупомянутыми. Достаточно и этихъ двухъ, чтобы убѣдиться въ несостоятельности его ученія. Наше убѣженіе, что двѣ прямые линіи, если-бы мы даже продолжили ихъ въ бесконечность, не могутъ замыкать собою никакого пространства, по его мнѣнію, должно быть пріобрѣтено изъ опыта. Какимъ-же образомъ это возможно, когда здѣсь очевидно невозможенъ никакой опытъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова? Не можемъ-же мы вести двухъ липій въ бесконечность, чтобы убѣдиться, что онѣ никогда не очертятъ собою никакого пространства. Милль замѣчаетъ на это, что здѣсь мѣсто невоз-

---

\* ) Система логики. Пер. Лаврова. т I. 268—311.

мозгаго виѣпніяго опыта замѣняетъ возврѣпіе въ фантазіи, т. е. мы производимъ опытъ, такъ сказать, въ воображеніи и убѣждаемся въ невозможности очертить пространство двумя линіями. Но что такое опытъ въ фантазіи, или, лучше сказать, въ умѣ? И какимъ образомъ Милль такое чисто умственное доказательство аксіомы можетъ называть, тѣмъ не менѣе, индуктивнымъ умозаключеніемъ? Фантазія, по мнѣнію Милля, можетъ замѣнить здѣсь виѣшній опытъ потому, что образы нашей фантазіи относятся между собою точно также, какъ виѣпнія вещи. Но откуда опять мы это знаемъ? Изъ опыта? Но въ такомъ случаѣ и объ этомъ соотвѣтствіи мы могли-бы знать лишь настолько, насколько дѣло идетъ о конечныхъ пространствахъ. Всеобщность и необходимость упомянутой геометрической аксіомы остается такимъ образомъ необъясненною.

Также неудачно объясняетъ Милль и признакъ необходимости, сопровождающей математическія положенія и, повидимому, противорѣчашій его мнѣнію о гипотетическомъ характерѣ этихъ положеній. Какъ на особенность математическихъ истинъ всегда указывали на то, что въ противоположность имъ эмпирическія, естествознательныя гипотезы никогда не имѣютъ характера необходимости; они только болѣе или менѣе вѣроятны и потому всегда могутъ быть замѣнены другими; положенія математическія абсолютно необходимы и потому никакъ не могутъ быть гипотетическими. Милль отвѣчаетъ па это замѣчаніемъ, что могутъ быть и *необходимыя* гипотезы, но, тѣмъ не менѣе, они остаются все-таки гипотезами. Предположимъ, что мы по самой патурѣ нашего духа вынуждены принимать, что есть круги, треугольники, прямые углы и т. п. Это вынужденное признаніе или убѣженіе тѣмъ не менѣе не есть-ли гипотетическое, такъ какъ мы совершенно не знаемъ, есть-ли въ природѣ круги, прямые углы и пр., которые вполнѣ соотвѣтствовали-бы нашимъ представлениемъ о нихъ? Очевидно, что подобное объясненіе Милля есть ничего не объясняющая игра словъ. Необходимая гипотеза, говоритъ Милль, есть все-таки гипотеза. Но если есть особенный родъ гипотезъ, который отъ всѣхъ другихъ гипотезъ отличается необходимостю возникновенія ихъ изъ нашего духа, то мы фразою, что все-таки этого рода гипотезы

суть гипотезы, ровно ничего не выигрываемъ и не объясняемъ. Рождается вопросъ о причинахъ такой импли особенности ихъ въ отличіе отъ всѣхъ другихъ эмпирическихъ гипотезъ, которыхъ обладаютъ только характеромъ вѣроятности и никогда — необходимости. А причина этого явленія можетъ быть только одна, что эти такъ называемыя гипотезы не эмпирическаго происхожденія.

Но мало того, что Милль нисколько не объясняетъ происхожденія необходимости, отличающей такъ называемыя имъ математическія гипотезы отъ эмпирическихъ. Опь готовъ признать самую эту необходимость только воображаемою, мнимою. Мало ли человѣкъ признавалъ необходимыми положеній, которыхъ потомъ оказывались вовсе не таковыми, даже чистыми заблуждепіями; чѣмъ доказано, что математическія положенія лучше всякихъ другихъ въ этомъ отношеніи? Но если стать на эту точку зрѣнія для оцѣнки достовѣрности нашихъ познаній, то мы прямо пойдемъ по дорогѣ къ самому рѣшительному и вмѣстѣ съ тѣмъ ни на чемъ не основанному скептицизму. Если сомнительна достовѣрность положеній математическихъ, то что-же остается для насъ достовѣрнымъ? Если, по словамъ Милля, происхожденіе математическихъ аксиомъ, съ ихъ кажущимся необходимостію, нисколько (говоря психологически) не лучше происхожденія иѣкоторыхъ заблужденій, то какимъ образомъ положиться на утѣшениѣ Милля, что изъ этого еще не слѣдуетъ, что онѣ когда-нибудь будутъ опровергнуты? Положимъ, этого не слѣдуетъ, но не слѣдуетъ и того, чтобы онѣ когда-нибудь не были опровергнуты. Довольно того, что изъ посылокъ Милля вытекаетъ прямо заключеніе, что математическія истины *могутъ* быть опровергнуты, чтобы этимъ заключеніемъ разомъ подкопалось самое основаніе достовѣрности математического познанія. Всеобщая увѣренность наша въ такой достовѣрности, подтверждаемая не только требованіями нашего ума, но постоянными, ни разу не встрѣчавшимъ исключенія, совпаденіемъ математическихъ исчислений съ дѣйствительными законами природы и съ реальными опредѣлѣніями вещей въ пространствѣ и времени, ужели есть не что иное какъ предразсудокъ нашего ума, ни на чемъ не основанный? \*).

\* ) Въ критикѣ учнія Милля мы отчасти слѣдовали Лапге: *Gesch. d. Materialismus*. 1874. 2 В. р. 16 et sq.

Отрицая характеръ необходимости и абсолютной достовѣрности за математическими аксиомами, эмпирики, чтобы быть послѣдовательными, конечно, не могли признать такихъ качествъ и за основанными на этихъ аксиомахъ, производными изъ нихъ, математическими положеніями, равно какъ и за приложспіемъ этихъ положеній къ познанію предметовъ опыта. Подобного рода положенія, по ихъ мнѣнію, имѣютъ достоинство вовсе не аподиктическихъ, а только гипотетическихъ суждений, въ которыхъ выражается, что какъ скоро находится одинъ членъ уравненія, то необходимо долженъ быть данъ и другой. Природа нигдѣ не представляетъ намъ идеальныхъ геометрическихъ формъ и никакая алгебраическая формула не можетъ представить намъ мѣру величины или силы съ абсолютной точностью. Поэтому мы можемъ, напримѣръ, сказать только: *если* и въ какой мѣрѣ движение планеты *соответствуетъ* принятой нами линіи, которую мы называемъ эллипсомъ, въ такой мѣрѣ этому движению необходимо приличествуютъ и всѣ выводимыя нами изъ этого понятія свойства. Но ни объ одномъ изъ этихъ свойствъ мы не можемъ сказать иначе, какъ въ томъ же гипотетическомъ смыслѣ, тѣмъ болѣе, что дѣйствительное движение планетъ никогда даже вполнѣ не соотвѣтствуетъ наимѣнѣ геометрическимъ начертаніямъ. Такой гипотетической характеръ приложенія математики къ объясненію природы прямо говоритъ противъ аподиктичности, слѣдовательно, иaprіорности ея положеній. Подобного рода мнѣніе вообще могло-быть допущено лишь въ томъ случаѣ, если-бы мы изъ математическихъ началъ могли заключать къ опредѣленнымъ, положительнымъ свойствамъ предметовъ природы, напримѣръ, что такой-то предметъ долженъ имѣть ту или другую форму, ту или другую величину и пр. Тогда мы, дѣйствительно, имѣли-бы познаніе a priori, происхожденіе котораго могли-бы объяснить тѣмъ, что познаніе нами было уже заключено въ математическихъ началахъ, какъ въ сѣмени, и только развито дедуктивно; но ничего подобнаго на самомъ дѣлѣ нѣтъ \*).

Итакъ эмпирики, для доказательства апріорности выводныхъ математическихъ положеній, ставятъ совершенно невы-

\* ) Beneke, Metaph. 231. Lange, Gesch. d. Materialismus. 2 B. 17.

полнимое условіе, чтобы математика построила и опредѣлила a priori не только идеальные законы пространственныхъ отношеній вещей, но и самыя пространственныя вещи, указала-бы, какую форму, величину, мѣру имѣть тотъ или другой предметъ. Но увлекаясь полемикою противъ рационализма, они совершенно забываютъ, наконецъ, объ априорности какого именно элемента въ нашемъ познаніи идетъ рѣчь.. Рѣчь идетъ объ априорности чистыхъ понятій о пространствѣ и времени, равно какъ и производныхъ отсюда математическихъ положеній. Если-бы дѣйствительные вещи состояли только, такъ сказать, изъ пространства и времени, представляли собою воплощенные геометрическія фигуры, если-бы пространство, время, движение были самою сущностью вещей, то тогда, пожалуй, справедливо было-бы требовать, чтобы, имѣя a priori идти пространства и времени и способность выводить изъ нихъ дальнѣйшія опредѣленія, мы a priori же построили въ въ умѣ и отображенія самыхъ дѣйствительныхъ вещей. Но, очевидно, содержаніе предметнаго міра и конкретныхъ вещей далеко не исчерпывается только формами ихъ въ пространствѣ и времени; бытіе этихъ вещей и ихъ безконечное разнообразіе зависитъ не отъ того только, что онѣ протяжены и существуютъ во времени, но и отъ другихъ условій. Этими условіями и опредѣляется конкретная реальная форма каждого предмета въ пространствѣ и его продолжаемость во времени. Поэтому само собою понятно, что мы никакъ и никогда не можемъ вывести a priori изъ идей пространства и времени того, что въ нихъ вовсе не заключается,—именно реальной опредѣленности вещей или представлений о дѣйствительно существующихъ конкретныхъ предметахъ. Мы можемъ вывести изъ нихъ лишь то, что въ нихъ дано, т. е. идальныя законы отношеній предметовъ въ пространствѣ; а такъ какъ эти отношенія, хотя не исчерпываются всего содержанія дѣйствительныхъ вещей, но все-таки составляютъ извѣстную сторону ихъ бытія, то понятно, почему априорныя построенія, напр. математики, могутъ имѣть и имѣть приложеніе къ познанію дѣйствительного міра. Но такое приложеніе, такъ какъ дѣйствительность вещи условливается не одною лишь временностью и пространственностью ея, очевидно, можетъ выражаться только въ формѣ условнаго сужденія: если такая-

то вещь существовать и имѣсть такую-то форму, то она, что касается до этой формы, должна быть подчинена такимъ то математическимъ законамъ.

Но такого рода условность не имѣть ничего общаго съ самымъ математическимъ познаніемъ и нисколько не подрываетъ его априорного и аподиктическаго характера. Она относится къ самому существованію предметовъ, которое для математики совершенно безразлично и потому только предположительно (*если* существуетъ такая-то вещь, то и пр.), по не къ математическому выводу, который всегда аподиктиченъ (то она *необходимо* должна имѣть такія-то математическія свойства). Математикъ развиваетъ свои положенія при помощи одного умственного построенія безъ всякаго отношенія къ реальнымъ тѣламъ; тѣмъ не менѣе онъ непоколебимо убѣжденъ, что никогда не можетъ встрѣтиться на опытѣ предмета, который-бы противорѣчилъ этимъ положеніямъ или опровергъ ихъ. Внѣшняя вещь можетъ не соотвѣтствовать вполнѣ и во всей точности идеальной математической формѣ; мы знаемъ и впередъ предполагаемъ, что действительная форма такой вещи опредѣляется различными условіями; тѣмъ не менѣе мы въ тоже время убѣждены, что частныя и случайныя условія не могутъ существенно измѣнять тѣхъ законовъ числа, мѣры и пространственного взаимоотношенія вещей, которые начертаны одинаково какъ въ нашемъ разумѣ, какъ законы идеальные, такъ и въ природѣ, какъ законы реальные. Отсюда наше априорное убѣженіе, блестящимъ образомъ оправдываемое и эмпирическимъ изученіемъ міра, въ абсолютной достовѣрности нашихъ математическихъ построений.

---

Въ заключеніе нашего изслѣдованія о происхожденіи понятий пространства и времени вообще, математическихъ въ частности, не можемъ не сказать нѣсколько словъ о такъ называемой не-евклидовской геометріи или метагеометріи, въ которой многіе видѣть современную, вновь зарождающуюся, науку и отъ которой ожидаютъ важныхъ и окончательныхъ результатовъ для философіи въ решеніи столь трудныхъ ся вопросъ о значеніи и происхожденіи рассматриваемыхъ нами понятій.

Что такое метагеометрия? Какъ известно, геометрія, наука о чистомъ пространствѣ, со временъ Евклида, по точности и очевидности ся результатовъ, по строгости ея дедуктивнаго метода, считалась образцемъ строго научнаго построенія, которому завидовали философы и который старались иногда (напр. Спиноза) примѣнить и къ самой философіи. Какъ въ наукѣ дедуктивной, вся состоятельность ся выводовъ зависѣла отъ состоятельности тѣхъ основныхъ началъ, изъ которыхъ пропискали эти выводы. Такими началами служили для нея известныя основныя истины или аксіомы, которые еще Евклидомъ были поставлены во главу системы математики и изъ которыхъ при помощи опредѣленій выводилось множество дальнѣйшихъ теоремъ. Какъ скоро была-бы заподозрѣна абсолютная истина этихъ аксіомъ или были выставлены вмѣсто нихъ новыя аксіомы, все зданіе геометріи разомъ рухнуло-бы какъ домъ, въ которомъ былъ-бы подкопанъ фундаментъ.

Первымъ нанесшимъ такой ударъ обычной, Евклидовской геометріи былъ нашъ соотечественникъ Казанскій профессоръ математики Лобачевскій. Лѣтъ за пятьдесятъ предъ симъ въ сочиненіи подъ заглавіемъ: „воображаемая или антиевклидовская геометрія“ онъ сдѣлалъ попытку вывести съ строгою послѣдовательностю математическія заключенія, къ какимъ мы пришли бы, если-бы предположили, вопреки Евклиду, что сумма трехъ угловъ треугольника равняется не двумъ прямымъ, а менѣе ( $< 180^{\circ}$ ). Въ началѣ эта странная попытка мало нашла сочувствія, хотя по своей оригинальности обратила на себя вниманіе заграниценныхъ ученыхъ; на нее посмотрѣли не болѣе, какъ на ученую фантазію, и увидѣли въ ней только поводъ подтвержденіе той истины, что абстрактный разсудокъ можетъ выводить строго логическія послѣдствія и изъ химерическихъ предположеній. Но въ послѣдствіи дѣло измѣнилось и страшная мысль Лобачевскаго о возможности иной, не-евклидовской, геометріи нашла себѣ защитниковъ у первостепенныхъ математиковъ, каковы Гауссъ и Риманъ п, независимо отъ нихъ, у известнаго физіолога Гельмгольца. Исходная точка ихъ изслѣдований была вѣроятно иная, чѣмъ у Лобачевскаго; Гауссъ имѣлъ въ виду планиметрическія, послѣдніе, — стереометрическія свойства геометрическихъ тѣлъ; но общее заключеніе ихъ тоже, что и у первого, именно, — что наша обыкно-

венная геометрия, основанная на обыкновенномъ понятіи о пространствѣ, не есть абсолютно единственная и истинная, что она составляется только „специальный случай“, одинъ изъ видовъ возможныхъ геометрическихъ построений, основанныхъ на иномъ представлении о пространствѣ. Такъ, напр., мы представляемъ, что пространство необходимо имѣть три измѣренія,—въ длину, широту и высоту и это воззрѣніе лежитъ въ основѣ всѣхъ нашихъ геометрическихъ построений. Но имѣть-ли это представление то свойство абсолютной необходимости для нашего мышленія, какое мы ему приписываемъ? Должны-ли мы признать совершенно немыслимымъ и невозможнымъ никакое пространство, которое опредѣлялось бы по этими тремя, а большимъ или меньшимъ количествомъ измѣреній? Что касается до меньшаго количества измѣреній, то конечно мы можемъ представить пространство, имѣющее одно измѣреніе, напр. линію; можемъ представить также пространство съ двумя измѣреніями, въ длину и высоту, напр. квадратную поверхность. Но если мыслимо пространство съ однимъ, двумя и тремя (какъ наше) измѣреніями, то почему не могутъ быть также мыслимы пространства съ четырьмя, пятью и болѣе измѣреніями? Правда, такія пространства не представимы для насъ, какъ напр. пространство съ однимъ или двумя измѣреніями; но представление или воззрѣніе не можетъ налагать ограниченій на абстрактную мысль или связывать ее. Если мы прибѣгнемъ къ помоши аналитической геометрии, которая состоитъ въ открытомъ Декартомъ искусствѣ выражать пространственные очертанія и фигуры алгебраическими знаками, то для насъ не будетъ никакого затрудненія, вмѣстѣ съ Риманомъ и Гельмгольцемъ, составить болѣе общее понятіе о пространствѣ съ неопределенными многими ( $n$ ) измѣреніями. Въ понятіи такого пространства не заключается никакого логического противорѣчія, а невозможность наглядно представить его (напр. пространство съ четырьмя измѣреніями) также мало можетъ говорить противъ метафизической его возможности, какъ напр. непредставимость для насъ органическихъ существъ, кроме земныхъ, извѣстныхъ намъ, никакъ не говорить противъ того, что могутъ быть во вселенной существа, вовсе намъ неизвѣстныя и даже вовсе не представимыя для насъ.

Но если возможно пространство съ большимъ количествомъ измѣрений, чѣмъ наши, то, очевидно, возможна также не одна наша, Евклидовская геометрия, но и другие типы математическихъ построений, которые должны имѣть тотъ же характеръ научности и необходимости, какой имѣеть и наша геометрия. Попытка подобного рода геометрии, при предположеніи напр., пространства съ четырьмя измѣреніями, уже сдѣланы и оказались удачными. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что въ будущемъ явятся столь же удачные опыты построения математики при предположеніи пяти или болѣе измѣрений, или при допущеніи аксиомъ, несогласныхъ съ Евклидовскими.

Мы высказали только общую мысль, лежащую въ основѣ новѣйшихъ изслѣдований по метагеометрии, которую нѣкоторые называютъ наукой будущаго. Мы не станемъ здѣсь ни излагать оснований и доказательствъ, приводимыхъ въ ся пользу, ни входить въ критическую оценку ихъ, такъ какъ этотъ предметъ потребовалъ бы особаго специального изслѣдованія \*). Мы остановимся на простомъ *предположеніи*, что такая метагеометрия, дѣйствительно, возможна, что мыслимы пространства не только съ тремя, но и съ неопределеннѣмъ количествомъ измѣрений, и обратимъ вниманіе на тѣ результаты, которые могло-бы дать подобное предположеніе для решенія занимающаго настѣль метафизического вопроса о *происхожденіи и значеніи* понятія о пространствѣ и основаннаго на немъ математическаго познанія.

а) Что касается, прежде всего, до вопроса о происхожденіи математическаго, основаннаго на идеѣ пространства, познанія, то учение объ априорномъ и чисто раціональномъ происхожденіи его въ возможности метагеометрии, повидимому, находитъ себѣ новое и блестящее подтвержденіе. Въ самомъ дѣлѣ, если то явленіе, что построения геометрическія и выводы изъ нихъ имѣютъ приложеніе къ дѣйствительности, и что на опыте встречаются аналогічныя съ геометрическими очертаніями формы и предметы, и могло служить нѣкоторымъ (хотя, какъ

---

\*.) Для желающихъ ознакомиться съ вопросомъ о метагеометрии, въ какой мѣрѣ онъ имѣть отношеніе къ философіи, можемъ указать на Wundt, Logik. 1880 I B. p. 437—453; Kromann, Unsere Naturerkennniss. 1883. Die „Metageometric“. p. 145—174; Liebmann, Zur Analysis der Wirklichkeit, 1876. p. 53—70.

мы видѣли, шаткимъ) основаниемъ для мысли объ эмпирическомъ происхожденіи основныхъ математическихъ истинъ, то это основаніе совершенно исчезаетъ, если допустимъ возможность метагеометріи. Очевидно, что какъ самое предположеніе пространства съ *n* измѣреній, такъ и выводимыя отсюда математическая положенія составляютъ чистый продуктъ рационального мышленія, не имѣющій ничего общаго съ опытомъ и никакихъ точекъ соприкосновенія съ эмпирическою дѣйствительностію. Это доказывается уже тѣмъ однимъ, что ни самая пространства подобного рода, ни геометрическая построенія, на нихъ основанныя, не представимы ни въ какомъ чувственномъ образѣ, ни въ какой эмпирической схемѣ. Если-же возможно неопределенное количество чистыхъ и бесспорно рациональныхъ геометрій, то было-бы странно предполагать, что только наша геометрія составляетъ исключение, что только ея основоположенія эмпирическаго происхожденія. Такое доказательствоaprіорности математики тѣмъ было-бы важнѣе, что оно одинаково было-бы пригодно для защитниковъ какъ объективной, такъ и субъективной теоріи пространства. Для первыхъ оно служило-бы новымъ свидѣтельствомъ о силѣ рационально aprіорнаго мышленія, представляя опыты такихъ чисто рациональныхъ математическихъ построеній, на которыхъ не можетъ падать ни малѣйшаго подозрѣнія въ соучастіи здѣсь эмпирическаго познанія. Для субъективистовъ это доказательство тѣмъ важнѣе, что, съ признаніемъ метагеометріи, для нихъ падаетъ старинный, Кантовскій способъ доказательства aprіорности идеи пространства, основанный на томъ, что какъ пространство съ признаками трехъ измѣреній, такъ и основаныя на немъ математическая построенія имѣютъ характеръ *всеобщности и необходимости*. Оказывается, что наше трехмѣрное пространство есть не болѣе какъ „специальный случай“ возможныхъ построеній и измѣреній пространства и потому не можетъ быть абсолютно необходимо и всеобщею формою чувственного воззрѣнія. При такомъ положеніи дѣла, фактъ возможности мыслить и конструировать пространства со многими измѣреніями долженъ имѣть решающее значение въ вопросѣ объ aprіорности этой формы \*).

---

<sup>1)</sup> Впрочемъ замѣчательно, что одинъ изъ основателей метагеометріи,

б) Что касается до второго, выставленного пами, вопроса о метафизическомъ значеніи понятія о пространствѣ, то па первый взглядъ кажется, что такъ называемая метагеометрія напосѣтъ сильный ударъ тому, раздѣляемому и нами мнѣнію, что пространство (также какъ и время) есть объективная форма существованія вещей. Въ самомъ дѣлѣ, если возможно представление пространствъ не только съ тремя, но и съ большимъ количествомъ измѣреній, если возможны геометріи, основанныя на предположеніи такихъ пространствъ, то естественно является мысль, что пространство съ его, по произволу опредѣляемыми, измѣреніями есть субъективный продуктъ нашей познавательной дѣятельности и ничего болѣе. Вотъ почему философы, держащіеся мнѣнія о субъективномъ значеніи формъ пространства и времени съ такою радостью встрѣтили появленіе метагеометріи; въ пей, по ихъ мнѣнію, Берклис-Кап-

---

Гельмгольцъ, въ самомъ понятіи о ней находитъ доказательство той мысли; что *какое* пространство эмпирическаго происхождения. „Откуда“, спрашивается онъ, „могутъ происходить тѣ опредѣленности, которыя характеризуютъ наше пространство, какъ ровное пространство съ тремя измѣреніями? Эти измѣренія не составляютъ необходимости мышленія (*Denknotwendigkeiten*), потому что мы можемъ мыслить пространство сферическимъ и псевдосферическимъ; съ тремя и съ *n* измѣреніями; даѣтъ мы можемъ не прямо, но довольно ясно представить себѣ, какъ всѣ вещи могли бы находиться въ такихъ пространствахъ. Но если аксиомы Евклида не служатъ выражениемъ мысленной необходимости, то опѣ, очевидно, основываются на опыте и не могутъ быть ни прямо ни косвенно прирождены намъ какъ думалъ Кантъ“ И действительно, лежащія въ ихъ основѣ понятія о величинѣ, о движениі, о масштабѣ, о тѣлѣ, предполагаютъ различныя, чисто физическія познанія (Гельмгольцъ,—у Кромма, №: оіт. р. 150). Но не говоря о несостоительности предположенія, изъ которого, исходить Гельмгольцъ, что трехмѣрность пространства не составляетъ необходимости нашего мышленія, изложенное доказательство принадлежитъ именно къ числу тѣхъ, которые въ логикахъ называются доказательствами, доказывающими болѣе надлежащаго. Въ самомъ дѣлѣ если изъ тога что *наши* геометрическія измѣренія не принадлежатъ къ числу „необходимостей мышленія“, должно заключать обѣихъ эмпирическаго происхожденіи, то точно также и на томъ-же основаніи мы должны признать эмпирическими и всѣ тѣ пространства съ иными измѣреніями, о которыхъ говорить не-складовская геометрія. Но это, очевидно, невозможно. Даѣтъ, безъ тѣхъ-же самыхъ минимо эмпирическихъ понятій величины, движениія, измѣренія, тѣла, нельзя обойтись и при предположеніи метагеометрическихъ пространствъ. Слѣдовательно, и они эмпирическаго происхожденія.

товское воззрѣніе нашло себѣ окончательное и самое рѣшительное подтвержденіе \*).

Но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Чтобы въ метаатометріи искать подтвержденія Кантона ученія о пространствѣ нужно прежде всего доказать, что представление пространства съ *n* измѣреній, по своимъ логическимъ и метафизическимъ признакамъ совершенно однородно съ пространствомъ, пами представляемымъ, и что, поэтому, отъ свойствъ первого мы имѣемъ право заключать къ свойствамъ послѣдняго. Это требование, конечно, имѣютъ въ виду защитники теоріи субъективнаго запачнія формъ пространства и времени. Но способъ, какимъ они доказываютъ свое мнѣніе, нельзя называть удачнымъ. Всё ихъ доказательство собственно сводится къ тому, что многомѣрное пространство логически мыслимо и метафизически возможно.

Не станемъ входить въ оцѣнку этихъ доказательствъ. Положимъ, что понятіе такого пространства не заключаетъ въ себѣ логического противорѣчія \*\*). Положимъ, что метафизически возможны существа, которыя видятъ всѣ вещи въ про-

---

\* ) Liebmann, Zur Analysis d. Wirklichkeit. 1876. 53. 56.

\*\*) Въ какой мѣрѣ сильны доводы въ пользу логического не противорѣчія понятія о многомѣрномъ пространствѣ,— обращикомъ можетъ служить слѣдующая аргументація Либмана. „Для меня совершенно не понятно, какъ формальная логика можетъ что-нибудь возразить противъ мысли о многомѣрномъ пространствѣ. Логика противъ этого понятія также мало можетъ протестовать, какъ противъ понятія крылатаго ангела, животнаго съ тремя глазами или треугольника, сумма угловъ котораго больше двухъ прямыхъ. То обстоятельство, что мы только то или это находимъ въ опытѣ, то или это можемъ наглядно представить, вовсе не касается формальной логики; это для нея, измѣряющей всѣ наши мысли однимъ только масштабомъ законовъ тождества, противорѣчія и исключенного третьаго, есть совершенно случайное обстоятельство“. (lib. c. p. 61). Но Либманъ здѣсь очевидно смѣшиваетъ логическія понятія съ представлениями и образами фантазіи. Каждая ислѣпая мысль, какое угодно представление, конечно, возможны; но можно-ли о нихъ сказать, что они *логически*, т. е. законособразно требованіемъ мысли, возможны? Не много выиграетъ логическая возможность метаатометріи, если пространства, ею представляемыя, *также* возможны, какъ напр. представление животнаго съ тремя глазами. Притомъ-же Либманъ забываетъ, что логическая возможность опредѣляется не только указанными имъ логическими законами, но и закономъ достаточнаго основанія. Но выдержитъ ли понятіе многомѣрного пространства пробу этого закона, это подлежитъ еще сомнѣнію.

странствъ напр. съ четырьмя измѣреніями также, какъ мы видимъ ихъ при помощи трехъ измѣреній. Что-же отсюда слѣдуетъ? Слѣдуетъ не болѣе, какъ логическая и метафизическая возможность мыслить многомѣрныхъ пространства; но изъ возможности безъ логического даже противорѣчія мыслить какислибо предметы ни сколько не слѣдуетъ реальное существованіе такихъ предметовъ, даже реальная вѣроятность такихъ предметовъ. Поэтому, если защитники метагеометріи (напр. Либманъ) упрекаютъ своихъ противниковъ, будто они не логически заключаютъ а non posse videri ad non posse existere, то мы можемъ отвѣтить имъ, что они сами забываютъ о логическомъ правилѣ: a posse ad esse non valet consequentia. Мы можемъ напр. вообразить живое существо, которое питается не углеродистыми соединеніями, а чистымъ углеродомъ; можемъ даже придумать, какъ должно-быть устроено подобное существо, чтобы питаться углеродомъ, какую имѣть организацію. Но никакому физиологу не придетъ на мысль въ этомъ воображасномъ животномъ видѣть новый видъ, которому нужно дать мѣсто въ ряду известныхъ и наблюдавшихъ за опыте видовъ животныхъ. Но мы дѣлаемъ именно это, когда или уничтожаемъ нѣкоторая свойства въ данномъ въ нашемъ воззрѣніи пространствъ, или замѣняемъ ихъ въ нашей мысли другими и выводимъ отсюда, что наше пространство есть только видъ на раду съ другими пространствами. Здѣсь только то различіе и, притомъ, къ невыгодѣ примыкающихъ къ понятію пространства произвольныхъ воззрѣній, что обѣ организмахъ, которые живутъ чистымъ углеродомъ, мы можемъ составить нѣкоторое наглядное представление, по аналогіи напр. съ паровыми машинами, тогда какъ о пространствахъ, отличныхъ отъ нашего, мы не можемъ имѣть никакихъ дѣйствительныхъ представлений \*):

Но если-бы даже логическая и метафизическая возможность многомѣрного пространства была и лучше обоснована, то и въ такомъ случаѣ, по нашему мнѣнію, это скорѣе свидѣтельствовало бы въ пользу объективнаго характера нашего, единственно доступнаго намъ пространства,—и никакъ въ пользу его субъективности. Спрашивается: если для разума одна-

\*.) Wundt, Logik. 1880 T. I. p. 400. 441.

ково возможно и согласно съ его субъективными законами мыслить пространство съ однимъ, двумя, тремя, четырьмя и болѣе измѣреніями, то почему мы не можемъ по произволу представлять вещи то въ той, то въ иной формѣ пространства? Почему представляемъ его именно съ тремя измѣреніями? Необходимости субъективной къ тому нѣтъ, ибо допущено, что субъективно возможны и другія формы пространства. Ссылаясь здѣсь, какъ дѣлаютъ, на особенность интеллектуальной организаціи человѣка, почему-то не допускающей иныхъ воззрѣній пространства, нельзѧ уже потому самому, что опытъ метагеометріи показываетъ, что мыслить иныхъ, не трехмѣрныхъ, пространства препятствій для насъ нѣтъ. Остается одинъ отвѣтъ, что причина такого явленія для насъ совершенно неизвѣстна \*). Но къ такому крайнему и вовсе не къ философскому рѣшенню вопроса прибѣгать нѣть нужды, когда рѣшеніе дается само собою. Представленіе трехмѣрного пространства дается намъ съ принудительною необходимостію, которой, очевидно, не имѣютъ представлениія другихъ пространствъ. Такъ какъ эта необходимость не вытекаетъ изъ субъективныхъ требованій нашей познавательной способности (ибо для нея не невозможны и другія представлениія о пространствѣ), то, очевидно, источникъ ея можетъ заключаться только гдѣ-либо *внѣ* познающаго субъекта, въ реальныхъ свойствахъ дѣйствующихъ на насъ пространственныхъ вещей. Мы потому необходимо мыслимъ пространство имѣющимъ три измѣренія, что оно и на самомъ дѣлѣ таково. Этимъ объясняется и то, почему мы только *наше* трехмѣрное пространство или только *нѣкоторыя* свойства *нашего* пространства (напр. одно, два измѣренія) можемъ представлять, тогда какъ о четырехъ и болѣе—мѣрныхъ пространствахъ можемъ имѣть только понятіе, а не возврѣтельное представлениѣ. Такъ какъ въ образованіи представлений принимаютъ участіе впечатлѣнія отъ внѣшней дѣйствительности, то самый фактъ представлениія, тѣмъ болѣе, необходимаго, предполагаетъ уже отображеніе въ нашемъ сознаніи какого-либо дѣйствительного бытія; и наобо-

---

\* ) „Почему напрѣзумъ разумъ связантъ этими имманентными границами (т. е. трехмѣрностю пространства) знаютъ про то одни боги! Можетъ быть узнаютъ это когданибудь и люди“. Liebmann, lib. cit. 61.

ротъ, только то, элементы чего находятся во виѣшнемъ, чувственномъ бытіи, можетъ быть и чувственно представлено \*). Отсюда видно, что уже тотъ фактъ, что мы имѣемъ возможность не только мыслить, но и представлять трехмѣрное пространство, тогда какъ о многомѣрномъ можемъ только мыслить,—свидѣтельствуетъ въ пользу не только субъективнаго, но и объективнаго характера первого \*\*).

Наконецъ, должно замѣтить и то, что, если даже предположимъ полную научную состоятельность метагеометріи, то отсюда мы напрасно станемъ ожидать какого-либо важнаго пособія къ рѣшенію вопроса о метафизическомъ значеніи пространства, тѣмъ болѣе къ рѣшенію его въ смыслѣ субъективизма. Прежде всего, здѣсь идетъ рѣчь о количествѣ возможныхъ измѣреній пространства, а не о пространствѣ самомъ по себѣ. Положимъ, мыслимы пространства не только съ тремя, но и съ большими и меньшими количествомъ измѣреній; но что такое само пространство? Этотъ вопросъ остается для насъ не решеннымъ. И маломѣрное и многомѣрное пространство одинаково можно мыслить и субъективно формою познанія и объективно формою самыхъ вещей и фактъ не только возможности, но даже существованія иныхъ родовъ пространства, чѣмъ наше, чисто не склонилъ-бы вѣсовъ именно въ пользу первого мнѣнія. Положимъ, есть и четвертое измѣреніе пространства, есть и существа,

---

\* ) Разумѣемъ реальцыя представленія, соединенные съ сознаніемъ бытія представляемыхъ вещей, а не представленія, какъ символы только или образы понятій и идей; ибо символически или образно можно представлять и нечувствительные объекты.

\*\*) Правда, нѣкоторые защитники метагеометріи (напр Гельмгольцъ) утверждаютъ возможность не только мыслить, но и представлять многомѣрное пространство. Для большей наглядности они даже изображаютъ фантическаго существа, которымъ могли-бы жить на совершенной плоскости или па сферической и псевдосферической поверхности, и описываютъ тѣ представления объ окружашемъ ихъ мірѣ, какія они могли бы имѣть. Но Вупдъ, подвергая анализу подобныя воззрѣнія, справедливо заключаетъ, что все они предполагаютъ наше пространство съ его измѣреніями и суть собственно образы въ этомъ пространствѣ, составленыя при помощи абстракціи нѣкоторыхъ свойствъ его. На этой способности абстрагировать нѣкоторыя свойства фактическихъ пространствъ и ихъ измѣреній и основана, по его мнѣнію, вся метагеометрія (Logik. p. 441. 442).

которые и сами живутъ и видятъ предметы сообразно съ этою формою пространства. Почему это четырехмѣрное пространство должно быть субъективною формою воззрѣнія этихъ предполагаемыхъ существъ, а не реальною принадлежностью самыхъ вещей? Почему не можемъ предположить, что какъ могутъ быть предметы и ихъ свойства, недоступные нашему восприятію; въ силу ограниченности и специальныхъ условій нашей чувственной духовной природы, (напр. колебанія эаира или звуки, нами не ощущаемые) такъ могутъ быть и нѣкоторыя свойства пространства реальныя, но намъ не доступны? Почему у воображаемыхъ нами существъ четвертое измѣреніе пространства, при помощи которого они видятъ вещи, есть только субъективная форма ихъ воззрѣнія, а не реальная форма открывающагося ихъ сознанію реального бытія? На эти вопросы не можетъ дать отвѣта метагеометрія...

Единственнымъ основаніемъ къ рѣшенію ихъ въ пользу субъективизма можетъ служить только простой фактъ существованія въ нашемъ духѣ чисто субъективной способности имѣть понятіе о пространствѣ иномъ, чѣмъ обыкновенно представляемое, и выводить изъ этого понятія дальнѣйшіе логические выводы, создавать не-евклидовскую геометрію. Но сама по себѣ эта способность (если предположимъ, что построение такой геометріи вполнѣ осуществимо,—что, однако же, подлежитъ еще спору) можетъ свидѣтельствовать только о чисто логической способности человѣка выводить правильныя заключенія изъ данныхъ посылокъ и комбинировать абстрактныя понятія, согласно съ формальными законами мышленія, и ни о чѣмъ болѣе. Эта способность не ручается ни за реальную состоятельность, ни за научное значение подобныхъ конструкцій. Аналогическія тому явленія мы можемъ найти и въ другихъ областяхъ знанія, кромѣ математики. Такъ напр. мы можемъ придумать совершенно искусственный языкъ, съ произвольно изобрѣтеными словами, составить для него правила грамматическихъ флексій и словосочиненія. Мы можемъ написать фантастическую исторію воображаемаго народа, съ воображаемыми дѣйствующими лицами и событиями. Но такой фиктивный языкъ и фиктивная исторія не будутъ имѣть никакого реальнаго значенія, хотя-бы тотъ и другая и не представляли ничего невозможнаго и противорѣчашаго зако-

памъ дѣйствительности. Мы можемъ указать еще на болѣе близкую къ нашему предмету аналогию. Изъ логической теоріи умозаключенія мы знаемъ, что вслѣдствіе различного сочетанія и размѣщенія терминовъ въ категорическомъ силлогизмѣ возможны 64 силлогистическая формы (модусы); но изъ этихъ модусовъ дѣйствительное логическое употребленіе могутъ имѣть лишь 19; въ обыкновенномъ же мышленіи употребляется не болѣе четырехъ. Нѣть ничего невозможнаго представить и можетъ быть даже составить систему ·науки, въ которой ходъ мыслей и аргументація ихъ располагалась бы по этимъ неупотребительнымъ модусамъ мышленія; но такая система имѣла-бы значеніе только курьеза и никакъ не могла-бы считаться открытиемъ новаго приема мышленія или служить доказательствомъ, что могутъ существовать люди умозаключающіе по этимъ силлогистическимъ формамъ. Однородныя явленія могутъ имѣть мѣсто и въ области математическаго познанія и къ нимъ мы причисляемъ такъ называемую мета-геометрію. Изъ произвольно взятаго, хотя и не невозможнаго абстрактно, понятія о пространствѣ съ неопределеннымъ количествомъ измѣреній, мы, при помощи логическихъ операций и аналогій съ дѣйствительнымъ пространствомъ, можемъ выводить строго послѣдовательныя заключенія и создать фиктивную геометрію, но такая геометрія будетъ свидѣтельствовать только объ остроуміи и силѣ математическаго мышленія ея составителей, но научнаго значенія можетъ имѣть едва-ли больше, чѣмъ представленные нами примѣры фикцій въ другихъ областяхъ знанія.